



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

АРСЕНИЙ
НЕСМЕЛОВ



АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I
Стихотворения и поэмы

Рубеж
Владивосток
2006

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Н 55

Составители: *Евгений Витковский* (Москва), *Александр Колесов* (Владивосток), *Ли Мэн* (Чикаго), *Владислав Резвый* (Москва)

Предисловие *Евгения Витковского*

Комментарии *Евгения Витковского* и *Ли Мэн*

Арсений Несмелов

Н 55 **Собрание сочинений. Том I. Стихотворения и поэмы**
— Владивосток, Альманах «Рубеж», 2006. — 560 с.

ISBN 5-85538-026-7

ISBN 5-85538-027-5

Собрание сочинений крупнейшего поэта и прозаика русского Китая Арсения Несмелова (псевдоним Арсения Ивановича Митропольского; 1889–1945) издается впервые. Это не случайно происходит во Владивостоке: именно здесь в 1920–1924 гг. Несмелов выпустил три первых зрелых поэтических книги и именно отсюда в начале июня 1924 года ушел пешком через границу в Китай, где прожил более двадцати лет.

В первый том собрания сочинений вошли почти все выявленные к настоящему времени поэтические произведения Несмелова, подписанные основным псевдонимом (произведения, подписанные псевдонимом «Николай Дозоров», даются только в образцах), причем многие из них увидели свет лишь много лет спустя после гибели поэта осенью 1945 года. Помимо прижизненных поэтических книг Несмелова, в настоящем издании собраны — впервые в таком объеме — стихотворения и поэмы, не вошедшие в сборники.

- © «Рубеж»
- © Евгений Витковский (Москва),
Александр Колесов (Владивосток),
Ли Мэн (Чикаго),
Владислав Резвый (Москва)
Составление
- © Евгений Витковский (Москва)
Предисловие
- © Евгений Витковский (Москва),
Ли Мэн (Чикаго) Комментарии



ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ

...Я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите. Но все-таки, может быть, вы согласны повременить? Может быть, в самой пытке вы дадите мне передышку? Мне еще хочется посмотреть на земное небо.

В. Ходасевич. «Кровавая пища».

Умереть на полу тюремной камеры — дело для русского поэта обыденное. Умереть в петле, под расстрелом — всё это часть его неотъемлемого «авторского права». Поразымляешь на такую тему в бессонную ночь — и к утру уверуешь, что подобные права охраняются какой-то конвенцией, подписанной и ратифицированной не только множеством держав, но и самими поэтами. А вынесенные в эпиграф слова Ходасевича — такой же бред несбыточной мечты, как надежды приговоренного в ночь перед казнью.

Но чудо (которое потому и *чудо*, что никогда не *правило*) пусть очень редко, но случается. Сходит с эшафота приговоренный к расстрелу Достоевский. Случайно остается на свободе Андрей Платонов. Выздоровливает от рака Солженицын. Можно бы поставить «и т.д.», да только не будет в том и восьмушки правды — список чудес всегда краток.

Когда бывший офицер царской армии Арсений Митропольский, успевший стать еще и *белым* офицером армии Колчака, в мае 1924 года решил бежать из Владивостока на сопки Маньчжурии через глухую тайгу и кишашие бандитами и тиграми заросли, чудом было не его желание спасти жизнь, которой его, участника Ледового похода, очень скоро бы в СССР лишили, — чудом было то, что до Харбина, центра русской эмигрантской жизни в Китае тех лет, он все-таки добрался живым и невредимым. Как результат, воспоследовала «отсрочка в исполнении приговора» на двадцать один год. Из офицера успел вырасти большой русский поэт, но затем «русское авторское право» его все-таки настигло, и умер он *как положено*, на полу камеры пересыльной тюрьмы в Гродекове, столице дальневосточного казачества недалеко от Владивостока, — умер в дни, когда в побежденной Японии на руинах спаленных атомными взрывами городов люди продолжали многими сотнями умирать от лучевой болезни, когда эшелоны освобожденных из немецких концлагерей советских военнопленных медленно ползли в районы Крайнего Севера, когда фельдмаршал Геринг, наивно полагая,

что в истории никто и никогда фельдмаршалов не вешал, — в силу этого ему не грозит опасность стать таковым первым, — отчитывался в дежниях, совершенных им на ответственном посту в третьем рейхе... Моря были полны мин, земля — неразорвавшихся снарядов, лагеря и тюрьмы были набиты виновными и невиновными. Одна маленькая смерть безвестного зека перед лицом таких событий гроша ломаного не стоила.

Арестовали его 23 августа 1945 года в Харбине. Те немногие, кто оставался в живых (и на свободе) из числа лиц, близко его знавших, считали, что дальнейшая судьба его неизвестна; в единственной справке о Несмелове, приложенной к единственной советской попытке причислить поэта к числу «печатаемых»¹, было сказано, что поэт «по непроверенным данным умер в поезде, возвращаясь в СССР». Выдумка, сочиненная для цензуры, оказалась неожиданно близка к истине. В 1974 году отыскался человек, а следом еще двое, находившихся после ареста в одной камере с Несмеловым. Один из трех свидетелей — Иннокентий Пасынков (р. 1918), тоже, кстати, немного поэт — позднее стал медиком, поэтому его письмо от 22 июня 1974 года содержит в себе буквально клиническую картину смерти поэта. Этот документ надо процитировать без сокращений.

«Теперь сообщу всё, что сохранила память о последних днях Арсения Несмелова. Было это в те зловещие дни сентября² 1945 года в Гродекове, где мы были в одной с ним камере. Внешний вид у всех нас был трагикомический, в том числе и у А.И., ну, а моральное состояние Вам нечего описывать. Помню, как он нас всех развлекал, особенно перед сном, своими богатыми воспоминаниями, юмором, анекдотами, и иногда приходилось слышать и смех и видеть оживление, хотя в некотором роде это походило на пир во время чумы. Как это случилось, точно сейчас не помню, но он вдруг потерял сознание (вероятнее всего, случилось это ночью — это я теперь могу предположить как медик) — вероятно, на почве гипертонии или глубокого склероза, а вероятнее всего, и того, и другого. Глаза у него были закрыты, раздавался стон и что-то вроде мячания; он делал произвольные движения рукой (не помню — правой или левой), рука двигалась от живота к виску, из этого можно сделать вывод, что в результате кровоизлияния образовался сгусток крови в мозгу, который давил на определенный участок полушария, возбуждая моторный центр на стороне, противоположной от произвольно двигавшейся руки (перекрест нервов в пирамидах). В таком состоянии

¹ «Антология поэзии Дальнего Востока». Хабаровск, 1967. Публикация включала пять стихотворений, три из которых были сокращены цензурой.

² Позднее И.Н. Пасынков сомневался в дате, но одно утверждал точно: это не могло произойти позднее декабря того же года, когда вся группа сидевших в камере ушла по этапу.

он пребывал долго, и все отчаянные попытки обратить на это внимание караула, вызвать врача ни к чему не привели, кроме пустых обещаний. Много мы стучали в дверь, кричали из камеры, но всё напрасно. Я сейчас не помню, как долго он мучился, но постепенно затих — скончался. Всё это было на полу (нар не было). И только когда случилось это, караул забил тревогу и чуть не обвинил нас же — что ж вы молчали...»³

Редко у кого из русских поэтов найдешь столь полную и клиническую, документированную картину смерти. Немногочисленные в те годы поклонники Несмелова после того, как письмо Пасынкова стало им известно, по крайней мере знали *примерную* дату его смерти: осень 1945 года. Она и стоит в большинстве справочников, ее, как последнее, что удалось установить относительно точно, я назвал в предисловии к первой книге Несмелова, вышедшей в Москве⁴. Документ этот получил широкую известность...

Но тут же нужно привести и второй документ, найденный с большим трудом и спустя много лет. В ответ на запрос Ли Мэн из Чикаго от 24 февраля 1998 года прокуратура Российской Федерации (точнее — собственно прокуратура города Москвы) ответила таким письмом:

“Ваш запрос о биографических данных Митропольского Арсения Ивановича (псевдоним Арсений Несмелов) прокуратурой г. Москвы рассмотрен.

Сообщаю, что Митропольский Арсений Иванович, русский, родился в Москве в 1889 году⁵, арестован 1 ноября 1945 г. по подозрению в контрреволюционной деятельности. Место ареста неизвестно. 6.12.45 умер в госпитале для военнопленных, в связи с чем уголовное дело 31 декабря 1945 г. Управлением контрразведки «СМЕРШ» Приморского военного округа было прекращено. Не реабилитирован.

Дело направлено в Главную прокуратуру РФ для решения вопроса о реабилитации.

Начальник отдела реабилитации
жертв политических репрессий

В.М. Зайцева.”

Эта справка поражает не цинизмом перевернутых фактов, а очевидной бессмыслицей последней фразы — уж хотя бы потому, что в запросе Ли Мэн никакой просьбы о реабилитации не было. Впрочем, дочь Несмелова, Наталья Арсеньевна Митропольская, будь ее отец реабилитирован, получила бы в свое пользование авторское право на

³ Письмо к С.И. Ражеву. Впервые полностью опубликовано в книге: А. Несмелов. «Без Москвы, без России». М., 1990.

⁴ Там же.

⁵ В справке очевидная опечатка: «1989».

стихи и прозу Несмелова, притом право это, по законам РФ, действует 70 лет со дня реабилитации. Увы, даже это теперь бессмысленно: успев прочитать в № 213 нью-йоркского «Нового Журнала» эту записку из прокуратуры, Наталья Арсеньевна скончалась в городе Верхняя Пышма близ Екатеринбурга 30 сентября 1999 года на восьмидесятом году жизни, и наследников больше нет, хотя – честно говоря – никто не обрадовался бы такому «заветному наследству». Хотя Р. Стоколяс, биограф Натальи Арсеньевны, и вспоминает, как они «поговорили и решили, что надо оформить права наследования на публикации Несмелова Витковскому»⁶. Авторское право Несмелова теперь не принадлежит никому – даже если новая Россия удостоит белого офицера реабилитации. Хочется надеяться, что откажет. Ибо состав преступления в действиях Несмелова был – вся его жизнь была направлена против советского режима. Впрочем, про наше российское *авторское право* речь уже шла выше. Оно действительно принадлежит всем и каждому – «Право на общую яму / Было дано Мандельштаму...», как писал Иван Елагин. В реабилитации А.В. Колчаку, кстати, недавно было отказано. Господи, как хорошо-то!..

Надо коснуться и странной даты «1 ноября»: архивисты говорят, что это дата предъявления Несмелову обвинения; следовательно, больше двух месяцев он провел в тюрьме даже без такой мелочи. Ну, а именование пола камеры пересыльной тюрьмы гордым термином «госпиталь для военнопленных» – видимо, часть российского авторского права. Одно мы знаем точно: к концу 1945 года Несмелова действительно не было в живых, и дата «6 декабря» вполне годится хотя бы как условная дата его смерти.

Хотя и не всем годится эта дата, не всем годятся факты. В газете «Владивосток» от 3 марта 1994 года была опубликована статья местного специалиста по истории НКВД Алексея Буякова «Русский поэт и фашист». В ней автор убедительно доказывает, что Арсений Несмелов был отнюдь не просто поэтом, а всего лишь деятельным фашистом. В частности, там сказано: «В государственном архиве Хабаровского края хранится масса архивных документов и материалов главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ). Там же есть и личное дело Арсения Ивановича Несмелова (Митропольского) с персональной карточкой БРЭМовца Несмелова и краткой биографией. Но что сразу поражает исследователей, знакомящихся с архивным делом поэта, так это то, что в нем около шести листов, хотя оставшаяся на последних листах сквозная нумерация позволяет утверждать, что дело состояло максимум из 115-117 листов».

Не стесняясь невероятного числительного («около шести»), Буяков экстраполирует сразу всё, что нужно ему по концепции. Нет

⁶ Раиса Стоколяс. Жена и дочь Арсения Несмелова. Документальный очерк. Верхняя Пышма, 2001, с. 32-33.

нужды отвечать ему, но некоторые ценные документы в его статье приведены. В частности — текст розыскного листа УНКГБ по Хабаровскому краю на А. Несмелова (август 1945 года):

«Митропольский Арсений Иванович. 1889 года рождения. Русский. В прошлом офицер белой армии. С 1924 года — эмигрант. Известный среди эмиграции поэт, пишет под псевдонимом «Арсений Несмелов». С 1941 года — курсант вечерних курсов политической подготовки, организованных при разведывательной школе в Харбине. По окончании курсов был зачислен официальным сотрудником 4-го отдела ЯВМ (Японской военной миссии — *Е.В.*) и работал на курсах пропагандистов. Читал предмет «литературно-художественная агитация». На курсах имел псевдоним «Дроздов». В мае 1944 был переведен в 6-й отдел миссии, где и работал до занятия Харбина Красной Армией. Являлся членом фашистской партии и автором антисоветских произведений, которые издавал под литературным псевдонимом «Дроздов», «Дозоров». Сотрудничал во всех эмигрантских газетах и журналах, где помещались статьи, рассказы и стихи.

Личные приметы: среднего роста, фигура мешковатая, с небольшим брюшком, волосы русые с проседью, волосы зачесывает с пробором на правую сторону, глаза голубые, лицо морщинистое, пользуется очками. Проживает в Харбине...»

Дальше следует несколько страниц откровенно советской пропаганды, которую партайгеноссе Буяков завершает безобидным абзацем:

«В августе 1945 года одна из оперативно-розыскных групп территориальных органов госбезопасности и военной контрразведки «СМЕРШ» разыскала и арестовала Арсения Несмелова. После первого допроса он был отправлен в фильтровочно-пересыльный лагерь в поселок Гродеково, где в сентябре умер от простуды».

На мгновение поверим обоим источникам. Получается, что в августе 1945 года Несмелов был арестован, надиктовал почти 120 страниц показаний, из которых сохранилась лишь «около шести», потом умер в сентябре от простуды. Далее события развивались уже совсем захватывающе: 1 ноября 1945 года Несмелов был вновь арестован и помещен в госпиталь для военнопленных, где и умер 6 декабря (не важно — от чего).

Видимо, следственное дело Несмелова в какой-то момент было разделено. Для одного ведомства он умер, для другого еще представлял ценность как свидетель и обвиняемый на будущем процессе Всероссийской фашистской партии. Конечно, партайгеноссе Буяков заканчивает свой печатный донос на патетической ноте: «По всем меркам Великой Отечественной войны его следует отнести к предателям, помогавшим врагу бороться со своей родиной, со своим народом». Но это его личное, буяковское мнение — ему не до литературы. Нам, пожалуй, как раз не до поисков пропавших показаний. Кто и куда дел сто страниц его следственного дела — пусть разбираются

потомки. Литературное наследие Несмелова делает эти возможные поиски делом увлекательным, но для нас совершенно не интересным. Человек со следственными делами в нашем сознании уже давно заслонен поэтом и его книгами.

В 1945 году Несмелову было пятьдесят шесть лет. Из них четверть века он был профессиональным писателем, притом весьма плодовитым. Он успел издать более десятка книг, опубликовать многие сотни стихотворений, более сотни рассказов, поэмы, писал статьи и рецензии, даже из эпистолярного его творчества отыскалось кое-что, имеющее серьезную историко-литературную ценность. Хотя в наследии Арсения Несмелова, собранном на сегодняшний день, кое-какие пробелы есть, но в целом сохранилось оно достаточно полно, во всяком случае, настолько, чтобы занять прочное место и в истории литературы, и на полке любителя поэзии.

* * *

Арсений Иванович Митропольский родился в Москве 8 июня (по ст. стилю) 1889 года в семье надворного советника, секретаря Московского окружного военно-медицинского управления И.А. Митропольского, бывшего, к тому же, еще и литератором. Старший брат поэта, Иван Иванович Митропольский (1872 – после 1917), тоже был военным, тоже был писателем – это ему посвящены строки Несмелова из харбинского сборника «Без России» (1931): «Вот брат промелькнул, не заметив испуганных глаз: / Приподняты плечи, походка лентяя и дужка / Пенснэ золотого...». Но брат оставался человеком иного поколения, он печатался с середины 1890-х годов, – Арсений Иванович был на семнадцать лет моложе.

Детство и юность Несмелова (этой фамилией Митропольский называл себя иной раз в воспоминаниях о детстве, хотя псевдоним появился куда позже) известны нам по большей части с его же слов, которым можно верить, ибо таланта *фантаста* писатель был лишен начисто: многие его рассказы так или иначе автобиографичны и построены на собственном жизненном опыте. Дата его рождения, обучение во Втором Московском кадетском корпусе, откуда Митропольский перевелся в Нижегородский Аракчеевский, который и окончил в 1908 году, – всё это известно, впрочем, и по документам, ибо послужной список офицера царской армии сохранился в архиве⁷. В неожиданном рассказе «Маршал Свистунов», о котором еще пойдет речь ниже, упоминаются господа Мпольские (прозрачный псевдоним, которым автор часто пользовался в рассказах), проводившие лето в подмосковном Пушкине, и подробно сообщено, что «у Мпольских был кадет Сеня», – здесь Митропольский-Несмелов назвал себя по имени. В стихотворении из того же сборника «Без России» Не-

⁷ ЦГВИА СССР, ф. 490, оп. 1, д. 90-896.

смелов пишет: «...И давно мечтаю о себе, — / О веселом маленьком кадете, / Ездившем в Лефортово на “Б”». Дорогу с родного Арбата на трамвае «Б» (если быть точным, то на конке, трамваи стали ходить в Москве чуть позже) Несмелов скрупулезно пересказывает в рассказе «Второй Московский» — после трамвая по Покровке, мимо Константиновского Межевого института, мимо Елизаветинского женского института, по мосту через Язу, мимо корпусов Первого кадетского корпуса к «родному» Второму, где задолго до Митропольского обучался военным наукам А.И. Куприн, которому и посвящен этот немного святочный, но донельзя автобиографичный рассказ.

Вряд ли стоит отыскивать ошибки в топографии и анахронизмы в несмеловской поэзии и прозе — подобное случается в творчестве многих писателей; например, в «Юнкерах» Куприна, в самом конце, герой идет на поклон к памятнику Скобелеву... за двадцать три года до установки такового. Память — всегда редактор, да еще и цензор. А Несмелов, вспоминая детство и юность, писал не столько мемуары, сколько беллетристику.

Стихи Арсений Митропольский писал с детства — как-никак в семье писали все, — а в 1911-1912 годах стал их понемногу публиковать в «Ниве»; эти довоенные его публикации прошли совершенно незамеченными, истинным поэтом автор стал сравнительно поздно. Грянула война; 20 августа 1914 года прапорщик (с 16 марта 1916 года подпоручик) Митропольский в составе одиннадцатого гренадерского Фанаторийского полка попал на австрийский фронт — и всю войну провел в окопах, не считая времени, когда после ранения он отлеживался в Москве, в госпитале. 28 апреля 1915 года он был награжден орденом Св. Станислава III степени «за отличие в делах против неприятеля». И тогда же, в 1915 году, была издана его первая тоненькая книжка: «Арсений Митропольский. Военные странички». Книжка вышла в Москве массовым по тем временам тиражом три тысячи экземпляров, в ней были собраны военные очерки и пять стихотворений на фронтовые темы, — нечего и говорить, что книжка тоже никем особо замечена не была. Вскоре автору пришлось вернуться на фронт, но хотя бы не просто в окопы: 23 ноября 1916 года он получил должность начальника охраны (полицейской роты) штаба двадцать пятого корпуса. Военная жизнь, даже офицерская, притом на фронте, годами не двигавшемся ни на запад, ни на восток, для разнообразия украшенная лишь обстрелами и редкими попытками наступлений с обеих сторон, располагала не к стихам и не к прозе, а в лучшем случае к преферансу. Однако фронтовых впечатлений *будущему* поэту хватило на всю оставшуюся жизнь, и небольшим своим офицерским чином он всегда гордился, никогда не забывая напомнить, что он — кадровый поручик, гренадер, ветеран окопной войны.

Приказом от 1 апреля 1917 года подпоручик Митропольский, награжденный четырьмя орденами, был отчислен из армии в резерв, приехал в Москву, где отца живым уже не застал, — и больше на Западный

фронт не вернулся. В памятные дни 24 октября – 3 ноября 1917 года, во время восстания юнкеров, оказался на той стороне, на которой приказывала ему быть офицерская честь. Этим дням посвящены несколько его поздних рассказов и поэма «Восстание», начатая в 1923 году *Арсением Несмеловым*, но в окончательном виде опубликованная лишь в 1942 году под псевдонимом *Николай Дозоров* (об этом псевдониме Митропольского речь еще пойдет). Поэма эта – редкий документ, созданный если и не по свежим следам, то по личным впечатлениям. О тех же событиях – но в обратной перспективе – вспоминает и маршал Свистунов в одноименном рассказе. Именно в эти дни офицер царской армии стал белым офицером. Судьба переломилась.

Историю отступления из Москвы в Омск и всё дальше на восток легко узнать из рассказов Несмелова, собранных во втором томе нашего издания. Читателю, быть может, интересно будет узнать, что в сентябре 1918 года в Кургане Митропольский служил «в 43-м полку и стоял на квартире у маслодела Майорова»⁸. Дальше всё было донельзя прозаично:

«Когда я приехал в Курган с фронта, в городе была холера. Вечером я пришел домой и сказал, что чувствую себя плохо. Сел на крыльчке и сижу. И не понимаю, чего это Анна Михайловна так тревожно на меня посматривает. Потом ушел к себе в комнату и лег спать. Проснулся здоровый и, как всегда делаю утром, запел. Потом Анна Михайловна говорит мне: «А уж я-то боялась, боялась, что у вас начинается холера. Утром слышу: поет. Ну, думаю, слава Богу, жив-здоров». Из Кургана я уехал в Омск, назначили меня адъютантом коменданта города».⁹

Впрочем, в Омске Несмелов (ставший уже поручиком, – надо помнить, что и сам Колчак превратился из контр-адмирала в адмирала там же) тоже писал стихи и печатал их в местной газете «Наша армия», носившей гордый подзаголовок: «Газета военная, общественная и литературная», подписываясь Арс. М-ский; несколько стихотворений «омского» периода перепечатывается в нашем издании. Надо сказать, что почерк поэта к этому времени уже сложился, его главная – военная – тема, немалая пластичность стиха были уже и тогда налицо. Некоторые из этих стихотворений позднее появлялись под именем Арсения Несмелова, но Митропольскому еще предстояло *довоевать* – впереди было отступление, Ледовый поход, Новониколаевск, Иркутск, Чита и поезд, через Маньчжурию увезший Митропольского во Владивосток: как констатировал поэт в начале 1930-х годов, «Арсений Несмелов родился именно в этом городе, когда местная газета «Голос Родины» впервые напечатала стихотворение, так подписанное»¹⁰.

⁸ Письмо к П.П. Балакшину от 1 марта 1936 года.

⁹ Письмо к П.П. Балакшину от 15 мая 1936 года.

¹⁰ См. т. 2 наст.изд. – воспоминания Несмелова «О себе и о Владивостоке».

Случилось это 4 марта 1920 года¹¹, стихотворение называлось «Соперники», позднее вошло в сборник «Полустанок» под заголовком «Интервенты». Неожиданная судьба постигла это стихотворение уже в наше время, когда чуть ли не ежедневно во время «югославского конфликта» голос Валерия Леонтьева (да и не его одного) звучал из каждого радиоприемника¹²:

*Каждый хочет любить, и солдат, и моряк,
Каждый хочет иметь и невесту, и друга,
Только дни тяжелы, только дни наши — вьюга,
Только вьюга они, заклубившая мрак.*

Автор текста — Арсений Несмелов — упоминался, стихотворение было сокращено и слегка переделано «в духе событий» («серб, боснийский солдат» превратилось, понятно, в «югославский солдат»), но как некогда «Над розовым морем вставала луна...» какое-то время служило визитной карточкой Георгия Иванова (даром что пел-то Вертинский), так и «Каждый хочет любить...» в наши дни — семьдесят лет спустя! — неожиданно стало визитной карточкой Несмелова; может быть, не такое уж и важное событие, но интересно то, что это было именно первое стихотворение, подписанное псевдонимом *Арсений Несмелов*. Именно там, тогда и так родился поэт.

Весь этот свой путь из Москвы до Владивостока в короткой автобиографии (1940) Арсений Несмелов уложил в одну фразу: «Уехав (из Москвы — *Е.В.*) в 1918 году в Омск, назад не вернулся, а вместе с армией Колчака оказался во Владивостоке, где и издал первую книгу стихов»¹³. Скупое, но всё остальное Несмелов рассказал в стихах и в прозе. После убийства Колчака и распада Белой армии высоко нести чье-либо знамя офицер Митропольский более не мог, да и не видел в том нужды. В неизданных полностью по сей день воспоминаниях дальневосточный поэт и прозаик Вс. Ник. Иванов (тот, которому посвящены стихотворения Несмелова «Разведчики» и «Встреча первая»), рассказывая о развале собравшейся вокруг Омска армии, обронил фразу: «Крепла широко разошедшаяся новость, что офицерство может служить в Красной Армии в качестве военспецов — ведь я и сам ехал из Москвы с такими офицерами в 1918 г. К чему тогда борьба?» Однако и сам Иванов, по доброй воле и вполне безболезненно перебравшийся в СССР из эмиграции в феврале 1945 года через Шанхай, сознавался, что вернулся лишь тогда, когда обрел «идеологию». А о тех, давно минувших годах вспоминал очень подробно (усиленно стараясь не проронить ни слова о четверти века жизни в эмиграции). И

¹¹ Несмелов ошибается, называя апрель: спустя десять лет его подвела память.

¹² Музыка В. Евзерова.

¹³ Цит. по: Валерий Перелешин. Об Арсении Несмелове. Альманах «Ново-Басманная, 19». М., 1990, с. 665.

очень характерно такое его позднейшее примечание к этим воспоминаниям:

«Уже много лет спустя после описываемых этих времен, уже будучи в Москве, вел я разговор с покойным писателем А.А. Садовским, бывшим когда-то в Сибири и собиравшим материал по «колчаковщине». Он спросил меня, по обыкновению смотря зорко, как всегда, — через очки:

— В.Н., а какова же была у вас тогда идеология?

— Никакой! — ответил я.

Он даже качнулся назад.

— Невозможно!

А между тем это была истинная правда. Идеология, жесткая, определяющая, была только у коммунистов. Она насчитывала за собой чуть не целый век развития. А что у нас было? — Москва «золотые маковки»? За три века русской государственности никто не позаботился о массовой государственной русской идеологии»¹⁴.

Тут Иванов, конечно, перехватил, но к Несмелову формула «полное отсутствие идеологии» в смысле журналистики тоже применима (не путать идеологию с офицерской честью и убеждениями). В воспоминаниях «О себе и о Владивостоке» очень весело описано, как побывал поэт главным редактором «японского официоза» — газеты «Владиво-Ниппо» и по заказу японских хозяев ругал «не только красных, но и белых». Между тем именно Несмелов едва ли не первым понял, что японская оккупация Приморья вызвана отнюдь не борьбой с красными партизанами: «Он угадал, например, смысл японской интервенции в Сибири и понял, что целью вмешательства была вовсе не борьба с коммунизмом»¹⁵. А стихи он писал с одинаковой легкостью, используя незаурядный импровизационный дар: и на смерть Ленина, и о красотах Фудзи, — ни того, ни другого Несмелов не видел, но стихи на заказ сочинял буквально за пять минут (как свидетельствовал в письме к автору этих строк Н. Щеголев). А для харбинских «русских фашистов» даже специального поэта создал, Николая Дозорова, и тот для них писал «стихи», используя преимущественно богатую рифму «фашисты — коммунисты» (или «коммунисты — фашисты», уж как ложилось). Впрочем, в длинных вещах, таких, как поэма «Восстание», разница между «Несмеловым» и «Дозоровым» стиралась: незаурядное дарование все-таки не давало испоганить стихи до конца. Лучшим доказательством тому поэма «Георгий Семенá», вышедшая под псевдонимом «Николай Дозоров» в 1936-м с жирной свастики на обложке; местом издания книги обозначен... Берн, но наверняка располагался этот «Берн» на какой-нибудь Китайской, Тюремной или другой харбинской улице, если не в пригороде с чудесным названием Нахаловка. Впрочем, поэму мы воспроизводим — поэзия в ней есть. В отличие от сборника «стихотво-

¹⁴ Цит. по автографу.

¹⁵ Валерий Перелешин. Об Арсении Несмелове, с. 666.

рений» «Только такие!», вышедшего в том же году и под тем же псевдонимом в Харбине с предисловием фюрера харбинских фашистов К. Родзаевского; интересующиеся могут найти его в первом томе несостоявшегося «Собрания сочинений» Арсения Несмелова, предпринятого по методу репринта в США в 1990 году (издательство «Антиквариат»). Стихотворения «1905-му году» и «Аккумулятор класса» также оставлены за пределами нашего издания¹⁶, хотя и были они подписаны именем Несмелова; наконец, уж совсем невозможное прояпонское стихотворение «Великая эра Кан-Дэ» (подписанное *А. Митропольский*) оставлено там, где было напечатано¹⁷, — по не поддающимся проверке данным, сочинил это произведение автор за всё те же пять минут и получил гонорар в «100 гоби» (нечто вроде 50 долларов — если пересчитать с денег марионеточного государства Маньчжу-Ди-Го), на радостях даже к Родзаевскому в его кукольную фашистскую партию вступил. Это были большие деньги: 100 гоби за 20 строк! Для сравнения можно вспомнить, что как редактор «Рупора» Несмелов получал 120 гоби в месяц. Впрочем, для литературы все эти произведения и факты значения имеют меньше, чем рифмованные объявления, которые Несмелов вовсе без подписи сочинял для газет. В хранящейся в Хабаровске анкете он прямо написал в графе «Политические убеждения»: *фашистские*. Факт, упущенный партайгеноссе Буяковым, — однако в советском Владивостоке или на допросе у японцев Митропольский тоже написал бы то, что ему велели. Мы не знаем, какие методы допроса применялись к нему следователями.

А если углубляться в вопрос об идеологии, то она у поэта все-таки была. В 1937 году, в «Рассказе добровольца»¹⁸, он писал: «Российская эмиграция за два десятилетия своего бытия прошла через много психологических этапов, психологических типов. Но из всех этих типов — один неизменен: тип добровольца, поднявшего оружие против большевиков в 1918 году. Великой бодростью, самоотвержением и верою были заряжены эти люди! С песней шли они в бой, с песней были красных, с песней и погибали сами». В том же году, в рассказе «Екатеринбургский пленник»¹⁹, он говорит о времени еще более раннем: «Конечно, все мы были монархистами. Какие-то эсдеки, эсеры, кадеты — тыфу! — даже произносить эти слова противно. Мы шли за Царя, хотя и не говорили об этом, как шли за царя и все наши начальники». Если прибавить сюда пафос таких стихотворений, как «Цареубийцы», «Агония» и многих других, то вывод будет краток — Арсений Митропольский был монархистом, как того и требовала офицерская честь. Что, впрочем, не мешало поэту *Арсению Несмелову* печататься и у эсеров, и у большевиков.

¹⁶ См.: Без Москвы, без России, с. 178-180.

¹⁷ «Рубеж», 1935, № 38.

¹⁸ «Луч Азии», 1937, № 2.

¹⁹ «Луч Азии», 1937, № 7.

Вернемся, однако, во Владивосток, который во времена недолгого существования ДВР (Дальневосточной республики) превратился в довольно мощный центр русской культуры. Так же, как в расположенной на другом конце России Одессе, возникали и тут же прогорали журналы и газеты, особенно процветала поэзия: и Владивосток, и Одесса, несмотря на оккупацию, не желали умирать — это всегда особенно свойственно приморским городам. В начале 1918 года в бухту Золотой Рог вошел сперва японский крейсер, потом — английский. И до осени 1922 года в Приморье советской власти как таковой не было: книги выходили по старой орфографии, буферное государство ДВР праздновало свои последние именины. Волей судьбы там жили и работали В. Арсеньев, Н. Асеев, С. Третьяков, В. Март и другие писатели, так или иначе «воссоединившиеся» затем с советской литературой. На первом сборнике Несмелова, носившем непритязательное название «Стихи» (Владивосток, 1921), отыскиваются — на различных экземплярах — дарственные надписи, среди них, к примеру, такая: «Степану Гавриловичу Скитальцу — учителю многих» (РГАЛИ, фонд Скитальца). Очевидно, себя Несмелов причислить к ученикам Скитальца не мог. Довольно далеко стоял от него и Сергей Алымов, в те же годы прославившийся в Харбине (а значит — и во Владивостоке, настоящей границы между ДВР и Китаем не было, зато была КВЖД) своим очень парфюмерным «Киоском нежности». Учителями Несмелова, всерьез занявшегося поэзией под тридцать, — в этом возрасте поэты Серебряного века уже подводили итоги, — оказались сверстники, притом бывшие моложе него самого: Пастернак, Цветаева, Маяковский.

В первом сборнике у Несмелова много ранних, видимо, даже довоенных стихотворений: о них, не обращая внимания на остальные, писал бывший главный специалист по русской литературе в изгнании Глеб Струве как о «смеси Маяковского с Северяниным» (в более позднем творчестве Несмелова Струве усматривал сходство... с Сельвинским, но это сопоставление остается на его совести). Ближе всех к Несмелову стоял в те годы, надо полагать, его ровесник Николай Асеев, в том же 1921 году во Владивостоке у Асеева вышел сборник «Бомба» — по меньшей мере пятый в его творчестве, не считая переводных работ; он успел побывать в разных литературных кланах (в «Центрифуге» вместе с Пастернаком, а также среди кубофутуристов), съездил почитать лекции в Японию, да и во Владивостоке жил с 1917 года. В воспоминаниях Несмелов признается, что Асеев на него повлиял скорее фактом своего существования, чем стихами. Следы обратного влияния — Несмелова на Асеева — прослеживаются в творчестве Асеева куда чаще — в той же поэме «Семен Проскаков» (1927), где монолог Колчака кажется просто написанным рукой Несмелова, — но так или иначе контакт этот носил характер эпизодический. На страницах редактируемого им «Дальневосточного обозрения» Асеев называл Несмелова «поседевшим юношей с мучительно расширенными зрачками»; несколько стихотворений Несмелова посвящено Асееву,

который часто и охотно его в своей газете печатал. Видимо, все-таки именно Асеев обратил первым внимание на незаурядное дарование Несмелова. В статье «Полузадушенный талант»²⁰ Асеев отмечал изумительную остроту наблюдательности автора, его «любовь к определению», к «эпитету в отношении вещей», и подводил итог: «У него есть неограниченные данные». Впрочем, воспоминания об Асееве во время чумы 1921 года, свирепствовавшей во Владивостоке, и об отъезде будущего советского классика в Читу Несмелов оставил вполне критические и иронические²¹.

Ехать дальше Владивостока Несмелову, не знавшему к тому же ни единого иностранного языка, — всё, чему учили в Кадетском корпусе, исчезло из памяти, — явно не хотелось, ему хотелось жить в России, пусть в самом дальнем ее углу, «...во Владивостоке, / В одном из дивных тупиков Руси»²², до самой последней минуты. Но в октябре 1922 года победоносная армия Уборевича ликвидировала буферное государство и вступила во Владивосток. Скрыть свое прошлое Митропольский-Несмелов не смог бы, даже если бы захотел; впрочем, на первое время он лишь попал под «запрет на профессию» — бывший белый офицер, да еще редактор прояпонской «Владиво-Ниппо», потерял работу, поселился за городом в полузаброшенной башне форта и жил тем, что ловил из-под льда навагу. Но, конечно, с обязательным визитом в комендатуру через короткие отрезки времени — бывший «комсостав белой армии» весь был на учете. Хотя просто литературным трудом заниматься не запрещали: печатайся, у власти пока дела есть более насущные. Ну, а потом... Какое было «потом», мы все хорошо знаем.

В 1922 году Несмелов выпустил очередную книжку — поэму «Тихвин», а в 1924 году, буквально накануне бегства в Китай, он выпросил у типографа Иосифа Романовича Коротя, с которым, понятно, так никогда и не расплатился, несколько экземпляров своего второго поэтического сборника, уже вполне зрелого и принесшего ему известность; это были «Уступы». Несколько экземпляров Несмелов успел разослать тем, чьим мнением дорожил, — например, Борису Пастернаку. И в письме Бориса Пастернака жене от 26 июня 1924 года можно прочесть: «*Подают книжки с Тихого океана. Почтовая бандероль. Арсений Несмелов. Хорошие стихи*». В это время Несмелов и его спутники — художник Степанов (кстати, оформитель «Уступов») и еще двое офицеров уходили по маньчжурской тайге всё дальше и дальше в сторону Харбина, и шансов добраться до него живыми было у них очень мало.

²⁰ «Дальневосточное обозрение», 1920, 14 ноября.

²¹ См. факсимиле письма к Якушеву, где речь идет о футуристах во Владивостоке: «Асеев в своей книге очень извратил все» («Рубеж», 1995. Владивосток, № 2/864, с. 244).

²² Слова Ивана Елагина, уроженца Владивостока, проведшего детство в Харбине.

Историю перехода границы Несмелов описывал несколько раз, и детали не всегда совпадают: видимо, ближе всего к истине версия, пересказанная в мемуарном цикле «Наш тигр», к нему же вплотную примыкает и сюжет рассказа «Le Sourire». Конечно, можно было рискнуть и остаться в СССР, да и пересидеть беду (советскую власть), но соблазн был велик, а Харбин в 1924 году был еще почти исключительно русским городом. Покидая Россию, Несмелов мог дать ответ на вопрос, заданный несколькими десятилетиями позже другим русским поэтом, живущим в Калифорнии, Николаем Моршеном: «Но что захватишь ты с собой — / Какие драгоценности?» Стихотворением «Переходя границу» Несмелов наперед дал ответ на этот вопрос — конечно, брал он с собой в эмиграцию традиционные для всякого изгнанника «дороги и пути», а главное — «...Да ваш язык. Не знаю лучшего / Для сквернословий и молитв, / Он, изумительный, — от Тютчева / До Маяковского велик». Несмелов и впрямь ничего другого с собой не взял — ну, разве что десятков экземпляров «Уступов». Словом, ничего, кроме стихов.

Впрочем, об этом тогда еще никто не знал. В 1924 году, в четвертом номере журнала «Сибирские огни», вышедшего в Новосибирске (точней — в Новониколаевске, ибо переименован город был лишь в 1925 году), опубликовал почти восторженную рецензию на «Уступы» поэт Вивиан Итин (1894–1938, — расстрелян, уж не за то ли, что печатал в своем журнале белогвардейца?). Поскольку еще раньше одно стихотворение Несмелова «Сибирские огни» напечатали («Память» из «Уступов»), то и в 1927–1929 годах Несмелова в нем печатать продолжали — и стихи, и прозу, в том числе «Балладу о Даурском бароне», поэму «Псица», наконец, рассказ «Короткий удар». После перепечатки того же рассказа в альманахе «Багульник» (Харбин, 1931) выдающийся филолог и поэт И.Н. Голенищев-Кутузов писал в парижском «Возрождении», что рассказ «не уступает лучшим страницам нашумевшего романа Ремарка»²³. Что и говорить, о Первой мировой войне можно много прочесть горького — и у Ремарка, и у Несмелова.

До Харбина Арсений Несмелов добрался, даже выписал к себе из Владивостока жену, Е.В. Худяковскую (1894–1988), и дочку, Наталью Арсеньевну Митропольскую (1920–1999), — впрочем, с семьей поэт скоро расстался, жена увезла дочку в СССР, сама провела девять лет в лагерях, а дочь впервые в жизни прочла стихи отца в журнале «Юность» за 1988 год, где (с невероятными опечатками) появилась одна из первых «перестроечных» публикаций Несмелова. С личной жизнью у Несмелова вообще было неладно. В письме к П. Балакшину от 15 мая 1936 года отыскивается фраза, брошенная Несмеловым вскользь: «Есть дети, две дочки, но в СССР, со своими мамами». Мно-

²³ Т.е. романа «На западном фронте без перемен» (1929); в 1932 году, когда «Возрождение» опубликовало рецензию Голенищева-Кутузова на «Багульник», роман Ремарка был еще свежим явлением литературной жизни Европы.

гие данные говорят о том, что брак с Худяковской был для Несмелова *вторым*. Есть сведения о том, что первую жену Несмелова звали Лидией. И смутное воспоминание Натальи Арсеньевны, что как будто у отца была еще одна дочь. Мы так ничего и не узнали²⁴. Впрочем, в биографии Несмелова неизбежно останется много пробелов. И того довольно, что удалось реконструировать биографию человека, не оставившего после себя ни могилы, ни архива, — ну, и удалось собрать его наследие, притом хоть сколько-то полно.

В первое время в Харбине Несмелов редактировал... советскую газету «Дальневосточная трибуна». Но в 1927 году она закрылась, и, перебиваясь случайными приработками (вплоть до почетной для русского поэта профессии ночного сторожа на складе), Несмелов постепенно перешел на положение «свободного писателя»: русские газеты, русские журналы и альманахи возникали в Маньчжурии как мыльные пузыри, чаще всего ничего и никому не заплатив. Но поэт-воин, временно ставший поэтом-сторожем, не унывал. Его печатала пражская «Вольная Сибирь», пражская же «Воля России», парижские «Современные записки», чикагская «Москва», сан-францискская «Земля Колумба» — и еще десятки журналов и газет по всему миру, судя по письмам Несмелова, впрочем, норовившие печатать, но не платить. А с 1926 года в Харбине функционировал еженедельник «Рубеж»²⁵ (последний номер, 862-й, вышел 15 августа 1945 года, накануне вступления в город советских войск). Там Несмелов печатался регулярно, и именно там (да еще в газете «Рупор») платили хоть и мало, но регулярно: в море зарубежья Харбин всё еще оставался русским городом, и в нем был русский читатель.

Его при этом странным образом старались не замечать. Везде, кроме Китая, — хотя в парижском «Возрождении» (8 сентября 1932 года) в статье «Арсений Несмелов» И.Н. Голенищев-Кутузов писал: «Упомянуть имя Арсения Несмелова в Париже как-то не принято. Во-первых, он — провинциал (что доброго может быть из Харбина?); во-вторых, слишком независим. Эти два греха могут почитаться в «столице эмиграции» смертельными. К тому же некоторые парижские наши критики пришли недавно к заключению, что поэзия спит; поэтому пробудившийся слишком рано нарушает священный покой Спящей Красавицы. <...> Несмелов слишком беспокоен, лирика мужественна, пафос поэта, эпический пафос — груб. В парижских сенаклях он чувствовал бы себя как Одиссей, попавший в сновидческую страну лотофагов, пожирателей Лотоса». Надо отметить, что и сам Голенищев-Кутузов в Париже был «не совсем своим» — основным его местом жительства был Белград.

²⁴ Вероятно, речь все же идет о второй *родной* дочери поэта, а не о падчерице — дочери Анны Кушель, Ирине Радченко (р. 1924).

²⁵ Тираж его, по воспоминаниям Ю.В. Крузенштерн-Петерсц, приближался к двум с половиной тысячам экземпляров.

Так было в печати, — хотя в письме Голенишеву-Кутузову Несмелов и иронизировал: «Адамовича я бы обязательно поблагодарил, ибо о моих стихах он высказался два раза, и оба раза противоположно. Один раз — вычурные стихи, другой раз — гладкие» (письмо от 30 июня 1932 года). А собратья по перу о Несмелове все-таки знали, все-таки ценили его. Отзыв Пастернака приведен выше, а вот что писала Марина Цветаева из Медона в Америку Раисе Ломоносовой (1 февраля 1930 года):

«Есть у меня друг в Харбине. Думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, верней на такой дали всё само собой слышно, видно, ведомо — как на том свете — что писать невозможно, что — не нужно. На такие дали — только стихи. Или сны».

Имелся в виду, конечно, Несмелов — по меньшей мере одно письмо он от Цветаевой получил, сколько получила писем Цветаева от Несмелова — неизвестно, в ее раздробленном архиве их нет (по крайней мере, пока их никто не обнаружил). От Несмелова, как известно, архива не осталось никакого, так что письмо Цветаевой утрачено. Однако в письме в Прагу, к редактору «Вольной Сибири» И.А. Якушеву 4 апреля 1930 года Несмелов писал: «Теперь следующее. Марине Цветаевой, которой я посылал свою поэму «Через океан», последняя понравилась. Но она нашла в ней некоторые недостатки, которые посоветовала изменить. На днях она пришлет мне разбор моей вещи, и я поэму, вероятно, несколько переработаю».

Нечего и говорить, что разбора поэмы от Цветаевой Несмелов не дождался, однако не обиделся, 14 августа того же года он писал Якушеву: «Разбора поэмы от Цветаевой я не буду ждать. Она хотела написать мне скоро, но прошло уже полгода. Напоминать я ей тоже не хочу. Может быть, ей не до меня и не до моих стихов. Не хочу да и не имею права ее беспокоить. Она гениальный поэт».

И в 1936 году Несмелов не устал повторять (письмо к П. Балакшину от 15 мая 1936 года): «Любимый поэт — Марина Цветаева. Раньше любил Маяковского и еще раньше Сашу Черного». Словом, литературное существование Арсения Несмелова было хоть и изолированным, но проходило оно отнюдь не в безвоздушном пространстве. Он писал стихи, рассказы, рецензии, начинал (и никогда не оканчивал) длинные романы, — словом, кое-как сводил концы с концами. Его печатали, его знали наизусть русские в Китае, но его известность простиралась лишь на Харбин и русские общины Шанхая, Дайрена, Тяньцзина, Пекина. Но даже и эти малые русские островки в «черноволосой желтизне Китая» были разобщены вдвойне, ибо в конце 1931 года Япония оккупировала северо-восточную часть Китая, и на этой части была образована марионеточная империя — государство Маньчжоу-Ди-Го, на территории которого оказался Харбин, так что даже шанхайские поклонники несмеловской музыки формально жили «за границей». С приходом японцев и без того не блестящее положение русских в Маньчжурии еще ухудшилось — они были попросту *не нужны* Стране восходящего солнца. Законы ужесточались, за самое произнесение слов «Япония», «японцы»

грозил штраф, предписано было говорить и писать «Ниппон» и «нипонцы», и пусть не удивляется современный читатель, найдя такое написание во многих поздних рассказах Несмелова.

Но русских было все-таки много, труд китайцев-наборщиков стоил гроши, да и на гонорары авторам уходило не намного больше, поэтому издатели всё еще многочисленных газет и журналов на русском языке продолжали получать прибыль и в 30-е, и даже в 40-е годы. «Рубеж» платил за стихи гонорар пять китайских центов за строчку: сумма, на которую можно было купить полдюжины яблок или слобных булочек. Прочие издания платили еще меньше. В результате на страницах русско-китайских изданий появлялись еще с конца 20-х годов «Н. Арсеньев», «А. Бибилов», «Н. Рахманов», «Анастимат» и даже «Тетя Розга»; хотя больше всех зарабатывал, конечно, некий «Гри»²⁶, сочинявший рифмованные фельетоны и рекламу. Разумеется, под псевдонимами скрывался всё тот же Митропольский-Несмелов, в котором дар импровизатора креп с каждым днем недоедания. По свидетельству довольно часто навещавшего его поэта Николая Щеголева, «на стихотворный фельетон «Гри» он принципиально тратил ровно пять минут в день и, помню, однажды при мне сказал: «Подождите ровно пять минут, я напишу фельетон», и действительно написал...»²⁷.

Начав зарабатывать рекламными стишками еще во Владивостоке, Митропольский-Несмелов постепенно «воспел» едва ли не всех врачей в Харбине, особенно зубных — видимо, они лучше других платили. И в итоге в печати то и дело мелькали такие, к примеру, перлы:

*Расспросив мадам Дорэ
И всех прочих на дворе
Относительно Сивре:
— Что за спец?
Мы узнали, что Сивре
В марте, в мае, в декабре,
В полдень, в полночь, на заре —
Молодец!²⁸*

Сивре был известным врачом, а по соседству жила гадалка мадам Дорэ. Но эта халтура была еще не худшим видом заработка. Брался Несмелов, по воспоминаниям В. Перелешина, и за редактирование стихотворений «другого врача, искавшего поэтического лаврового венка. Сборник стихов, им составленный, назывался «Холодные зори». Досужие читатели (если не сам Несмелов) тотчас переименовали книгу в «Голодные зори».

²⁶ Нет уверенности, что это псевдоним *одного лишь* Несмелова: в 1924 году в Харбине вышло «Собрание сочинений Валентина Дмитриевича Гри» (наст. фам. — Григоросуло).

²⁷ Из письма Н. Щеголева к автору этих строк (без даты, 1970 год).

²⁸ Записано В. Перелешиним по памяти.

— Именно так. Я тогда очень нуждался. Мои зори были голодные».²⁹

Подобная «журналистика», безусловно, на пользу поэту не шла, но позволяла не помереть с голоду, а иной раз продать за свой счет тиражом 150-200 экземпляров очередную книгу стихотворений или поэму. Книги у Несмелова выходили регулярно — до 1942 года.

В 1929 году Несмелов выпустил в Харбине свой первый эмигрантский поэтический сборник (на титульном листе по ошибке было представлено «1928») — «Кровавый отблеск». Интересно, что ряд стихотворений в него попал прямо из владивостокских сборников: прошлая, внутривосточная жизнь была для поэта теперь чем-то интересным, но давно минувшим, оторванным, «...как пароход / От берега, от пристани отходит...», — это, впрочем, стихи Несмелова из его следующего сборника, «Без России» (1931). Попадали доэмигрантские стихи и в сборники «Полустанок» (1938) и «Белая флотилия» (1942). Цельность поэтического сборника была для Несмелова важнее необходимости опубликовать всё, что лежало в столе. Поэтому на сегодняшний день выявленные объемы его стихотворений, собранных в книги, и не собранных — примерно равны. А ведь многое наверняка утрачено.

Одному только Несмелову удалось бы объяснить нам — отчего сотни разысканных на сегодня его стихотворений не были им включены ни в одну книгу. Думается, что иной раз стихи вполне справедливо казались ему «проходными», но скорее дело в том, что Несмелов чрезвычайно заботился о строгой композиции книги; к тому же он писал больше, чем в книги, издаваемые им на свои же гроши, могло поместиться. Не зря почти во всех его сборниках отсутствует страничка «Содержание»: как-никак на этой страничке можно было разместить еще одно-два стихотворения.

Сборник «Кровавый отблеск» вышел осенью 1929 года. Интересно, что заголовок Несмелов взял из Блока, две строки из которого и привел в эпиграфе: из стихотворения «Рожденные в года глухие...» (1914), посвященного Зинаиде Гиппиус. Однако же у Блока было:

*Испеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть.*

Две последние строки как раз и вынесены Несмеловым в эпиграф. Едва ли не сознательно Несмелов подменяет слово: вместо *отсвет* он пишет *отблеск*. Заподозрить Несмелова в равнодушии к блоковской текстологии невозможно: в Харбине в 1941 году вышли «Избранные стихотворения» Блока (ровно сто стихотворений), книга, составленная Несмеловым, снабженная его же предисловием — и в ней это

²⁹ Эта книга — не вымысел: в Харбине в 1931 году вышел поэтический сборник доктора А.А. Жемчужного «Холодные зори».

стихотворение стоит *третьим с конца*. Так что искажил Несмелов Блока в эпиграфе вполне преднамеренно.

«Кровавый отблеск» целиком посвящен темам войны и оккупации. Валерий Перелешин пишет: «Своих стихов Несмелов обычно не датировал (или ставил первые попавшиеся даты – *Е.В.*), но его «Кровавый отблеск» <...> – сплошное зарево гражданской войны, памятник ненависти и любви, холод прощания с землей, которая изменила своим идеалам»³⁰. Это бросалось в глаза любому читателю, да и автор об этом знал. «У меня много стихов о войне. Всё это – 1918 год по рисунку и быту. Много, почти всё – Сибирь», – писал Несмелов Якушеву 13 сентября 1929 года, накануне выхода «Кровавого отблеска». Книга вышла чуть позже, а 14 августа 1930 года он писал ему же: «Здесь я продал около двухсот экземпляров и окупил издание с прибылью».

Видимо, эта «прибыль» и позволила поэту уже в следующем году издать большой и весьма сильный сборник «Без России». Эта книга – в значительной мере память о той минувшей России, где некогда жил поручик Митропольский и которая затонула теперь для него, словно Атлантида. Но здесь же мы находим и важнейшие для Несмелова стихи о гибели царской семьи, о водворившемся в Смольном «наркоте с полумонгольским лицом», о деградации одновременно и революции, и эмиграции: подобные *актуальные* стихи в эмигрантской среде очень не одобрялись, и, прочитав эту книгу, понимаешь, насколько был прав И.Н. Голенищев-Кутузов в своем отзыве, приведенном выше.

Не считая поэм и книг «Дозорова», следующий по времени сборник Несмелова «Полустанок» (Харбин, 1938) – книга преимущественно о Харбине, своеобразный плач о городе, некогда построенном русскими руками, но обреченном рано или поздно стать городом чисто китайским. Наконец, «Белая флотилия» (Харбин, 1942) – попытка выхода в мировую культуру и в новые темы (что намечалось и в «Песнях об Уленспигеле» в «Полустанке»), не теряя, впрочем, и прежних: Первой мировой, гражданской войн, памяти о канувшей России. Но во всем мире шла война, и сборник долгое время оставался неизвестен за пределами Китая, даже послать по почте его Несмелов мог разве что в Шанхай, своей ученице Лидии Хаиндровой. Но и с ней переписка оборвалась в апреле 1943 года. Последние годы жизни Несмелова долгое время никак не реконструировались, но кое-что узнать удалось, нашелся и неоконченный роман в стихах «Нина Гранина», который поэт с продолжениями печатал в «Рубеже», – едва ли шедевр, но свидетельство негаснущего таланта, неунывающего духа.

Впрочем, бывало по-разному. Е.А. Сентянина (1892-1980), журналистка, мать поэта В. Перелешина, уехавшая из Харбина лишь в апреле 1950 года, вспоминала, что в 1944 или даже в 1945 году поэт собирался издать еще одну книгу стихотворений – «даже бумагу закупил», но потом впал в апатию и идею забросил. Тому есть подтверждение: в

³⁰ Валерий Перелешин. Об Арсении Несмелове, с. 666.

№ 26 журнала «Рубеж» за 1943 год отыскалось стихотворение «Начало книги», явно предполагавшееся как вступительное к тому самому, так и не изданному последнему сборнику Несмелова. Думается, какая-то часть стихотворений этого несостоявшегося сборника нами разыскана. Часть наверняка пропала. Часть, видимо, была задумана, но так и не написана: времени оставалось уже очень мало.

Писал Несмелов отнюдь не одни стихи, он писал, как обмолвился в стихотворении конца 20-х годов, «рассказы и стихи в газете». Причем прозу он писал тоже с юности, — напомним, московские «Военные странички» 1915 года в основном из репортажно-беллетризованной фронтовой прозы и состояли. Стихи Несмелов писал как поэт, прозу — как журналист, и трудно представить его сочиняющим какой бы то ни было рассказ иначе, как для печати. Об участии эмигрантского писателя Несмелов обмолвился в отрывке из несостоявшегося романа «Продавцы строк» («Ленка рыжая»), обмолвился об «убогой и скудной жизни, служа которой, люди отказываются даже от самого последнего, от своих человеческих имен, и облачают себя в непромокаемый макинтош псевдонимов». Между тем образования он в жизни недополучил, точнее, получил он его ровно столько, сколько могло оказаться у выпускника Нижегородского Аракчеевского корпуса. Его попытки писать на сюжеты древнеримской истории не совсем ловко читать — снова и снова повторяемые пересказы Светония и «Камо грядеши» Генрика Сенкевича утомят кого угодно. Но когда материалом этих рассказов был собственный жизненный опыт Несмелова — тут его талант поднимался до больших высот. Причем единственная книга его прозы «Рассказы о войне» (Шанхай, 1936), вместившая шесть новелл, отразила лишь одну грань его дарования, да и отбор в ней был почти случаен — кроме, пожалуй, уже почти превратившегося в классику военной новеллистики рассказа «Короткий удар».

Московское кадетское детство, окопная война, восстание юнкеров в Москве, Ледовый поход, Приморье времен ДВР и первых лет советской власти, наконец, был изрядно захолустного Харбина (который в первые годы даже трудно было назвать эмигрантским — просто кусок старой русской провинции) — всё шло в дело. Притом пережитое самим Митропольским в этих рассказах резко отлично от знакомого по чужим рассказам или вымышленного: «свое» повторялось много раз, ибо, как уже говорилось, дара «фантазирующего писателя» Несмелов был лишен начисто. Даже дата гибели одного из героев в рассказе «Два Саши» — это дата ранения самого Митропольского: «И был он убит 11 октября (1914 г. — *Е.В.*) под Новой Александрией, когда русские войска переходили через Вислу, чтобы затем отбросить врага до самого Кракова» («Луч Азии», 1939, № 12, с. 9). Впрочем, на роль «фантаста» среди прозаиков русского Китая мог претендовать разве что Альфред Хейдок, да и то лишь до встречи с Н. Рерихом в 1934 году — после этого проза Хейдока из художественной превратилась в чисто теософскую. Николай Байков, как в прежние годы, оста-

вался блистательным писателем-анималистом, из младших прозаиков выделился Борис Юльский, но тоже в первую очередь как «Джек Лондон русского Китая», в его рассказах тигров порою не меньше, чем людей. Несмелов же в мемуарной повести «Наш тигр» порадовался именно тому, что *никакого тигра в тайге так и не встретил*. Ему хватало собственной судьбы, его тревожило прошлое, он повторялся, но, трижды и четырежды рассказав одну и ту же историю, иной раз вдруг создавал настоящий шедевр: похвалы Голенищева-Кутузова имели под собой почву. Пусть через силу и по необходимости, но из Несмелова вырос незаурядный новеллист: примерно половина выявленного на сегодняшний день его прозаического наследия составляет в нашем издании второй том. Таким рассказам, как «Всадник с фонарем», впору стоять в любой антологии русской новеллы XX века, — между тем именно этот рассказ (как и еще более тридцати) переиздается в нашем издании впервые.

К началу 1930-х литературный авторитет Несмелова в русских кругах Китая был весьма велик, но обязан им он был совсем не книгам, вышедшим еще в России, о них мало кому было известно вообще: популярностью пользовались в основном его публикации в периодике и книги, изданные уже в Китае. Но у Несмелова действительно сложилась репутация *поэта* — почти единственного в Китае русского поэта с доэмигрантским стажем: уехали в СССР Сергей Алымов, Венедикт Март, Федор Камышнюк, некоторые умерли, к примеру, Борис Бета или Леонид Ешин, друг Несмелова, которого тот сделал героем нескольких рассказов и на смерть которого написал не только некролог, но и одно из лучших стихотворений. Остальные поэты с «доэмигрантским» стажем в Китае пребывали в почти полной безвестности — талантливейший Евгений Яшнов (1881-1943), живший литературными заработками с 1899 года, Александра Серебренникова (1883-1975), больше известная слабыми переводами из японской поэзии, наконец, старейшим среди них был Яков Аракин (1878-1949), печатавшийся с 1906 года, но в Харбине никем всерьез не принимавшийся. Один Василий Логинов (1891-1945/6), печатавшийся с 1908 года, как-то мог бы конкурировать с Несмеловым... если бы у этого запоздалого наследника музыки Гумилева было больше поэтического таланта.

Не стоит, впрочем, преуменьшать культуру Несмелова: хотя иностранные языки со времен кадетского корпуса поэт и подзабыл, в одежды певца «от сохи» (или даже «от револьвера») он никогда не рядился. При анализе его поэмы «Неронов сестерший» выявляется основательное знакомство автора не столько с русским переводом «Камо грядеши» Сенкевича, сколько с «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, с писаниями Тацита, читанными, конечно, тоже в переводе на русский язык, но и это для поэта-офицера немало. В работе над «Протопопией» Несмелов, которого навела на тему «огнепального протопопа» история его ссылки в Даурию, прослеживается не только «Житие Аввакума», но и другие писания XVII века — письма «пустозерских старцев», сторонние истори-

ческие источники. Причем с годами тяготение к культуре росло: Несмелов перелагал «своими словами» Вергилия, переводил с подстрочников, которые делала для него добрейшая Мария Лазаревна Шапиро (1901-1962, в будущем — узница ГУЛАГа), — Франсуа Вийона; и это не в пронизанной культурными традициями Западной Европе, а в заброшенном (с точки зрения Европы) на край света Харбине.

Однако именно ко времени японской оккупации Маньчжурии русская литература Китая получила мощное подкрепление, причем не только в области поэзии. Сравнительно молодой казачий офицер, хорунжий Сибирского казачьего войска Алексей Грызов, — как и Несмелов, ушедший из Владивостока в эмиграцию чуть ли не *нешком* (правда, сперва в Корею), — взявший литературный псевдоним по названию родной станицы — Ачаир, организовал в Харбине литературное объединение «Чураевка», получившее свое название от фамилии Чураевых, героев многотомной эпопеи сибирского писателя Георгия Гребенщикова. Ачаир выпустил первую книгу стихотворений в Харбине в 1925 году, дав ей одно из самых неудачных в истории русской поэзии названий — «Первая». Поэтом он был не особенно ярким и на редкость многоречивым, но организатором оказался хорошим. Именно в «Чураевке» получили первые затрещины и первые — скупые — похвалы молодые харбинские поэты, о которых помнит ныне история русской литературы. Молодые «чураевцы» — либо харбинцы, либо люди, привезенные в Китай в детском возрасте, как Валерий Перелешин, — были в среднем лет на двадцать моложе Несмелова. Он годился им в отцы, в учителя. Поэтесса и журналистка Ю.В. Крузенштерн-Петерец в статье «Чураевский питомник»³¹ писала о «чураевцах»: «...у них были свои учителя: Ачаир, Арсений Несмелов, Леонид Ешин...» На деле было всё же несколько иначе, от роли «арбитра изящества» на харбинском Парнасе Несмелов уклонялся категорически, хотя и рецензировал издания «чураевцев» — как их газету, так и их коллективные сборники и немногочисленные авторские книги, когда таковые стали появляться, — и тем более не отказывал поэтам в личном общении. Та же Ю.В. Крузенштерн-Петерец отмечала: «Поэзию Несмелов называл ремеслом, а себя «ремесленником» (явно под влиянием любимой Цветаевой)». Именно ремеслу молодежь могла бы и поучиться, если бы хотела. Однако для харбинской молодежи, как и для читающего русского Парижа, Несмелов был *слишком независим*. Над последней строфой его поэмы «Через океан» кто только не потешался, — но пусть читатель глянет в текст, вспомнит последние полтора десятилетия XX века и скажет — был ли повод для смеха и кто же в итоге оказался прав.

К сожалению, большинству «чураевцев» поэтическое ремесло, даже если оно давалось, удачи не принесло, всерьез в литературе закрепились очень немногие. Те, кто позднее — через Шанхай — возвратились в СССР, обречены были радоваться уже тому, что местом поселения

³¹ Возрождение, 1968, № 204.

им определяли не глухую тайгу, а Свердловск или Ташкент; авторская книга стихотворений из чураевских возвращенцев вышла, насколько известно, у одной Лидии Хаиндровой в Краснодаре в 1976 году. Чаще других из молодых поэтов навещался к Несмелову, пожалуй, Николай Шеголев (1910-1975), умерший в Свердловске, лишь незадолго до смерти предприняв безрезультатную попытку вернуться к поэзии. Несколько раз посещал его Валерий Перелешин, которому Несмелов предрекал блестящее будущее, что в известном смысле и сбылось, хотя очень поздно: судьба забросила Перелешина в Бразилию, где он на десять лет замолк, и лишь в 1970-е, особенно же в 1980-е годы вышел в первый ряд поэтов русского зарубежья. Но сам Перелешин считал, что на путь в поэзию его благословил именно Несмелов.

Он пишет: «Кажется, только один раз Несмелов был в доме у меня – в доме моей матери в Мацзягоу <...>. В тот раз Несмелов, прислонившись к чуть теплому обогревателю (из кухни), читал нам свои «Песни об Уленспигеле» – читал просто, без актерской аффектации, ничего не подчеркивая. Его чтение стихов я слышал еще раз или два – на торжественных собраниях, которыми «Главное Бюро по делам Российских Эмигрантов в Маньчжурской Империи» чествовало победителей на литературных конкурсах. Но лично его не любили ни редакторы, ни примазавшиеся к японским хозяевам русские эмигранты: слишком он был независим, слишком сознавал собственный вес, казался надменным»³².

Насколько близки были к Несмелову другие поэты «Чураевки» – Ларисса Андерсен, Михаил Волин, Георгий Гранин, Николай Петерек, Владимир Померанцев, Сергей Сергин, Владимир Слободчиков и т.д., – сказать трудно; впрочем, Волин опубликовал воспоминания о Несмелове³³, но ничего принципиально нового не сообщил. Когда, в противовес «Чураевке», в Харбине возникло другое объединение – «Круг Поэтов», Несмелов остался в стороне и от него. По крайней мере, до 1940 года «организованным» воспитанием молодежи Несмелов пренебрегал. Позже ситуация изменилась, но это уже были годы Второй мировой войны, совсем иные годы.

Покончили с собой в 1934 году в харбинском отеле «Нанкин» Гранин и Сергин. Десятью годами позже умер от воспаления легких в Шанхае Николай Петерек. Умерли – в Кемерово в 1985 году совсем выпавший из литературы Владимир Померанцев, в Аделаиде в 1997 году – Михаил Волин, удержавшийся в изящной словесности, но лишь едва-едва, – впрочем, оставил краткие мемуары о «Чураевке». Встретил в Москве в добром здравии наступление XXI века Владимир Слободчиков – видимо, поэзия все-таки не обязательно ведет человека к скорой смерти. Где-то в США доживает век младший брат Валерия Перелешина, Виктор Ветлугин, давно забросивший стихи; на юге Франции, в Иссанжо, живет Ларисса Андерсен – если

³² В. Перелешин, ук. соч., с. 668-669.

³³ «Континент», 1982, № 34.

и не пишущая теперь, то оставившая свой след в литературе. По одиночке они создали очень мало, как цельное явление память о «Чураевке» будет жить по крайней мере в истории. Вспомнится и то, что из нее вышел Валерий Перелешин, что на ее заседаниях бывал Арсений Несмелов.

А Несмелов коротал свои поздние харбинские годы не за одной лишь литературной поденщиной, не только за серьезной поэзией, прозой, критикой или даже статьями по стиховедению. В свободное время, пыльным харбинским летом, он предавался любимому занятию: на «движимой собственности» (выражение самого Несмелова), на лодке «Удача» уплывал он по Сунгари подальше от Харбина и ловил рыбу вместе с другом – Николаем Гаммером³⁴, служившим в харбинской газете «Заря», и «Герасим Антипас»³⁵ помогал скоротать оставшееся время. Зимние будни были, конечно, не так хороши: тут была сплошная журналистика, деловая и дружеская переписка, редчайшие встречи с очень немногими боевыми друзьями (см. стихотворение «В гостях у полковника») – и собственно литература, вперемежку с поденщиной. Будни эти были полны еще и одиночеством. Очередной брак его с Анной Кушель, видимо, не только по вине поэта распался, друзья и ровесники исчезали один за другим – из Харбина, из Шанхая, из жизни. Много было и недругов: даже почти беспрепятственно печатавший его стихи, рассказы и рецензии главный редактор «Рубежа» М.С. Рокотов (Бибинов) откровенно признавался, что стихи Несмелова ему не нравятся, а как человек он ему просто неприятен – «циник». Впрочем, более проницательная Ю.В. Крузенштерн-Петерц в цитированной выше статье отмечала: «...под маской циника Арсений Несмелов прятал в себе романтика: романтик в нем никогда не умирал». А Несмелов, вступивший в последнее десятилетие своей жизни, отлично знал, что как поэт он состоялся, а больше... больше ничего не будет. Как сказал он сам Е.А. Сентяниной в конце войны: «Ничего больше не будет. Субмарина затонула», – имея в виду свое стихотворение из последней книги. Тем не менее, погружаясь в последние пропасти отчаяния и явно предчувствуя, что *отсрочка* на исходе, он не переставал писать.

Одно время его обужали «бонапартистские» иллюзии. Ему мерещилось, что в СССР рано или поздно кто-нибудь из новоявленных «маршалов» возьмет да и смахнет Сталина, как фигурку с шахматной доски. Талантливый прозаик Борис Юльский, которого еще предстоит открывать нашему читателю, ровесник «чураевцев» и тоже жертва сталинских лагерей³⁶, нередко повторял строфу Несмелова:

³⁴ Н.А. Гаммер обозначен как «издатель» на книге стихотворений Несмелова «Без России» (1931).

³⁵ Харбинский грек, производивший «почти русскую» водку; фамилию его традиционно произносили с ударением на последнем слоге.

³⁶ Борис Юльский (р. 1911/12) был арестован тогда же, когда и Несмелов, но, согласно выданной по запросу Ли Мэн справке, в 1950 году бежал из магаданского лагеря, после чего его судьба неизвестна.

*Тени смерти носят недаром
Над рекою Стикс.
Дай Ты, Боже, силы командарму,
Командарму Икс.*

Старые выходцы из Харбина говорят, что стихотворение было длинной, называлось «Командарм Икс»³⁷ и было посвящено фюреру ВФП Константину Родзаевскому. На командарма Родзаевский едва ли тянул, а вот какой-нибудь «Маршал Свистунов»... Именно из таких иллюзий родился одноименный рассказ, который у нынешнего читателя неизбежно вызовет грустную улыбку, настолько нереально выписана Несмеловым гостиная маршала, где за тарелкой борща обсуждаются новейшие стихи Пастернака, где готовится военный заговор, — но есть в этом же рассказе и крайне важный для понимания несмеловских мыслей разговор маршала со священником, которого неверующий маршал везет в подмосковное Пушкино к умирающей матери:

«Но «я»-то мое, если меня, например, расстреляют, не будет ведь существовать...

— Тут уж вера. Я скажу: «Будет!».

— Чтобы гореть в огне вечном, — перхнул маршал снисходительным смешком.

Но священник глянул в его иронические глаза серьезно и строго.

— Если вас расстреляют — нет! Все ваши земные грехи возьмут на себя те, кто вас убьет».

Имел в виду Несмелов Блюхера, Тухачевского или еще кого-либо из реальных маршалов (рассказ опубликован в печально памятном 1937-м) — не играет роли, получился всё равно типичный эмигрантский лубок на советскую тему. Однако ценность рассказа не ограничивается явно автобиографическими описаниями подмосковного Пушкина и обрывками воспоминаний о подавлении восстания юнкеров в Москве. Здесь важна мысль о том, что бывший кадровый офицер действительно не боялся насильственной смерти, он знал, что она-то и смывает грехи «вольные и невольные». Сейчас, когда со дня рождения Николая Гумилева давно идет второе столетие, теряет важность вопрос о том, участвовал ли Гумилев в каком-то заговоре и вообще — был ли заговор. Важно то, что Гумилев был расстрелян. Примерно такой видел Несмелов и свою смерть. Почти такой она и оказалась.

* * *

Японская оккупация 1931 года стала началом конца русской культуры в Харбине, но еще очень отдаленным ее началом. В 1934-1935 годах Япония вынудила Советский Союз продать ей КВЖД, — в итоге

³⁷ Даже если стихотворение существовало, разыскать его не удалось: оно могло быть и не опубликовано.

все советские работники железной дороги должны были вернуться домой, где вскоре чуть ли не поголовно были репрессированы. В самом Харбине постепенно ликвидировалась с огромными усилиями созданная русская образовательная система, что, как пишет В. Перелешин в своих воспоминаниях, было «частью политики оккупантов в Маньчжурии». Оставались без работы профессора (иные – с очень громкими именами), теряли надежду на высшее образование студенты. Неуклонно сокращалось число рабочих мест, на которых могли быть заняты русские, в большинстве своем не знавшие ни японского, ни китайского (нередко и английского) языков. Русские уже в 1931-1932 года понемногу стали уезжать из Харбина – в Тяньцзин, в Пекин, но чаще всего в огромный и многоязычный Шанхай. Там русские были заметны, там с 1935 года уже пел Вертинский, и флаг советского консульства соблазнял слабые души «возвращением на Родину». В Шанхае количество русских периодических изданий не падало, а росло, хотя по бедности шанхайские журналы гонораров почти не платили; но там к причалам швартовались океанские пароходы, жизнь не была ограничена русско-китайско-японским миром, там была хоть какая-то надежда на будущее, и те, кто знал английский язык хотя бы немного, могли заработать на чашку-другую риса с морской капустой и соей, на койку где-нибудь на чердаке; и хотя бы не перекликались хунхузы в окружающих город зарослях гаоляна, как это было в Харбине, – словом, не так сильно слышался запах крови, огня, войны, вот-вот готовой грянуть от Британских морей до Пирл-Харбора.

Но Харбин, город с маньчжурским названием³⁸, построенный на китайской земле русскими инженерами, всё еще оставался русским городом, всё еще выходили еженедельный «Рубеж» и ежемесячный прояпонский «Луч Азии», да и другие русские периодические издания, где публиковались произведения многих авторов, к этому времени Маньчжоу-Го покинувших. Но жизнь становилась всё тяжелее. Вот что вспоминает о последних годах японской оккупации Харбина очевидец, русский писатель, умерший в начале 1990-х годов, в письме к автору этих строк: «Начиная с 1940 года все мы там стали жить тяжело и безобразно, главным образом в моральном плане. Но и материально было нелегко. Хлеб – хоть наполовину из гаоляновой муки – люди получали по 500 граммов ежедневно на едока (по карточке, разумеется). Давали крупу, зернобобовые, растительное масло <...>. И вволю давали водку, хоть и не из хлебного спирта, но давали не скупо. Хотя таких трудностей с продовольствием, какие пришлось испытать людям здесь, в СССР во время войны, у нас там не было... Жили скудно, но в том обществе, где я вращался, – весело. С годами назревал перелом, и люди, которые вначале были настроены антисоветски, стали ярыми «оборонцами».

³⁸ Современная китайская наука толкует это слово как «длинный остров» – протоки на Сунгари к северу от Харбина несколько таких островов действительно образуют.

Японцев ненавидели большинство из нас — ненавидели слепо, за то, что они были оккупантами, не любя даже то, что было в них достойно уважения. Общественная жизнь в эти годы со скрипом, но шла. Были литературно-художественные кружки, литобъединения; одним из них руководил Арсений Иванович. Выпускали эти кружки и литературно-художественные альманахи, в основном машинописные. Японцы хотели эти литобъединения подчинить себе, но вовсе не всегда это вышло, лозунг «хакко ици у» («мир — одна крыша», разумеется, крыша японская) — поддержки у большинства не находил...» (В.Е. Кокшаров, г. Свердловск, 1989 год).

Хоть и поразехались из Харбина недавние «чураевцы», но во всё еще русском городе снова произошла смена литературных поколений; в литературу стали входить те, кто в «чураевские» времена начала 1930-х годов были еще детьми, — поколение тех, кто родился в первой половине 1920-х. Несмелов был старше этих людей больше чем на тридцать лет, и как раз с ними он стал искать общий язык. Процитированные выше воспоминания принадлежат человеку этого поколения, иначе говоря, одному из последних, кто общался с Несмеловым творчески. Хочется привести еще один отрывок из того же письма:

«Некоторое время он руководил небольшой группой харбинских молодых поэтов, т.е. теми, кто сейчас такие же старики, как я, или немного помоложе. Году в 1943-м он провел с нами небольшое занятие по советской литературе. Мы его засыпали вопросами, ибо он, будучи зарегистрирован в Шестом отделе императорской японской Военной миссии, имел доступ к советской прессе. «Кто самый выдающийся из советских поэтов?» — спросили мы. — «Разумеется, Константин Симонов, Самуил Маршак». — «Маяковский, Есенин?» — «Маяковский великий поэт, это я говорю искренне, хотя меня он и не любил. А Есенин такой же советский поэт, как и я. И вообще запомните: современная советская литература — это наполовину фикция, высосанная из пальца... Лет через 40-50 будет настоящая русская литература, помяните мое слово! Или откроются старые имена, которых никто сейчас почти и не знает...».

На вышедшем в Харбине сборнике «Белая Флотилия» Несмелов, направляя его в 1942 году жившей в Шанхае своей ученице, Лидии Хаиндровой, написал: «Как видите, я еще жив». Переписка их оборвалась весной следующего года. Несмелов продолжал жить привычной жизнью. А потом «отсрочка» кончилась, и в Харбин вступили советские войска. Что было дальше, мы знаем.

* * *

«Бывают странными пророками / Поэты иногда...» — писал некогда Михаил Кузмин. Арсений Несмелов в начале 1940-х годов пообещал, что русская литература «будет» через 40-50 лет, хотя имен своих современников — Даниила Андреева или Сигизмунда Кржижановско-

го — он даже знать не мог, а именно они на сегодняшний день оказались *гордостью русской литературы советского периода 30-х — 40-х годов*. Сроки исполнились, предсказание очень точно сбылось. Сбылось и предсказание собственной смерти (стихотворение «Моим судьям»). Сбылось и предсказание своего бессмертия — о нем ниже. Увы, сбылись и другие его предсказания.

В 1904-1905 годах, когда на сопках Маньчжурии разворачивались события русско-японской войны, Митропольский еще учился в Кадетском корпусе. Под вальс Шатрова «На сопках Маньчжурии» пробежала его юность, звуки того же вальса проводили его на фронт в начале Первой мировой войны. А позже весь остаток жизни провел он в самой настоящей Маньчжурии, в непосредственном соседстве с теми сопками, на которых «спит гаолян», спят «герои русской земли, отчизны родной сыны». Нежной любовью полюбил Несмелов последний город минувшей России, выстроенный русскими руками Харбин, но он же предвидел:

*Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.*

Действительность, пришедшая спустя «сколько-то летящих лет» после смерти Несмелова, оказалась похожей на кошмар. Грянула «культурная революция». «Хунвейбины маршировали по улицам, арестовывали, клеймили и били людей. В Харбине они за несколько дней разнесли по бревнам Св. Николаевский Собор, возведенный еще построечниками Китайской Восточной железной дороги. В церковной ограде запылали костры из икон и церковных книг»³⁹. На месте собора собирались воздвигнуть бронзового Мао Цзедуна, однако нынче там — клумба, и только. Впрочем, еще ранее, в 1963 году путешественник Клаус Менарт⁴⁰ (1906-1984) описал свое посещение Харбина в 1957 году:

«Пожалуй, Харбин был единственным городом в Маньчжурии, в котором по соседству с китайскими можно было видеть русские вывески. Однако в клубе Железнодорожного Собрания⁴¹ на берегу Сунгари, некогда крупнейшем русском клубе, никаких русских я больше уже не видел; сотни юных китайцев танцевали там под западную музыку западные танцы. Существовал, впрочем, один символ старого времени: главный универмаг всё еще назывался «Чурин» <...>. В Хар-

³⁹ Ольга Бакич. Русская история. «Новый журнал» 2000 г., № 219, с. 38.

⁴⁰ Уроженец Москвы, немец; в течение второй мировой войны жил в Шанхае, издавал журнал «XX век».

⁴¹ Ошибка: несомненно, имеется в виду яхт-клуб, располагавшийся на Пристанни (район Харбина).

бине проживали тогда в общей сложности 6200 русских, в основном пожилого возраста, и, кроме того, 600 — без советских паспортов».

Другой западный турист, посетивший Харбин семнадцатью годами позже (1974), констатировал, что в нем проживает не более сотни русских. Анжелика Батуева в очерке «Сибирские могикане»⁴² (1995) пишет: «Сегодня в трехмиллионном китайском городе Харбине русская община насчитывает 12 человек — трое мужчин и девять женщин. Средний возраст русских харбинцев — 70-80 лет». Что осталось от этой общины к 2000 году — боюсь строить предположения. Мой соавтор по составлению нынешнего издания Ли Мэн писала мне в августе 2004 года из Чикаго: «В 1996 году, когда я была в Харбине, мне сказал священник православной церкви (он китаец), что русских первого поколения в Харбине 18, а второго — более 100. А года три назад даже сам священник умер». Хотя память о русских отчасти берегут сами китайцы: русский район города до недавнего времени хранил прежний вид, на фасадах были русские вывески. Впрочем, для китайского глаза это лишь элементы орнамента, как и для русского — китайские вывески на ресторанах, а надпись иероглифами на универсаме «Чурин» (Чу-лин) для китайца означает всего лишь «осенний лес». Китайские слависты, впрочем, глубоко изучают русскую культуру Китая. Больше в Китае, но и в Америке тоже.

Из русских кладбищ в Харбине сейчас цело только то, где похоронены советские солдаты и офицеры, павшие в августе 1945 года. Впрочем, недалеко от Харбина сохранилось русско-еврейское кладбище, куда были перенесены останки примерно двух тысяч харбинцев, — но это уже *не те* русские кладбища, о которых писал Несмелов. Да и на этом, загородном хунвейбины в 1966 году уничтожили множество портретов. «Герои русской земли» спят сейчас в земле, на которой разбит городской парк. Словом, и тут произошло то же самое, что бывает всегда: один народ сменяется другим, а если что остается — так только литература.

* * *

Творческое наследие Несмелова на протяжении первых двух десятилетий, прошедших после его смерти, кажется, вообще никого не интересовало. Для советских литературоведов, изучавших культуру русского Дальнего Востока и, следовательно, неизбежно сталкивавшихся с именем Несмелова, он не мог представлять интереса: эмигрант, белогвардеец, чуть ли не фашист (разницы между «русско-китайским фашизмом» и европейским тогда никто не видел, как и до сих пор не многие желают видеть разницу между фашизмом итальянским и немецким). К тому же среди лиц, причастных к аресту Несмелова и его вывозу в СССР, оказался известный на Дальнем Востоке писатель Ва-

⁴² «Рубеж», Владивосток, № 2/864, с. 344 (Владивосток, 1995).

силлий Ефименко, добродушно вспоминаясь⁴³: «Совсем конченный был человек, спившийся, у белогвардейцев печатался, у фашистов, кажется... Ну, дали бы ему, как всем из Харбина, десять лет лагеря, не больше... Никогда его не реабилитируют — его и не судил никто, он раньше умер, в ноябре, что ли, сорок пятого...». Работники «компетентных органов» точно знали, кого тащить, а кого не пушать.

В русском зарубежье интерес к Несмелову исчез вместе с исчезновением «восточной части» русской эмиграции. Для эмиграции «западной» слова Г.П. Струве, сказанные о Несмелове в 1956 году («близок к советским поэтам»), были приговором к высшей мере наказания для поэта, приговором к забвению. Лишь к концу 1960-х годов наметились первые, еще не очень существенные, перемены: сперва появилась упоминавшаяся выше попытка публикации его стихотворений в «Антологии поэзии Дальнего Востока» (1967) — из-за нее составителю, А.В. Ревоненко, пришлось с Дальнего Востока уехать (впрочем, в Сочи, где он и умер в 1995 году). С другой стороны, видные советские поэты — Леонид Мартынов, Сергей Марков — высоко ценили немногие известные им стихотворения Несмелова. Именно С. Марков указал, что считавшаяся ранее утраченной поэма Несмелова «Декабристы» должна отыскаться на страницах газеты «Советская Сибирь» за 1925 год, в номерах, посвященных столетию декабрьского восстания. Несмелов и Марков были связаны еще и общностью поэтических тем, оба изучали историю гражданской войны на Дальнем Востоке (Несмелов — на собственном опыте, Марков — как ученый), и у Несмелова, и у Маркова есть, например, стихи, в которых возникает образ «Даурского барона», потомка балтийских пиратов Романа Унгерна фон Штернберга, зверствами далеко затмевавшего и «черного атамана» Анненкова, и пресловутого атамана Семенова, и, пожалуй, даже коммунистов.

Несмелов стал появляться в качестве литературного героя. В романе Натальи Ильиной «Возвращение» (1957-1966) возник харбинский поэт Артемий Дмитриевич Нежданов, имевший, впрочем, по свидетельству как автора книги, так и поэта Н. Шеголева, со слов которого Ильина многое записала, мало общего с прототипом. В романе Левана Хаиндрава, младшего брата поэтессы Лидии Хаиндровой, более известного (несмотря на отсидку в начале 1950-х годов) своим сталинизмом⁴⁴, ненавистью к осетинам, абхазам и всем некоренным народностям Грузии, — в его романе «Отчий дом» (1981) появился поэт Аркадий Иванович Нечаев, на идентичности которого с Несмеловым Хаиндрава настаивал: в уста Нечаева вкладывал автор такие мудрые реплики, касавшиеся судьбы царской России: «Режим прогнил сверху до низу <...>. Крах был неминуем. Все устои расшатались...» Встречались

⁴³ В беседе с писателем Владимиром Шорором, от которого и получены эти сведения.

⁴⁴ См. его известное письмо А.И. Солженицыну (написанное совместно с Эльдаром Шенгелая), ЛГ, 1990, № 43, — логичное завершение его творческого пути, ибо пламенные стихи о Сталине этот автор печатал еще в Шанхае в 1941 году.

и другие упоминания, фрагментарные, незначительные. В советские годы издателям было определено не до Несмелова.

На Западе положение было почти таким же. Бывшие русские жители Китая, постепенно влившиеся в общий поток литературы западного зарубежья (В. Перелешин, Ю. Крузенштерн-Петерс, Е. Рачинская и др.), публиковали иной раз очерки о Несмелове, полные добрых слов, но заниматься собиранием распыленного несмеловского наследия не по силам было в те годы никому. Антологии поэзии русского зарубежья («На Западе», 1953, «Муза диаспоры», 1960 и т.д.) о Несмелове даже не упоминали, по крайней мере, до конца 1980-х годов. Лишь в 1973 году в нью-йоркском «Новом журнале» (№ 110) Валерий Перелешин по копии автографа, присланного из СССР⁴⁵, опубликовал поэму-сказку Несмелова «Прощенный бес». Увы, публикация — хотя сказка принадлежит к числу шедевров Несмелова — погоды не сделала.

Но человеческая память живуча, да и «рукописи не горят», как сказал Михаил Булгаков и, как уже в наши дни уточнил Фазиль Искандер, «особенно хорошо они не горят, добавим мы, когда рукописи напечатаны». В сотнях библиотек и частных архивов хранились разрозненные комплекты газет и журналов со стихами и прозой Несмелова, у частных лиц сбереглись его автографы. Так и не удалось выяснить, были ли хоть когда-то изданы стихотворения, во множестве извлеченные нами из архивов тех, кто некогда переписывался с Несмеловым, — Лидии Хаиндровой, Петра Балакшина, Ивана Якушева, «Юрки» (Е.А. Васильевой), причем, что важно отметить, это *лучшие* стихотворения Несмелова из числа не собранных в прижизненные сборники: по какой-то причине путь в печать в прежние годы им был заказан. Многое в публикациях прежних лет приходилось печатать записанным по памяти. К счастью, в нынешнем издании таких стихотворений нет, у всех есть хоть какой-то достоверный источник.

Со второй половины 1980-х годов интерес к творчеству Несмелова достиг высокой степени накала: его стихи изучаются, во всяком уважающем себя издании, будь то антология или энциклопедия, есть о нем хотя бы несколько строк. Его стихи переводятся на самые разные языки — от китайского до голландского. О нем написано и защищено несколько диссертаций. Однако издание такого объема, как нынешнее, предпринимается впервые.

Чего хотел от литературы сам Несмелов? Вот две цитаты.

«Всякий ищет свое, — думал я. — Собака кость с остатками мяса, мать удачи для сына, сын — славы. Безумная женщина, не замечая любви мужа, стремится к другой любви. А чего ищу я? Ничего. Я люблю только точно писать жизнь, как пишет ее художник-реалист. Я хотел бы, чтобы мой потомок, удаленный от меня бесконечно, прочитав написанное мною, подумал: «А ведь он дышал и чувствовал совсем так же, как дышу и чувствую я. Мы — одно!» И подумал бы

⁴⁵ Копия была прислана Перелешину автором этих строк, получившим эту копию от Лидии Хаиндровой, в свою очередь, автограф поступил к ней вместе с письмом от Несмелова еще в 1940 году.

обо мне как о друге, как о брате. Но, Боже мой, чего же, в конце концов, я хочу? Не больше, не меньше как бессмертия!»

Этими словами заканчивается рассказ Несмелова «Ночь в чужом доме»: напечатан он был в августе 1945 года, за несколько дней до советской оккупации. Случайно ли такие слова оказываются в жизни человека последними? Несмелов, хоть и офицер, но в первую очередь поэт, хотел бессмертия — творческого, разумеется.

Вторая цитата представляется более важной, последнюю строфу из этого стихотворения уже приводила в своей статье «Чураевский питомник» в 1968 году Ю.В. Крузенштерн-Петерец, и сама потом не могла вспомнить — откуда запомнились ей эти строки. Но стихи нашлись. Всё в том же «Рубеже», полного комплекта которого по сей день не смогла собрать ни одна библиотека в мире.

ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ

*Какой-то срок, убийственная дата,
И то, что называлось мастерством,
Что смелостью пленяло нас когда-то, —
Уже фальшивит шамкающим ртом.*

*О, трупы душ в тисненых переплетах,
Чей жар остыл, чей свет уже потух, —
Что уцелело от посильных взлетов,
От непосильных творческих потуг?*

*Лишь чудаков над вашим склепом встретишь;
Но даже им, искателям пути,
Сверкающую формулу бессмертья
В остывшем пепле вашем не найти!*

*И только страсть высоким воплем меди
Еще звучит, почти не отходя,
Да голубые молнии трагедий
У горизонта небо бороздят...*

*Лишь вопль из задохнувшейся гортани,
Лишь в ужасе воздетая рука...
Лишь речь нечеловеческих страданий,
Как маяки, как искра маяка, —
Векам, в века!*

Трудно сказать, был ли Арсений Несмелов верующим человеком. Но обычной творческой ценой — ценой жизни — он бессмертие себе в русской литературе обеспечил.

Евгений Витковский

СТИХИ

(Владивосток, 1921)

ГОЛУБОЙ РАЗРЯД

Николаю Асееву

I

Ложась в постель, ладью покоя,
Ловлю плавучие стихи
И рву, не видя и легко, я
С корней, упавших до стихий.
И снится мне: оруженосец —
Вчера надменный сюзерен,
Я сумасшедший миноносец
У остроострова сирен.
И разрушать борта какие
Обречена моя душа,
Летающий под ударом кия
Планетно озаренный шар.
И вот, свистя, несусь в овале,
Качая ось-веретено,
Но там, где сердце заковали,
Уж исцарапано звено.
И скрип цепей, протяжный скрежел,
Под допотопный вздох стихий,
Я переплавлю, сонный нежил
В легко скользящие стихи.
И, засыпая, всё баючей
Кружусь, захваченный в лассо,
В лучи истонченных созвучий —
Сон.
Сон.
Сон.

II

Звенит колокольчик серебряный —
Над тонкой травинкой — оса,
И в мозг, сновиденьем одобренный,
Космато ползут чудеса.

Нейроны, объятые спячкой,
Разжали свои кулачки,
И герцог целуется с прачкой,
И кровли целуют смычки.
И страж исхудалый и серый
(От пота раздумий измок)
С дверей «подсознательной сферы»
Снимает висячий замок.

III

Вот нагибаюсь. В пригоршни
Черпаю тонкую суть,
Что нагнетатели-поршни
В мир ураганно несут.
Вот – торжествующей спазмой
Сжался родящий живот:
Млечно-светящая плазма –
Вот она, вот она – вот!
Первая нить шелкопряда,
Первая буква письма,
И – голубого разряда
Ошеломляющий взмах!

IV

Дальше! Но нечего дальше!
Пыль! Не удержишь гонца.
Жаль, понимаете, жаль же
Сон рассказать до конца.
Запах вдыхая аниса,
Хочется выпить ликер,
Но нарядить Адониса
В фракный костюм – куафер.
Слово и камень ленивы,
Слово сомнительный дар:
Чтобы горело – огниво,
Чтобы звенело – удар!

V

Причал в лесу, за шхерами видений,
Моя ладья, мой радостный корвет.
Я запишу улыбки сновидений,
Я встал, дрожу и зажигаю свет.

Гляжу жену и крошечную дочку,
И многих раб и многого — вассал.
Я удивлен, я робко ставлю точку
В конце того, что точно записал.

МАРШ

Е. В. Худяковской

Словно моряк, унесенный льдиной,
Грезит о грани гранитных скал,
Близкий к безумью, к тебе, единой,
Я приближенья путей искал.

Мир опрокинут, но в цепких лапах
Злобно вкусил я от всех грехов,
Чтобы острее твой странный запах
Прятать в стальные ларцы стихов.

Душу я предал клинкам распятья,
Сердце кроваво зажал в тиски,
Лишь бы услышать лишь шорох платья,
Лишь бы поверить в предел тоски.

Лишь бы услышать лишь шелест вдоха,
Лишь бы увидеть, лишь раз один...
Слушай — слышишь, мне снова плохо
В море, на льдине, меж шатких льдин.

Смелый на глыбе поставит парус,
Море узнает героя гнет:
Льдину на льдину, на ярус ярус —
Небо за тучу к себе пригнет.

Но неудачник, влюбленный в Полюс,
Всё же вонзает свой флаг в сугроб:
Путник, ведай: восторг и волю
Снежный железно захлопнул гроб.

В версты — к тебе — золотые нити,
В воздух — тебе — золотой сигнал!
...Ветер, склоняясь, свистит «усните»,
В шарканье туфель идет финал.

Тюрьма

УРОД

Что же делать, если я урод,
Если я горбатый Квазимодо?
Человеки — тысячи пород,
Словно ветер — человечья мода.

Что же делать, если я умен,
А мой череп шелудив и гноен?
Есть несчастья тысячи имен,
Но не каждый ужаса достоин.

Я люблю вечернюю зарю
И луну в сияющей короне,
О себе давно я говорю
Как другой, как путник посторонний.

Я живу, прикованный к уму,
Ржавой цепью брошен гнев Господен:
Постигаю нечто, потому
Что к другому ничему не годен.

Я люблю играющих детей,
Их головок льную златокудрость,
А итоги проскрипевших дней
Мне несут икающую мудрость.

Господи, верни меня в исток
Радости звериной или нежной,
Посади голубенький цветок
На моей пустыне белоснежной.

И в ответ:
«Искаль до плача рот,
Извертись на преющей рогоже:
В той стране, где всё наоборот,
Будешь ты и глупый, и пригожий».

ОТВЕРЖЕННОСТЬ

Вода сквозь щели протекла,
Твое жильё — нора миноги,
А там, за зеленью стекла,
Стучат бесчисленные ноги.

Сухими корками в крокет
В углу всю ночь играла крыса,
И вместо Кэт, ушедшей Кэт,
Тебя жалела Василиса.

Полузадушенный талант
Хрипит в бреду предсмертных песен:
И этот черный бриллиант
Не так давно украла плесень.

Трепещет сердце от отрав
Подстерегающих рефлексий,
Один лишь миг, и вновь ты прав –
Убить, украсть, подделать вексель!

АВАНТЮРИСТ

Борису Бета

Весь день читал (в домах уже огни)
Записки флорентинца Бенвенуто.
Былая жизнь манила, как магнит,
День промелькнул отчетливой минутой.

Панама. Трость. Тяжелый жар упал.
С морских зыбей, с тысячеверстных тропок
Туман, как змей, закованный в опал,
Ползет внизу, в оврагах синих сопок.

– Вся ночь моя! – Его не ждет жена:
Покой судьбы – ярмо над тонкой выей.
Как та скала: она окружена
И все-таки чернеет над стихией.

Со складок туч фальшивый бриллиант
Подмел лучом морскую площадь чисто.
– Как сочетать – пусть крошечный – талант
С насмешливым умом авантюриста?

Бредет сквозь ночь. В кармане «велодог»,
В углу щеки ленивая усмешка...
– Эй, буржуа! Твой сторож, твой бульдог
Заснул давно: на улице не мешкай.

Притон. Любовь. Стрдание и грязь
Прильнут к душе. Так оттиск ляжет в глине.
А завтра днем, над книгою, горбясь,
Дочитывать бессмертного Челлини...

ПИРАТЫ

Леониду Ещину

Зорче слушай команду,
Зарядив фальконет:
Белокрылую «Ванду»
Настигает корвет.

Он подходит к добыче,
Торопя абордаж,
И на палубу кличет
Капитан экипаж.

Нет к былому возврата,
К падшим милости нет,
Но запомнишь пирата
Королевский корвет!

Грозен в погребе порох,
Дымно тлеет фитиль, —
Бросит огненный ворох
Золотистую пыль.

И туда, где струится
Дым зари, в небеса —
Обожженные птицы,
Полетят паруса!

Забывайтесь, проклятья!
Шире зарься, рассвет!
Мы погибнем как братья,
Королевский корвет.

ИСТЕРИЧКА

Лирический репортаж

Вы растоптали завязь
Бледного fleur d'orange'a...
Можно ли жить, не нравясь,
Не улыбаясь всем?

Взгляды мужчин – наркотик
(Ласки оранг-утанга!),
Ваш искривленный ротик –
Это, пожалуй, боль.

Скоро вам будет нужно
Ядом царапать нервы,
Чтоб перелить в сто первый
Опыт – восторг былой.

Скоро вам будет надо
Думать, кривясь, о смерти,
С яростной дозой яда
В сердце вонзится: «Бог!»

Сердце узнает корчи,
Чтобы изгнать пришельца,
Он же глядит всё зорче
В темную глушь души.

Если у вас есть сила,
Если у вас есть гордость:
– Всё, что в душе носила,
Это мое, мое!

Если же будет ладан
Слез о «проклятом прошлом» –
Образ ваш весь разгадан
Парою точных строк.

Это узнаем скоро,
Может быть, даже завтра...
Записью репортера
Станут мои стихи.

НЕВРАСТЕНИК

I

Когда нет будущего — жить не хочется,
Когда нет будущего — ночами страх,
Как утомительно душе пророчится
Неотклоняемый и близкий крах.

И нет уверенности в игре со случаем,
И близок проигрыш уже, и ночь в груди.
И нервы, чавкая тоской, мы мучаем,
И ждем призывного: «Вставай, иди!»

Ах, пуля браунинга была б гуманнее,
Но цепью звякается крик: «жена!»
Как муха тусклая, жужжу в стакане я,
А жизнь, по-видимому, сожжена.

II

Вышел из себя. Встал в сторону. Гляжу:
На постели тридцатидвухлетний
Вяло дышит человек и ищет
Рифму к слову «будущее»...
Не нашел и думает о шляпе
Для жены, которая уж спит
(Спит не шляпа, а жена, конечно),
А за ним — раскосая, как шлюха,
Смерть стоит, зевая (не пора ли
Ухватить за плотку человека?).
Как угрюмо. Лучше вновь в подполье,
В череп, в сердце, в крошечную клетку,
В тесное «седалище души».
Может быть, мгновенно озаренный,
Я найду и рифму, и сумею
Завтра шляпу подарить жене.

СЕСТРИЧКА

Покойнице

Ты просто девочка ломака,
Тебя испортила Сморгонь.

Штабная моль, дрожа от смака,
Прошепелявила: «Огонь!»

И смотрит шуристо и падко,
Как воробей на мирабель,
А мне почудилась лампадка,
И тишина и колыбель.

Ведь я поэт, и глаз мой — лупа,
Я чуял мглу твоей тюрьмы,
Но как бы взвизгнула халупа,
Услышав: бойтесь сулемы!

И вот угрюмо от драбанта
Я узнаю твою судьбу.
Как ты страшна была без банта
В сосною пахнувшем гробу!

Но отпою без слезотечи
Тебя, уснувшее дитя,
Зане завеяли предтечи
Иных людей, идущих мстя.

И образ твой любовно вытку
Из самой синей синевы,
А те, кто вел тебя на пытку...
— Эй, вы!

Штакор, 25

ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Е.И. Гендлину

Моя душа — на цыпочках. И нечто
Поет об изумительном, большом
И удаленном в бесконечность... Речь та —
Как контур, сделанный карандашом.

Прикосновенье вечного — интимно,
И может быть, задумчивость моя:
В туманности светящейся и дымной —
Летающее, оторванное Я.

Вот облако, похожее на ветер,
Вот облако, похожее на взрыв...
Сегодня глаз прозорливо отметил
На всем следы таинственной игры.

Но это — миг, и он — свивает свиток.
Сконфуженный, я пудрю складки лба.
К чему они одной из тех улиток,
Которые под тяжестью горба?

СПУТНИЦА

На степных просторах смерть кочует,
Как и мы, бездомные скитальцы,
На траве желтеющей ночует,
Над костром отогревает пальцы.

На степовьях убережь красу как?
Старый саван вытерт о заплечья.
Полиняла шеристая сука —
Сумрачная ярость человечья.

Смерть! когда же от дымящих зарев
Ты поднимешь к небу глаз безвекий:
— Выполнен приказ твой государев —
Нет живого, тлеют человеки.

А пока, кочующая с нами,
Ледени морозом воздух ковкий,
Волочи истрепанное знамя,
Заряжай солдатские винтовки.

БУРЖУАЗКА

Вы девочка, вы барышня и мисс,
Сегодня всё опять расскажет папе,
Ведь вы опять пошли на компромисс,
Опять поэт в широкополой шляпе!

Рара на бирже понижает рубль
И вас, мой перл, оберегают строго,

Он думает, что я угрюм и груб,
Что я апаш, что я не верю в Бога.

Он прав, отец. Он говорит, что я,
Смеясь, прошел сквозь многие мытарства...
Вы нежите, вы дразните меня
Изнеженным и развращенным барством.

И я сломаю вашу чистоту,
И ваши плечи, худенькие плечи
Моей любви поднимут тяготу
И понесут ее сквозь жизнь далече.

И знаете, я – крошечная моль,
Которой кто-то дал искусство видеть,
Я причину вам яростную боль
И научу молчать и ненавидеть.

МОНГОЛ

Желтым ногтем согнутого пальца
Давит вшей.
– Вошь не волк. От них моя не свалится...
И скребет бычачий выгиб шеи.
На сосках – ключёе блестящей шерсти,
Клетка ребер ширится, дыша,
Из косых растянутых отверстий
Черных глаз – глядит душа.
Маленькая, юркая, с упругой
Скользко-хлопотливой хитрецей.
Он ручной, но все-таки зверюга,
А лицо!..
Трехтысячелетние уроки
В смехозыби крошечных морщин:
Неприлична (слово знает сроки)
Откровенность гордости мужчин.
Но он что-то понимает всё же
И, сгибаясь, бронзово-нагой,
Говорит интимнее и строже:
– Капитана, русские шанго.

РАНЕНЬЙ

Шел, пробираясь чащей,
Хрустя и ломая — лез,
А ветер, дракон рычащий,
Взлетел опрокинуть лес.

Упал, захлебнувшись потом,
Не в силах тоски сломать.
На миг, шелестя капотом,
Прошла перед павшим мать.

А лес зашумел не глуше,
Был прежним осенний лес.
И заяц, наставив уши,
На кочку картинкой влез.

ИЗГНАНИЕ

Дымно розовеющее море
Ласковой сквозит голубизной...
Думаю о русском — о поморе,
О Москве узорчато-резной.

Что мне эта ласковость морская
И с горы упавшая тропа,
Если всё ж душа моя — тверская,
Как у предка, сельского попа.

Ходить, смотришь сумрачно и люто,
Всё на шее обруч хомута!..
— То ли дело нашего Безпута
Синяя студень и омота.

ОБРАЗ

Мне кажется, вы вышли из рассказа,
И беллетрист, талантливый апаш,
Нарисовав два сумрачные глаза,
В лиловый дым окутал образ ваш.

Глаза влекут. Но в паутинной дыми
Вы прячетесь, акая, скользя,
И кажется всех женщин нелюдимей,
И, может быть, к вам подойти нельзя.

Но, вкрадчивый, я – бережен и нежен, –
Тружусь вблизи, стирая будний грим...
Скажите, невидимка, не во сне же
Вот здесь, сейчас, мы с вами говорим?

МОРЕЛЮБЫ

Всадник усталый к гриве ник,
Птицы летели за море.
Рифма звенит как гривенник,
Прыгающий на мраморе.
Всадник от счастья недалеч.
(Строку как глину тискаю.)
Тень не успеет следом лечь –
Он поцелует близкую.
Мы же, слепцы и Лазари
Тысячелетних плаваний,
Ищем путей из глаз зари
И – моряки без гаваней!

ОБОРОТЕНЬ

Гению Маяковского

Он был когда-нибудь бизоном
И в джунглях, в вервях лиан,
Дышал стремительным озоном,
Луной кровавой осиян.
И фыркал злобными ноздрями,
И вяз копытом в теплый ил.
Сражался грозно с дикарями,
Ревел и в чашу уходил.
Для них, не знавших о железе,
Угрозой был его приход,
И в тростниковой мгле Замбези
Они кончали час охот.
Его рога и космы гривы
Венчал, вплетаясь, чертополох.

У обезьян толпы игривой
Он вызывал переполох.
Прошли века, и человеком
Он носит бычьи рога,
И глаз его, подбросив веко,
Гипнотизирует врага.
И как тогда — дорога черства,
Но он принес из хладных недр
Свое звериное упорство,
Своих рогов железокедр.
И наклоня шею бычьей —
Неуязвимый базальт! —
Он поднимает вилой клычьей
Препон проржавленную сталь!

САМЦЫ

Их душит зной и запах тьмы,
Им снится ласковое тело,
Оно цветет на ткани белой
За каменной стеной тюрьмы.

Рычат, кусая тюфяки,
Самцы, заросшие щетиной,
Их лиц исчербленная глина
Измята пальцами тоски.

Но по утрам движенья их
Тверды, стремительны и четки,
И манят старые решетки
Огнем квадратов голубых.

Весна безумие зажгла
В ленивом теле, в жире желтом,
И по ночам над ржавым болтом
Скрипит напильник и пила.

И со второго этажа
Прыжок рассчитанный не страшен.
Пусть теперь с площадок башен,
Крича, стреляют сторожа!

ГНИЛОЙ СТАРИЧОК

Идут, расплывчато дымяся,
Года, как облака,
Уже жую беззубо мясо
И нужно – молока.

Так! Всё еще слюнявым коксом
Топлю желудка печь,
Но скоро смерть костлявым боксом
Ударит между плеч.

Но все-таки слезящим оком
Гляжу насупротив:
За занавесочкой, в широком
Окне – любви мотив.

И если всё ж хохочет дурень,
Внизу лоя глаза,
Но я и старенький – недурен,
Хоть сух, как стрекоза.

Мое дрожащее колено
Уже уперлось в ночь,
И всем, в ком есть личинка тлена,
Сумею я помочь.

СМЕРТЬ ГОФМАНА

Конспект поэмы

I

Подошел к перилам: «Полисмена!
Отвезите в сумасшедший дом».
Снизу кто-то голосом гамена
Прыснул смехом о мешке со льдом.
Отскочил. Швырнул свинцом из дула.
И упал за несколько шагов,
И дымком зарозовевшим сдуло
Человека, названного «Гофман».

II

О поэт! Безумье – та же хворость,
И ее осиль, переломив,
Проскочив (с откоса свищет скорость!)
Из былого в небывалый миф.
Я, в котором нежность – пережиток,
Тихо глажу страх по волосам:
– Не тоскуй, не сетуй, не дрожи так:
Это только путь на небеса.

III

Если ж и меня оранг-утангом
Схватит и потащит, волоча,
Я вскочу, отплясывая танго,
Исвищу его, иссволоча.
А потом, упавшего в берлогу,
Позову, и серый Сумасход
Мне чутьем обнюхает дорогу
На тропах рискованных охот...

IV

Я с двумя врагами бился разом,
И теперь заваял, невесом,
Я убил когда-то прежде разум
И теперь веду безумье – псом.

ПОЭТ

С.М. Третьякову

Ваш острый профиль, кажется, красив,
И вы, отточенный и вытянутый в шпагу,
Страшны для тех, кто, образ износив,
Свой хладный бред простер ареопагу.
Где ваш резец, скользя, вдавил в ребро:
Металлопластика по раскаленной стали.
Вот ваш девиз – и к черту серебро:
Мы все звеним и все звенеть устали.
Отточенный! Вы – с молотом в руке.
Уверенно, рассчитанно и метко,
Эпитет ваш, скользящий по строке, –
Светящая гиперболой кометка.

Вы «Паузой» закончили урок
Фиксации насыщенных горений:
И каждый взлет, под броней крепких строк, —
Конспект мечты для ста стихотворений.
Да будет так! Душа о вас зажглась,
И вот черчу карандашом поспешно
И профиль ваш, и ваш (ведь правый?) глаз,
Прищуренный устало и насмешно.

ДЬЯВОЛ

По веревочной лестнице,
Спрятав в тень экипаж,
К вам, лукавой прелестнице,
Поднимается паж.
И с балкона (на жердочке
Так свежо локоткам)
Улыбнулись вы мордочке,
Запрокинутой к вам.
Вы восторг и услада, но
Демон спрятанный хмур:
Вы неожиданно-негаданно
Перерезали шнур.
И кусаете пальчики,
Жадно слушая шум:
Это плачет о мальчишке
Растерявшийся грум.
Завтра в капелле замковой,
Где гнусит капуцин,
Прикоснетесь к устам его —
Голубой гиацинт!
И душистыми юбками
Вы овеете гроб,
Приласкаете губками
Скрытый в локонах лоб.

СКАЗКА

Я шел по трушобе, где ходи
Воняли бобами, и глядь —
Из всхлипнувшей двери выходит,
Шатаясь, притонная женщина.

И слышу (не грезит ли ухо,
Отравлено стрелами дня?),
Как женщина тускло и глухо
Гнусила строку из меня.

И понял восторженно-просто,
Что всё, что сковалось в стихе,
Кривилось горящей берестой
И в этом гнезде спирохет.

В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

Ночь. Догоняющим взмахом
Ветер (ему по пути)
Шаром вздувает рубаху
И помогает идти.

Думаю: что эти тучи,
Чувствуют ужас погонь?
Вылучив искру колюче,
Желтый ныряет огонь.

Ветер упругой ладонью
Гладит меня по спине.
Путь мой, конечно, к бездонью,
Что мне в бессильном огне!

Взятый и плавно несомый,
Сдавшись усмешкам игры,
Я — метеор невесомый,
Парус под ветром — в мире!

НИ О ЧЕМ

Над дверью сосульки леденчик,
Дорога бела и пуста,
И солнце, одевшее венчик,
Похоже на образ Христа.

Ты слышишь? Ворчливо и веско
Мороз заворчал за плечом.
Но, радуясь радостью детской,
И песня моя ни о чем.

Ведь строчки вдогонку за рифмой,
А рифме светло и свежо,
И этот мгновенный порыв мой —
Мальчишка, швырнувший снежок.

МЯТЕЖНИЦА

Гению революции

Старик, бородатый Хронос —
Годов и веков звонарь.
Бросает светящийся конус
Его потайной фонарь.

Глядит: на летящей в космос
Земле зашаталась ось,
И туч золотые космы
Отброшены взмахом вкось.

Не больше, к примеру, крысы,
Пред солнцем — и то уж тля,
А полюс, затылок лысый,
К лучу норовит земля.

И, вырвав толпу из круга
(Забьли, шатнуло вас?),
Земля повернула круто
К лучам затененный фас.

И дальше помчалась в пляске,
Как пуля, когда в излет,
И лопнули льды Аляски,
В Гренландии вспыхнул лед.

Порвалась цепей заковка,
И вот — на снегу лоза.
— Однако, довольно ловко! —
Старик про себя сказал.

И бело-светящийся конус
Лучей перебросив в высь,
Стучится сигналами Хронос
В лиловый дворец Главы.

У нас бы сейчас – винтовку,
Но небо – другой предмет:
Сверкнул догонять бунтовку
Отряд голубых комет.

ГНУС

В какой-то вечер выделился гнус
Из кольчатого дыма папиросы
И пал на пол. Подумал я: нагнусь
И стану предлагать ему вопросы.
Но он удрал, как рыжий таракан
В щель плинтуса. Взяв перочинный ножик,
Я выскреб тлю и посадил в стакан,
И вот он – весь. От головы до ножек.
Он дымчатый и с хвостиком козла,
Закрученным, как фитилек у свечи.
Комическое «воплощение зла»:
Остаток после вековой утечки.
Он прыгал наподобие блохи –
Сей выродок и измельчавший дьявол.
Какие же вопросы и стихи?
Он в лужице – на дне стакана – плавал!
И трепетал моих спокойных глаз,
Воруя в шерсть зрачковые булавки.
Ах, чья душа от них занемогла?
Чьи кипы душ он шоркал на прилавке?
И это – бес! Тысячелетний фриз,
Облупленный почти до штукатурки.
Мой мозг шутя оттиснул афоризм,
Ведь неудобно же без сигнатурки!
И на стекле, на сером скакуне,
Отцеженном из дыма сигаретки, –
– Тысячелетие, как преступленья нет:
Преступники суть гении и редки.

УБИЙСТВО

Штыки, блеснув, роняют дряблый звук,
А впереди затылок кротко, тупо
Качается и замирает... «Пли!»

И вот лежит, дрожа, хрипя в пыли, —
Монокль луны глядит на корчи труп,
И тороплив курков поспешный стук.

ФЕЛЬЕТОНИСТ

Отдавая мозг свой напрокат,
Как не слишком дорогую скрипку,
Я всегда, предчувствуя закат,
Делаю надменную улыбку.
Сорок лет! Газетное перо
До тоски истаскано на строчке
И, влачась по смееву, порой
Кровяные оставляет точки.
Я умру от голода, во рву,
Иль, хмельной, на койке проститутки.
Я пустое сердце разорву
На аршине злободневной шутки!
Ворох лет! И приговором «стар»
Я, плясун, негоден для контракта.
Я пропью последний гонорар
И уйду до вечера от факта, —
И тоской приветствую моей
Вас, поэты с голосом из брони!
Отхлещите стадово больней,
Исщипите выводок вороний!
Вы зажгли огни иных эпох
И сказали устаревшим: баста!
Я был добр, а значит — слаб и плох,
А поэту надо быть зубастым.
День тяжел. Слабеющую вшу
Давит он на умиральной точке.
По утрам и так едва дышу;
Говорят, запой ударил в почки.
Написал и чувствую — не то.
Пробурчит редактор: «Не годится!»
Знаю сам, какой уж фельетон:
Так, одна унылая водица...

РОМАН НА АРБАТЕ

Проскучала надоедный день
В маленькой квартирке у Арбата.
Не читалось. Оковала лень.
И тоской душа была измята.

Щурилась, как кошка, на огонь,
Куталась в платок: «Откуда дует?»
И казалось, что твою ладонь
Тот, вчерашний, вкрадчиво целует.

А под вечер заворчала мать:
«Что весь день тоской себя калечишь?»
Если б мог хоть кто-нибудь сломать
Эти сладко ноющие плечи!

И читала, взор окаменя,
О любви тоскующем аббате...
Ты влюбилась, нежная, в меня
В маленькой квартирке на Арбате.

ПОДРУГИ

У подруги твоей, у подруги и сверстницы,
У веселой Оль-Оль есть таинственный друг.
Возвратясь от него и простившись на лестнице,
Она шепчет тебе про восторг и испуг.
И в постельке одной, сблизив плечико с плечиком
(Им, о нежной томясь, столько гимнов несем),
Зазвенит на ушко утомленным кузнечиком
И расскажет тебе обо всем, обо всем...
И от чуждых услад сердце странно встревожится,
Станет влажной слегка и горячей ладонь.
У подруги твоей вдохновенная рожица,
Ты стыдишься ее и погасишь огонь.
А наутро встаешь бесконечно усталая,
И грустишь ни о чем, и роняешь слова.
Ты как будто больна, ты какая-то талая,
И темней вокруг глаз у тебя синева.
А на улице — март. Тротуар — словно лист стальной.
Воробей воробья вызывает на бой.

Повстречался студент, посмотрел очень пристально,
Повернулся, вздохнул и пошел за тобой.

ДАВНЕЕ

Мелькнул фонарь, и на стальном столбе
Он — словно факел. Резче стук вагона.
Гляжу на город с мыслью о тебе,
И зарево над ним, как светлая корона.
Пусть наша встреча в отдаленном дне,
Но в сердце всё же радостные глубины:
Ты думаешь и помнишь обо мне,
Ведь ты меня светло и нежно любишь.
В вагоне тесно. Сумрачен и мал,
Какой-то франт мое присвоил место,
И на вопрос: «А кто вас провожал?»
Как радостно ответит мне: «Невеста».

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Мы легли на солнечной поляне —
На зеленом светло-серый ком.
— Знаете, какие-то римляне
Клади юных рядом с стариком.

Этот образ груб. Но лицемерье
Никогда я в песню не влеку.
Было ведь неловкое поверье —
Юность дарит старику.

Кто же бодрость черпал отовсюду,
Что ему ребячливая «femme», —
Но поверю крошечному чуду,
Полюбившей сумрачного — Вам.

МУЧЕНИК

Памяти друга

Дергая нервически плечом,
Он бежал пустеющим бульваром,
И за ним с архангельским мечом —
Женщина, окутанная паром.

Догнала. Пытаемый вассал
Протянул мучительнице взоры,
Но душили голос волоса,
Но топили глазные озера.

Сжался, наклонился и иссяк,
Но не в этом яростная драма:
Перед ним, испытанная вся,
Хохотала городская дама!

Сквозь батист, за вырезной каймой,
Розовел бескостный мякиш тела.
Прыгнул миг, как зверь глухонемой,
И душа мгновенно опустела.

Закричал. Мучительный глоток
Опрокинул навзничь в агонии,
А ее за круглый локоток
Повели по улице другие...

ВРАГИ

На висок начесанный вихор,
На затылок сдвинутая кепка.
Под плевков и выдохнув «хо-хо!»
Фразу он собьет площадно крепко.

У него глаза как буравцы,
Спрятавшись под череп низколобый,
В их бесцвет, в белесовость овцы,
Вкрапла искря тупой хоречьей злобы.

Поднимаю медленно наган,
Стиснув глаз, обогащаю опыт:
Как умрет восставший хулиган,
Вздывивший причесанность Европы?

БРОНЗОВЫЕ ПАРАДОКСЫ

I

Год — гора. А день, стеклянный шарик,
Промелькнул, разбрызгивая дрожь,

Но душа потерянное шарит,
Как уродец, выронивший грош.
И ее, склоненную, настигли
Ураганы бичеваньем злым.
Но сердца, похожие на тигли,
Сплавляли грядущее с былым.
Старцам отдых: вкряхтываясь в гробы,
Спать с прищуром незакрытых век.
Из набухшей земляной утробы
Выползает новый человек.
Над землей, из мреющих волокон,
Парная светящаяся млечь...
— Помогай, проламыватель окон,
Контурсы грядущего извлечь!

II

Словно пращур, сетью паутин кто
Плел дороги в тигровом лесу,
Озарен родившийся инстинктом,
А в руке — похрустывает сук.
И года — летящие недели
Дикарю, глядящему в века,
Грудь его медведицы одели
В темные тяжелые меха.
Посмотри на бронзовые кисти
Рычагов, оправленных в покой.
Их упор, поющие, возвысьте
Бронзовой метафорой какой.
Он меня уничтожает разом,
Эта медь, родящая слова.
У него движения и разум
На охоте медлящего льва.

III

Мы слепцы, познавшие на ощупь
Новый день и взявшие трубу.
Кто-нибудь несовершенный прощуп
Претворит, озорченный, в судьбу.
Он идет, расталкивая время
По стволам осиротелых лет,
И ему, надменному, не бремя
Попирать предшествующий след.

Он дикарь, поработивший хворость,
Многим надломившую хребет,
И его тысячеверстна скорость
На путях насмешливых побед.

IV

Мой пароль — картавящий Петроний
(Ни Кромвель, ни Лютер, ни Эразм),
Он принес на творческой короне
Бриллиантом режущий сарказм.
И тебя, приблизившийся Некий,
Свой пред кем увязываю труп,
Я сражу не мудростью Сенеки,
А усмешкой истонченных губ.
Ты идешь по городу пустому
Уловлять звенящие сердца,
Но — века! И ты поймешь истому,
Усмехаясь, тонко созерцать.
Ведь восторги песни излучишь как,
Не уйдя от злободневных скук?
Ты гигант, но ты еще мальчишка,
И ослеп тобой поднятый сук!
Мы стоим на разных гранях рока,
И далеки наши берега.
Но в тебе, идущем так широко,
Не умею чувствовать врага!

СТРАДАЮЩИЙ СТУДЕНТ

I

Жил студент. Страдая малокровьем,
Был он скукой вытянут в камыш.
Под его измятым изголовьем
Младости попискиваламышь.

Но февраль, коварно-томный месяц,
Из берлоги выполз на панель,
И глаза отъявленных повесиц
Стали удивленной и синей.

Так весна крикливый свой сценарий
Ставила в бульварном кинемо,
И студент, придя на семинарий,
Получил приятное письмо.

Девушка (ходячая улыбка
В завитушках пепельного льна) —
В робких строчках, выведенных зыбко,
Говорила, что любовь сильна.

Видимо, в студенческой аорте
Шевелилась сморщенная кровь:
Позабыв о вечности и черте,
Поднял он внимательную бровь

И пошел, ведомый на аркане,
Исподлобный, хмурый, как дупло...
Так весна в сухом его стакане
В феврале зазвякала тепло.

II

Мой рассказ, пожалуй, фельетонен,
Знатоку он искалечит слух,
Ибо шепот Мусагета тонен
И надменно и угрюмо сух.

Сотни рифм мы выбросили за борт,
Сотни рифм влачим за волоса,
И теперь кочующий наш табор
Разучился весело писать.

Вот, свистя, беру любую тему
(Старую, затасканную в дым):
Как студент любил курсистку Эмму,
Как студент курсисткой был любим.

А потом, подвластная закону
Об избраньи лучшего из двух,
Девушка скользнула к небосклону,
А несчастный испускает дух.

III

Вот весна, и вот под каждой юбкой
Пара ног — поэма чья-нибудь.
Сердце радость впитывает губкой,
И (вы правы) «шире дышит грудь».

Возвращаюсь к теме. Револьвером
Жизнь студент пытался оборвать,
Но врачи возились с изувером,
И весной покинул он кровать.

И однажды, взяв его за локоть,
Вывел я безумца на бульвар
(Он еще пытался мрачно охать).
Солнышко, как медный самовар,

Кипятком ошпаривало спину,
Талых льдов сжигая сухари.
На скамью я посадил детину
И сказал угрюмому: смотри!

Видишь плечи, видишь ли под драпом
Кофточки, подпертые вперед?
Вовремя, прибрав всё это к лапам,
Каяся, отшельник заорет:

«Только мудрость! Радость в отреченье!
Плотию не угашайте дух».
Но бессильно тусклое ученье
В струнодни весенних голодух.

IV

ЭПИЛОГ. — Владеющие слогом
Написали много страшных книг,
И под их скрипящим монологом
Человек с младенчества изник.

О добре и зле ржавели томы,
Столько же о долге и слезах,
И над ними вяли от истомы
Бедного приятеля глаза.

Но теперь и этот серый нулик —
С волей в сердце, с мыслью в голове:
Из него, быть может, выйдет жулик,
Но хороший всё же человек.

Наши мысли вокруг того, что было
(Не умеем нового желать).
Жизнь не «мгла», а верткая кобыла,
И кобылу нужно оседлать.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рассказ в стихах

Твой профиль промелькнул на белом фоне шторы —
Мгновенная отчетливая тень.
Погасла вывеска «технической конторы»,
Исчерпан весь уже рабочий день.
Твой хмурый муж, застывший у конторки,
Считает выручку. Конторщица в углу
Закрыла стол. Степан, парнишка зоркий,
В четвертый раз берется за метлу.
Ты сердишься. Ты нервно хмуришь брови.
В душе дрожит восстанье: злость и месть.
«Сказать к сестре — вчера была... К свекрови?
Отпустит, да... Не так легко учесть!»
А муж молчит. Презрительной улыбкой
Кривит свой рот, кусая рыжий ус...
...И ты встаешь. Потягиваясь гибко,
Ты думаешь: «У каждого свой вкус!»

В кротовой шапочке (на ней смешные рожки)
Бежишь ко мне и прячешь в муфту нос.
В огромных ботиках смешно ступают ножки:
Вот так бы взял на руки и понес!..
Я жду давно. Я голоден и весел.
Метель у ног свистит, лукавый уж!
— Где был весь день? Что делал? Где повесил?
— Ах, я звонил, но подошел твой муж!
Скорей с Тверской! По Дмитриевке к бульварам
Подальше в глушь от яркого огня,
Где ночь черней... К домам слепым и старым
Гони, лихач, хрипящего коня!

Навстречу нам летит и ночь, и стужа,
В ней тысячи микробов, колких льдин...
– Ты знаешь, друг, мне нынче жалко мужа:
Ты посмотри – один, всегда один.

Неясно, как во сне, доносится из зала
Какой-то медленный мотив и голоса.
– Как здесь тепло! – ты шепотом сказала,
Подняв привычно руки к волосам.
Тебя я обнял. Медленно и жутко
Дразнила музыка и близкий, близкий рот.
Но мне в ответ довольно злая шутка
И головы упрямый поворот.
Ты вырвалась; поджав под юбку ножки
И сжавшись вся в сиреневый комок
(Ах, сколько у тебя от своенравной кошки),
Сядишься на диван, конечно, в уголок.
Лакей ушел, мелькнув в дверях салфеткой
(Он позабыл поджаренный миндаль),
И комната, как бархатная клетка,
Умчала музыку, глуша, куда-то вдаль.
– Ты кушай всё.
– А ты?

И вот украдкой
Ловлю лицо. Ответ – исподтишка...
Ты пьешь ликер ароматично-сладкий
Из чашечки звенящего цветка.
– Ты целомудренна, ты любишь только шалость.
– Я бедная. Я белка в колесе.
Ты видишь, друг, в моих глазах усталость,
Но мы – как все...

И снова ночь. Полозьями по камню
Визжит саней безудержный полет.
А ты молчишь, ты снова далека мне...
Томительно и строго замкнут рот.
И вдруг – глаза! Ты вдруг повернула
Ко мне лицо и, строгая, молчишь,
Молчу и я, но знаю: ты решилась,
И нас, летя, засвистывает тишь.

А утром думали: «Быть может, всё ошибка?»
И долго в комнате не поднимали штор.
Какой неискренней была моя улыбка...
Так хмурый день оттиснул приговор.
Ты одевалась быстро, ёжа плечи
От холода, от утренней тоски.
Зажгла у зеркала и погасила свечи
И опустила прядки на виски.

Я шел домой, вдыхая колкий воздух,
И было вновь свободно и легко.
Казалась ночь рассыпанной на звездах,
Ведь сны её — бездонно далеко.
Был белый день. Как колеи, колеса
Взрезали путь в сияющем снегу,
Трамвайных дуг уже дрожали осы,
Газетчики кричали на бегу.

ШУТКА

Рассказ в стихах

I

В costume женщины! К тебе парик блондинки
Идет, и ты похож на этуаль,
Уверенно высокие ботинки
Пружинят ног резиновую сталь.
Кузнецкий весь в своей обычной жизни,
И публики обычное кольцо...
— Постой! Пускай тебя осмотрят «слизни»,
Остановись у стекол Аванцо.
«Гамен в манти» нервирует фланеров
(У нас уже весьма солидный тыл).
Вот позади хрустящий легкий шорох:
Автомобиль чуть вздрогнул и застыл.

II

Ты улыбаешься. «Он» жадно скалит десны.
— Позволите? — И дверца наотлет.
— Но... поскорей. Мой муж... такой несносный,
Он — вот!

Сажусь и я. И кланяюсь. Он взбешен.
Но публика, предчувствуя скандал,
Теснит вокруг. О Боже, как потешен
Под маской элегантности вандал.
И мы летим. Франт мечется. И только
За Тестовым находит нужный тон.
Лениво шепелявящее «сколько?» —
И лезет за бумажником в пальто.

III

Мы с хохотом протягиваем руки
(Шофер рычит, как опытный кавас).
— Простите, но, ей-Богу, мы от скуки!
— Ведь он мужчина, уверяю вас!
«Гамен в манто» кладет его ладошку
На свой бицепс.
— Смотрите, я атлет.
Я кочергу сгибаю, точно ложку,
Нет, нет..
Но франт в тоске. На томном лице пятна.
Плаксиво свис углами книзу рот:
— Шантаж купца — привычно и понятно,
Но одурачить так... Шофер, вперед!..

УСТУПЫ

(Владивосток, 1924)

ВОЛЯ

Загибает гребень у волны,
Обнажает винт до половины,
И свистящей скорости полны
Ветра загремевшие лавины.

Но котлы, накапливая бег,
Ускоряют мерный натиск поршней,
И моряк, спокойный человек,
Зорко щурится из-под пригоршни.

Если ветер лодку оторвал,
Если вал обрушился и вздыбил, –
Опускает руку на штурвал
Воля, рассекающая гибель.

ЯЗЫКОВ

Измученный одышкой, хмур и желт,
Он весь течет в своем обвислом теле.
Нет сил вздохнуть, и взор его тяжел:
Источники надежды опустели.

Томление! Теперь, когда один,
Упрямый рот расправил складку воли,
Пришла тоска, сказавши: «Господин,
Дорогой дня иди к моей неволе».

Томление! Схватясь рукой за грудь,
Он мнет похрустывающую сорочку,
И каждый вздох томителен и крут,
И каждый миг над чем-то ставит точку.

Но отошло. Освободив аркан,
Смерть отошла и грудь отжала влагу.
Поэт вздохнул. Он жив. Звенит стакан:
«И пью рубиновую малагу!»

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

«Едва ли, едва ль
Из смерти изыду!»
Жерар де Нерваль,
Влюбленный в Изиду.

Морозной зари
Последние ключья.
La gue... Tuelegie,
Бессонная ночью.

И медленный снег
И шорох Парижа —
Как будто во сне,
Под радугой рыжей.

Как будто в лесу —
Такая ж ночевка,
И за восемь су
Стальная бечевка.

Ступени. Уступ.
И сон необорон...
Слетевший на труп
Нахохленный ворон.

И хрипло воззвав
О вечном отмщеньи:
«Умри: j'ai soif!»¹
И полночь священник.

МОРСКИЕ ЧУДЕСА

Бичом из гибкого металла
Захлестывало далеко,
И наносило, наметало,
Натаптывало облаков.

¹ Я жажду (*фр.*).

И опрокинулось. И ляжет...
И взбешенное помело
Волну сырой и белой пряжи
На водоросли намело...

На отмели, где в знойной лени
Томились женщины с утра,
Ложились, как хвосты тюленей,
Волн вывернутые веера.

А у кабинок, голубые
Огни затеплив на челе,
Переключались водяные,
Укладываясь на ночлег.

И, отряхая шерсть от пены
(Пофыркивала темнота),
Они обнюхивали стены,
Где прикасалась нагота.

Их ноздри втягивали запах
Скамьи, сырого лишая...
На перепончатых их лапах
Белела рыба чешуя.

И засыпали, с грудой схожи
Водою обтекавших глыб,
И женщины им снились тоже
Похожими на белых рыб.

А утром знойно пахло мятой
Над успокоенной водой,
Казавшейся слегка измятой,
Вдали разорванной слюдой.

И воздух был хрустящ и хрупок,
И сквозь его прозрачный слой —
Дождем чешуек и скорлупок
К воде просеивался зной.

Казалось, солнце, сбросив шляпу,
Трясет кудрями. Зной — лузга.
А море, как собака лапу,
Зализывало берега.

БЕССОННИЦЕ

В твоей лаборатории, бессонница,
Перерабатываю в мужество — тоску.
К его струе, подобной волоску,
Душа изнемогающая клонится.

О радий — расщепляющая атомы,
Меняющая сущность и предел!
Тобою раскаленный, жег и рдел
Я, жестко покрывающийся латами.

И радости стремительная конница
Разбрызгала копыта по песку...
По капле, по зерну, по волоску
Над гибелью к бессмертию, бессонница.

В СКРИПКЕ

Золотой человечесьей тоской
В этот вечер тоскую.
Он, туманный такой,
Ночь приблизит какую?

Разве эта рука не сильна,
Разве эти пути не широки.
Но смотри: умягченное льна
Соскользнувшие строки.

Вот туман распыляет огни,
И от моря широкое пенье...
Ты — влекущий магнит,
Я — пружины стальное терпенье.

Видишь, волею сжаты уста,
А умру, истомленный истомой,
И блеснет синеватый металл
На разорванной ране излома.

ШЕСТЬ

Вечером, сквозь усталость
Дымчатую, как кружево,

Всё, что в душе осталось,
Памятливо выуживаю.

Город задернут шторой,
Гул от тупых копыт его...
Я уж не тот, который
День на себе испытывал.

Взор — в голубые скважины.
Сердце, прищурясь, целится.
Думаю о неважном —
Ласковая безделица!

Снова у сердца руку
Чувствую двойниковую.
Медленную науку
Линиями выковываю.

День был тяжёл и черен,
Всё ж золотое веяло
Пять разновесных зерен
В эту тетрадь просеяло.

Пусть и шестое лóжится,
Пусть на страницу лягут —
С лодочки чайной ложечки
Шесть изумрудных ягод.

ВОЗМЕЗДИЕ

О, если б над маленьким домом,
Где я, утомленный, уснул,
На небе, расколотом громом,
Ты синим изломом блеснул.

Суровый, чего же ты медлишь,
Уже не осталось души!
Набрось беспощадные петли
И сонного удуши.

О мститель! Как бабочка в глыбе
Базальта, без силы сказать, —
Тебя, затрубившего гибель,
Встречаю глазами в глаза.

* * *

Ты грозно умер, смерть предугадав, —
О, это лермонтовское прозреньё! —
И времени стремительный удав
Лелеет каждое стихотвореньё.

И ты растешь, как белый сталагмит,
Ты — дерево, опустившее над нами
Шатер ветвей, и сень его шумит,
Уже отягощенная плодами.

Поэт, герой! У гроба твоего
Грядущее, обняв бывшее, грезит.
И ты не человек, а божество
С могилой, превращающейся в гейзер.

* * *

Трудолюбивым поэтом,
Трудолюбивым жнецом,
Где-то, в тоскующей мгле там,
С медленным мастерством!

Лучше бывшие преграды,
Ночи, трущоба, кастет!
Меркнут бывшие награды
На обветшалом кресте.

С грубой ладони гранату
Снова для розмаха взвесь,
Снова мятежься и ратуй
Ты, задымившийся весь!

Не молодящимся старцам,
Не уходящим в века, —
Медно разорванный маршем
Ритм золотого стиха!

Знаю, позорное в этом:
— В дикое Рождество
Млеть трудолюбивым поэтом
С гордостью — в мастерство!

ДЕВУШКА

В твоих кудрях, в их черном лоске
Есть трепетание крыла.
Ты нынче мальчик, ты в матроске
На вечер чопорный пришла.

Твоя прическа в беспорядке,
Отвергнув шпильки, как тиски,
Завились тоненькие прядки
И на глаза и на виски.

И смехом юным, славным смехом
Напоминаешь ты юнгу,
Когда в отместку всем помехам
Закутит он на берегу.

И, весь еще пропитан солью
Волны, причалившей корму,
Стремится к счастью и раздолью
И не уступит никому.

И, пьян от дыма папироски,
Он сам — хлестнувшая волна,
А шея в вырезе матроски
Очаровательно стройна!

ТИШИНА

Красный сентябрь на осинах высох,
В кленах багровый и пятипалый.
Думает путник о рыжих лисах,
Пахнут печеным хлебом палы.

Осень — достаток. И ватой лени
Облако лепится на стропиле.
Этой тропюю прошли олени,
В этом болотце воду пили.

Вечер придет, на вершины ляжет,
Небом багровым, дальневосточным.
Что-нибудь смелое мне расскажет
В травах запутавшийся источник.

Право, не знаю, зачем я нужен,
Всё же сегодня, скажу по чести,
Мне не добудет разбойный ужин
Мой поцарапанный злой винчестер.

ПАРОВОЗ

Муза бега, бешеная муза,
Опрокинутые сторожа!
Паровоз, оторванный от груза,
Ржет, и беглеца не удержать.

Позади, в оставленных вагонах
Носят чай и просят молока...
На пустынных гулких перегонах
Оседающие облака.

Звонкой мостовины над оврагом
Прогремел расхляснутый ушат.
У тебя, грохочущий бродяга,
Стройная и легкая душа!

Пролетев по дымогарным трубам,
Дыбом взброшенная на скаку, —
Вот она, завязанная клубом,
И губами — к медному гудку.

СОЛДАТ

У ветра единственный клич — прочь!
У ночи единственная защита — ужас.
Какая удивительная ночь,
Какая озорная свистящая стужа!

Домик съезживается, поджимает бока,
Запахивает окна надорванным ставнем...
Сладко втягивает дым табака,
Выдох длительный. Верста в нем!

Натягивает одеяло до подбородка,
Вспоминает бой, спотыкаясь в сон...
...Тогда поле трещало, как перегородка,
На которую задом пятился слон.

И в последний миг, почти во сне,
Теряя кровли грохочущий бубен,
Думает о женщине. Ее — нет,
Но она — будет!

АНАРХИСТЫ

Когда в охлаждаемую смесь кислот
Вливают глицерин струею тонкой,
И выделяется окисленный азот
Бурым испарением над воронкой,

Когда молекулы получаемого вещества
Гудят в сосуде, грозя распадом, —
Если закружится голова,
Комната грянет дождем стоградым.

Поэтому химики (один из ста)
Осторожны в движениях и худощавы,
И у многих увидите фут хвоста
Из-под докторского плаща вы.

Ибо приготовляющие нитроглицерин
Не смеют быть мягче кристаллов кварца:
Они таинственные рыцари
Из ордена монаха Бертольда Шварца.

Опустив глаза, пересекают пустыри,
Никому не знакомые, всё видят зорко.
Их лаборатории (или монастыри?)
В предместьях Парижа, Лондона и Нью-Йорка.

И когда разрывается снаряд,
Разорвав короля в торжественном появлении, —
Старухи крестятся и говорят
О наступающем светопреставлении.

Старухам не верят: зачем хвост?
Анархисты нечистого злей еще.
И только ребенку, который прост,
Снится хвостатый, в плаще и с бомбой тлеющей.

УРОК

Ты сорванец, и тусклый алкоголь
Оттягивает выстрелы таланта.
Твои друзья — расслабленная голь,
А твой ночлег — китайская шаланда.

Но подожди, и мышцы крепких скул
Ты вывихнешь одним скрипящим стиском,
И ветка жил нальется по виску,
И день придет — птенец с голодным писком.

А нынче — жизнь. Бульвар, и ресторан,
И женщины прижатый локтем локоть.
Весь мир тебе — распластанный экран,
А мудрое томление далеко.

Не попадись в его томящий круг,
Не верь поддельвателям алмазов.
И я тебе, мой пораженный друг,
Как Митеньке — папаша Карамазов.

БАНДИТ

Когда пришли, он выпрыгнул в окно.
И вот судьба в истрепанный блокнот
Кровавых подвигов — внесла еще удачу.

Переодевшись и обрив усы,
Мазнув у глаз две темных полосы,
Он бросился к любовнице, на дачу.

Здесь сосчитал он деньги и патроны,
(Над дачей каркали осенние вороны)
И вычистил заржавленный веблей.

Потом зевнул, задумавшись устало,
И женщине нагудренной и вялой
Толкнул стакан и приказал: — Налей!

Когда же ночью застучали в двери, —
Согнувшись и вися на револьвере,
Он ждал шести и для себя — седьмой.

Оскаленный, он хмуро тверд был в этом,
И вот стрелял в окно по силуэтам,
Весь в белом, лунной обведен каймой.

Когда ж граната прыгнула в стекло,
И черным дымом всё заволокло,
И он упал от грохота и блеска, —

Прижались лица бледные к стеклу,
И женщина визжала на полу,
И факелом горела занавеска.

ПАМЯТЬ

Как старьевщик, роюсь в стародавнем,
Лоскуток за лоскутком беру:
Помню домик, хлопающий ставнем,
За посадским въездом, на юру.

Был хозяин хмурый привередник,
А еще какого бы рожна?
Надевала кружевной передник
В праздники красавица-жена.

Выходила за ворота чинно —
Руки этак, карамель во рту.
Мимо я блуждал небеспричинно,
Заломив студенческий картуз.

И однажды, робость пересилия,
Я присел на бревна у крыльца...
«Погуляла б, да боюсь Василя», —
Прошептала, не подняв лица.

Но хозяин соль повез в июле,
Задолжав за выгон панычам,
А пылали на грозовом тюле
Зоркие зарницы по ночам.

Ты, Украина, или юность просто,
Но как сладко в памяти легли
Заревые ночи у погоста
В душном паре мреющей земли.

И прохлада дрожкого рассвета,
И над прудом задымивший пар...
Это было, и любовно это
Сохранила память-антиквар.

ОЖИДАНИЕ

Весь этот день, играющий в слова,
Я нес тоску, угадывая рядом,
Быть может, здесь, за этим темным садом,
Припавшего — к прыжку — на лапах льва.

И для него из кошелька тоски
Шестнадцать строк сегодня я роняю,
Я напряженным дротиком строки
Без промаха еще обороняюсь.

Но будет день, и на его рожок
Молчание ответит из-за двери,
И промелькнет распластанный прыжок
Большого победительного зверя.

Что ж, прыгай, пес, прикинувшийся львом,
Усилье нерасчитанное глупо:
Ты пятишься, трусливо сжатый в ком,
Перед простым и белым взглядом трупя.

ЛАМПА, ПОЛНОЧЬ

Слепну под огненной грушею
В книгах чужих.
Слишком доверчиво слушаю
Колокол их.

Слишком доверчиво верую
В ловкую ложь.
Слишком бездонною мерою
Меряю дрожь.

Власть над душою чужому дав,
Чем я богат?
Плещется в собственных омутах
Рыба и гад.

Что до чужого мне ужаса,
 Что я ищу,
Если над полночью кружится
 Птица-вещун?

Если над озером, вечером
 Желтым, как медь,
Кречетом, раненым кречетом
 Сердцу запеть!

Нынче, под огненной грушею
 Ночь истребя,
Слушаю, бешено слушаю
 Только себя.

МОЖЕТ БЫТЬ, О

Бессильем гордясь, стекать
В подвалы — подлец и пьяница.
А то, что звенит в стихах,
От этого что останется?

Живем, говорим, поем:
Плохой — потому с плохими я.
В искусстве же он своем:
Ученый и просто химия.

И вот, карандаш очиня,
Работает точно, вкрадчиво.
Ведь часто стихи сочинять —
Умело себя выворачивать.

А может быть, взял ланцет
Хирург в колпаке и фартуке,
Ведь все-таки он, в конце
Концов, в крови и устал-таки!

И, зоркой дымя душой,
Он жизнь исправляет, резчицу.
Конечно же, он — большой,
А слабым и злым мерещится.

О НЕЖНОСТИ

Есть нежность женская, она всегда лукава,
Кошачья в ней и вкрадчивая лесть.
Она питательна — о, нежное какао
Для тех, кто слаб, не спит, не может есть.

Есть нежность к женщине. Она на сердце ляжет,
Когда в пути, руке твоей отдав
Свою всю слабость и свою всю тяжесть,
Обнимет сил лишаящий удав.

Она кладет героя и монаха
В постель услад, подрезав их полет,
Но для кого цветет цветами плаха,
Но для кого строфа моя поет?

ЛОСЬ

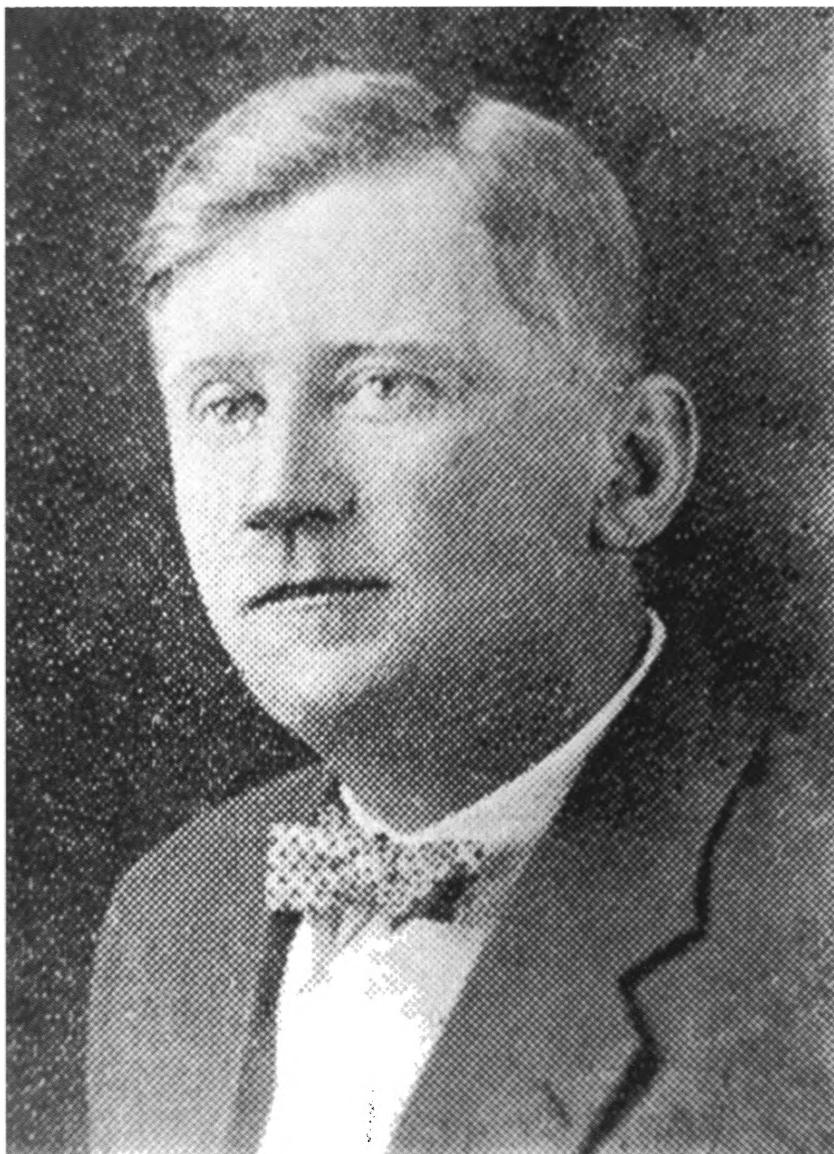
Тяжко сопя, лобастый
Вышел из леса лось,
А над полями — частый
Дождик, повисший вкось.

Поле под белой мутью,
Словно морское дно.
Веет пустынной жутью
И тяготит оно.

Фыркая, зверь тоскливо
Смотрит, мотая лбом:
Кто, изломавший иву,
Землю изрыл кругом?

Медлит дикарь рогатый,
Пеной швыряя с губ,
А у ручья солдата
Окоченевший труп.

Понял. В испуге кинул
Ветви рогов к спине,
К лесу прыжками ринул,
К черной его стене.



Арсений Несмелов. Конец 1920-х годов.



Адмирал А.В. Колчак,
Верховный правитель России.
Омск, 1919 г.



Генерал-лейтенант В.О. Каппель,
Командующий Восточным фронтом.

Омск. Бывший дом К.А. Батюшкина.
В 1918-1919 гг. – резиденция А.В. Колчака. Современный вид.



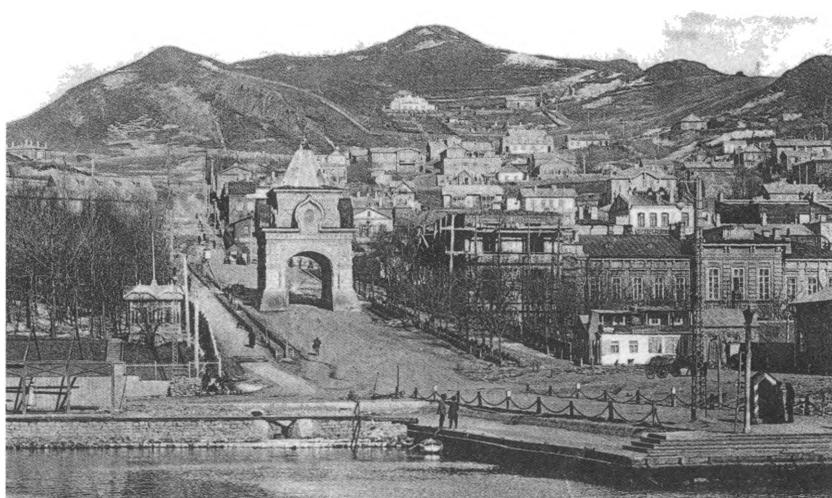


Отступление армии Колчака,
Лето 1919 г.



Владивосток. ул. Светланская.

Владивосток. Вид с моря 1918





Художник Елена Афанасьева. 1920 г.



Первая владивостокская книга
А. Несмелова, отпечатанная
на Русском острове.

Владивосток. Бухта Золотой Рог. Начало 1920-х годов.

—(3)—





Сергей Третьяков. Рис. Е. Афанасьевой.



Давид Бурлюк. Рис. Е. Афанасьевой.

Гостиница «Золотой Рог», в подвале которой находился кабачок «Балаганчик» – пристанище владивостокской богемы. Начало 1920-х г.г.





Английские солдаты во Владивостоке. 1919 г.

Владивосток. Первомайская демонстрация.





Жена А. Несмелова
Е.В. Худяковская
с дочерью Наташей.
Владивосток, 1923 г.

Бухта Улисс. 1920-е годы.



И в замиравшем хрусте
Слышен был тяжкий лось...
Веял последней грустью
Дождик, повисший вкось.

РАССКАЗ

Крутилась ночь, срываясь с воя,
Клубясь на облаках сырых.
За вами следом крались двое,
Но вы опередили их.

В порывах ветра бился оклик,
Фонарь качал лучи в лицо,
И вы устали и промокли,
Пока увидели крыльцо.

Условный стук, упавший глухо,
И счет сердец — минута, две...
Полуодетая старуха
Скрипуче отворила дверь.

И вы, как те безумцы, кои
Идут в заклятые места,
Укрылись в маленьком покое,
Где темнота и теплота.

И шорох ткани падал прямо,
И рядом трепетала дрожь,
Над головою же — упрямой
Рукою барабанил дождь.

И ночь, и он, и третье — это,
Отмежевавшее порог,
И маленького пистолета
Тугой зазубренный курок.

И поразительная ясность —
Стеклянная! — текла в крови,
Пленительная, как опасность
Преследуемой любви.

КРОВАВЫЙ ОТБЛЕСК

(Харбин, 1928)

От дней войны, от дней свободы
Кровавый отблеск в лицах есть.

А. Блок

У КАРТЫ

Тупыми шлепанцами шаркать
К стене,
Где,
Угол отогнув,
Висит истрепанная карта,
Вместившая мою страну.

Сетями жил исчерчен Запад,
Как подорожника листок.
Одна из них прыжком внезапным
Через Урал — берет Восток.

...И он глядит
(Так смотрит хмара
В окно)
На черные кружки...
— Вот этот — родина,
Самара...
Здесь были воткнуты флажки,

Обозначая фронт и натиск,
Его упругую дугу...
Мы отползали,
Задом пятясь,
Уже Урал отдав врагу...

Его коричневая стража
Ушла на запад.
Топором
Упала мощь гиганта-кряжа...
Челябинск пал.
Оставлен Омск...

...Вздыхает.
...Низменность Сибири
И Забайкалье,
Как массив,
Но и отсюда летом сбили,
Победой сопки огласив...

И гладят руки с дрожью ветра
Шершавый, неопрятный лист.
– 12 000 километров
Он протяжением вместил!

И губы шепчут:
– Русь!.. Россия!..
И сердце крикнет:
– Навсегда...
И давит выросшая сила,
Которую не оседлать.

И будет шлепанцами шаркать
К углу,
На темную постель,
Но и оттуда манит карты
Засаленная постель.

РАЗВЕДЧИКИ

Всеволоду Иванову

На чердаке, где перья и помет,
Где в щели блики шурились и гасли,
Поставили треногий пулемет
В царапинах и синеватом масле.

Через окно, куда дымился шлях,
Проверили по всаднику наводку
И стали пить из голубых баклаг
Согретую и взболтанную водку.

Потом... икающе захлебывалась речь
Уродца на треноге в слуховуше...
Уже никто не мог себя сберечь,
И лишь во рту всё становилось суше.

И рухнули, обрушившись в огонь,
Который вдруг развеял веер рыжий.
Как голубь, взвил оторванный погон
И обогнал, крутясь, обломки крыши.

...Но двигались лесами корпуса
Вдоль пепелищ по выжженному следу,
И облака раздули паруса,
Неся вперед тяжелую победу.

СОВА

Ты дулом дуло револьвера
Встречал на пашне голубой,
Где распластавшейся химерой
Полз ошестинившийся бой.

И без обмана, без утайки
Играя в смерть, ходил во мглу
Развинчивать на рельсы гайки
У бронепоезда в тылу.

Ночная птица, в дыме зарев
Бросал ты нам крыло в глаза,
Но улеглась, до дна ударив,
Отбушевавшая гроза.

Ничьей постели изголовья
Не выпотрошит ураган.
Легло крахмальное бескровье
На заржавевший ятаган.

Так по бетонной кровле верка,
Вердена или Оссовца,
Что не сумели исковеркать
Враги гранатой до конца, —

Веселых женщин горожане
Ведут в подземный каземат,
Чтобы, как губку, визг и ржанье
О грозный камень отжимать.

Какое дело стайке шалой
До нас, бесключых сторожих,
Чья память остов обветшалый
Благоговейно сторожит.

Как аксиому, без усилья,
Прими покорно и светло
Свои простреленные крылья
И безглагольное душло.

И ночи жди.

СТИХИ О РЕВОЛЬВЕРАХ

I

Ты – честный, простой револьвер,
Ты сжился с солдатским матом.
Тебя ли сравню, мой лев,
С капризником автоматом!

Ты – в вытертой кобуре,
Я – в старой солдатской шинели...
Нас подняли на заре,
Лишь просеки засинели.

Сближались ползком в лугах,
И вот пулемет судачит.
Подпрыгивает кулак
Стремительною отдачей.

Поклевывало. Выковыривало.
Разбрызгивало мозги.
Как будто из всей Сибири
В овраг напозли враги.

Но выход из смерти узок:
Как овцы прижались к тыну.
– Музыки!
Без музыки не опрокинут!

II

Вздвогнули медные трубы.
— Фланг по соседу, четвертая!
Марш металлически грубо
Поднял, рванул и развертывал.

Вынырнули.
За ометом
Скирдовые рога.
Над пулеметом
Группа врага.

Волей к удаче
Сжата скула.
Камнем отдачи
Прыгнул кулак.

III

В смолкнувшей музыке боя
(Как водолазы на дне!)
Мы — дуэлянты, нас двое:
Я и который ко мне.

Штык, набегая, с размаху —
Лопастностью весла.
Брызнула кровь на рубаху
Ту, что удар нанесла.

Поле. Без краю и следа.
Мята — ромашка — шалфей.
Трупы за нами — победа,
Фляга со спиртом — трофей.

IV

Труп лежал с открытыми глазами,
И по утру, рано поутру,
Подошел солдат — лицо как камень —
И присел, обшаривая труп.

В сумерках рассвета мутно-серых
Лязгнет, думалось, и станет жрать.
Впрочем, мой рассказ о револьверах,
Так о них и надо продолжать.

«На, возьми его за папиросу!»
Сиплону солдатику не впрок
Хрупкий, ядовито-смертоносный,
Черный бескурковый велодог.

V

Любил я еще веблей
(С отскакивающей скобью),
Нагана нежней и злей,
Он очень пригож для боя.

Полгода носил его,
Нам плохо пришлось обоим.
Порядочно из него
Расстреливалось обойм.

Он пламя стволом лакал,
Ему незнакома оробь...
Его я швырнул в Байкал,
В его голубую прорубь.

А маузер — это вздор!
Лишь в годы, когда тупеют,
Огромный его топор
Выпяливают портупеей...

VI

Я кончил. Оружье где?
Тревогой, бывшее, взвейся!
В зеленой морской воде
Чужой притаился крейсер.

Подобно колоколам,
Поет об ушедшем память,
Но шашка — напололам,
Но в пыльный цейнгауз — знамя!

ПАРТИЗАНЫ

Темная летящая вода
Море перекаtywала шквалом.
Говорила путникам она
В рупор бури голосом бывалым.

Старый трехцилиндровый мотор
Мучился, отсчитывая силы,
Но волна, перешагнув простор,
Била в борт, и шкуну относило
С курса, правильного как стрела...

Черная и злая ночь была!

В трюме керосиновый угар,
Копоть на металле маслянистом.
Лампы сумасшедшая дуга
Над мотором и над мотористом.
А борта наскальживает свистом
Волн и ветра скользкая пурга.

А пониже ящики. Вдоль стен,
В дóхах, вывернутых по-медвежьи,
Лица спрятав в выступы колен, —
Люди каменного побережья.

Пальцев заскорузлая кора,
В пальцах — черные винчестера.

Завтра в бухте, скрывшей от врага
Черные, упавшие в лагуну,
Красные от кленов берега,
Разгрузив трепещущую шкуну, —
Будут вглубь до полночи шагать.

А потом японский броневик
Вздвогнет, расхлябяснут динамитом.
Красный конь, колеса раздробив,
Брызнет оземь огненным копытом.

И за сопки, за лесной аул
Перекатит ночь багровый гул.

БАЛЛАДА О ДАУРСКОМ БАРОНЕ

К оврагу,
Где травы ржавели от крови,
Где смерть опрокинула трупы на склон,
Папаху надвинув на самые брови,
На черном коне подъезжает барон.

Он спустится шагом к изрубленным трупам
И смотрит им в лица,
Склоняясь с седла, —
И прядает конь,
Оседающий крупом,
И в пене испуга его удила.

И яростью,
Бредом ее,
Истомяся,
Кавказский клинок —
Он уже обнажен —
В гниющее
Красноармейское мясо,
Повиснув к земле,
Погружает барон.

Скакун обезумел,
Не слушает шпор он,
Выносит на гребень,
Весь в лунном огне, —
Испуганный шумом,
Проснувшийся ворон
Закаркает хрипло на черной сосне.

И каркает ворон,
И слушает всадник,
И льдисто светлеет худое лицо.
Чем возгласы птицы звучат безотрадней,
Тем
Сжавшее сердце
Слабее кольцо.

Глаза засветились.
В тревожном их блеске —

Две крошечных искры,
Два тонких луча...
Но нынче,
Вернувшись из страшной поездки,
Барон приказал:
«Позовите врача!»

И лекарю,
Мутной тоскою оборон
(Шаги и бряцание шпор в тишине),
Отрывисто бросил:
«Хворает мой ворон:
Увидев меня,
Не закаркал он мне.

Ты будешь лечить его,
Если ж последней
Отрады лишусь – посчитаюсь с тобой».
Врач вышел безмолвно
И тут же,
В передней,
Руками развел и покончил с собой.

А в полдень
В кровавом Особом Отделе
Барону,
В сторонку дохнув перегар,
Сказали:
«Вот эти... Они засиделись:
Она – партизанка, а он – комиссар».

И медленно
В шепот тревожных известий –
Они напряженными стали опять –
Им брошено:
«На ночь сведите их вместе,
А ночью – под вороном – расстрелять».

И утром начштаба барону прохаркал
О ночи и смерти казненных двоих...
«А ворон их видел?»

А ворон закаркал?» —
Барон перебил...
И полковник затих.

«Случилось несчастье, —
Он выдавил
(Дабы
Удар отклонить —
Сокрушительный вздох). —
С испугу ли —
Все-таки крикнула баба —
Иль гнили объевшись, но...
Ворон издох!»

«Каналья!
Ты сдохнешь, а ворон мой умер!
Он,
Каркая,
Славил удел палача, —
От гнева и ужаса обезумев,
Хватаясь за шашку,
Барон закричал. —

Он был моим другом,
В кровавой неволе
Другого найти я уже не смогу!»
И, весь содрогаясь от гнева и боли,
Он отдал приказ отступать на Ургу.

Стенали степные поджарые волки,
Шептались пески,
Умирал небосклон...
Как идол, сидел на косматой монголке,
Монголом одет,
Сумасшедший барон.

И, шорохам ночи бессонной внимая,
Он призраку гибели выплюнул:
«Прочь!»

И каркала вороном
Глухонемая,
Упавшая сзади
Даурская ночь.

Я слышал:
В монгольских унылых улусах,
Ребенка качая при дымном огне,
Раскосая женщина в кольцах и бусах
Поет о бароне на черном коне...

И будто бы в дни,
Когда в яростной злобе
Шевелится буря в горячем песке, —
Огромный,
Он мчит над пустынею Гоби,
И ворон сидит у него па плече.

БРОНЕВИК

У розового здания депо
С подпалинами копоти и грязи,
За самой дальней рельсовой тропой,
Куда и сцепщик с фонарем не лазит, —
Ободранный и загнанный в тупик,
Ржавеет «Капель», белый броневик.

Вдали перекликаются свистки
Локомотивов... Лязгают форкопы.
Кричат китайцы... И совсем близки
Веселой жизни путаные тропы;
Но жизнь невозвратно далека
От пушек ржавого броневика.

Они глядят из узких амбразур
Железных башен — безнадежным взглядом.
По корпусу углярок, чуть внизу,
Сереет надпись: «Мы — до Петрограда!»
Но явственно стирает непогода
Надежды восемнадцатого года.

Тайфуны с Гоби шевелят пески,
О сталь щитов звенят, звенят песчинки...
И от бойниц протянуты мыски
Песка на опорожненные цинки:
Их исковеркал неудачный бой
С восставшими рабочими, с судьбой.

Последняя российская верста
Ушла на запад. Смотаны просторы.
Но в памяти легко перелистать
Весь длинный путь броневика, который,
Фиксируя атаки партизаньи,
Едва не докатился до Казани.

Врага нащупывая издалека,
По насыпи, на зареве пожарищ, —
Сползались тяжко два броневика,
И «Каппеля» обстреливал «Товарищ».
А по бокам, раскапывая степь,
Перебегала, кувыряясь, цепь.

Гремит великолепная дуэль.
Так два богатыря перед войсками,
Сойдясь в единоборческий дуэт,
Решали спор, тянувшийся годами...
Кто Голиаф из них и кто Давид —
Об этом будущее прогремит.

Подтягиваясь на веревке верст,
Кряхтя, наматывая их на оси,
Полз серый «Каппель», неуклонно пер,
Стремясь Москву обстреливать под осень,
Но отступающим — не раз, не два —
Рвались мостов стальные кружева.

А по ночам, когда сибирский мрак
Садился пушкам на стальные дула, —
Кто сторожил и охранял бивак,
Уйдя за полевые караулы?
Перед глухой восставшею страной
Стоял и вслушивался, стальной...

Что слышал он, когда смотрел туда,
Где от костров едва атели вспышки,
И шелкнувшей ладонью — «на удар!» —
Гремел приказ из командирской вышки:
«Костры поразложили, дуй их в пим!
Пусть, язви их, не спят, коль мы не спим!»

У командира молодецкий вид.
Фуражка набок, расхлябаны ворот.
Смекалист, бесшабашен, норовист —
Он чертом прет на обреченный город.
Любил когда-то Блока капитан,
А нынче верит в пушку и наган.

Из двадцати трех — отданы войне
Четыре громахающие года...
В земле, в теплушке, в тифе и в огне
(Не мутит зной, так треплет непогода!),
Всегда готов убить и умереть,
Такому ли над Блоками корпеть!

Но бесшабашное «не повезло!»
Становится стремительным откатом,
Когда все лица перекосит злость
А губы изуродованы матом:
Лихие пушки, броневик, твои
Крепят арьергардные бои!

У отступающих неверен глаз,
У отступающих нетверды руки,
Ведь колет сердце ржавая игла
Ленивой безнадежности и скуки,
И слышен в четком тукоте колес
Крик красных партизанов: «Под откос!»

Ты отползал, как разъяренный краб,
Ты пятился, подняв клешни орудий,
Но, жадной мести сердце обокрав,
И ты рванулся к плачущей запруде
Людей бегущих. Мрачен и жесток,
Давя своих, ты вышел на восток...

Граничный столб. Китайский офицер
С раскосыми веселыми глазами,
С ленивою усмешкой на лице
Тебя встречал и пожимал плечами.
Твой командир — едва ль не генерал —
Ему почтительно откозырял.

И командиру вежливо: «Прошу!»
Его команде лающее: «Цубо!»
Надменный, как откормленный буржуй,
Харбин вас встретил холодно и грубо:
«Коль вы, шпана, не добыли Москвы,
На что же, голоштаные, мне вы?»

И чтоб его сильнее не прогневить —
Еще вчера стремительный и зоркий,
Уполз покорно серый броневик
За станцию, на затхлые задворки.
И девять лет на рельсах тупика
Ржавеет рыжий труп броневика.

И рядом с ним — ирония судьбы,
Ее громокипящие законы, —
Подняв молотосерпные гербы,
Встают на отдых красные вагоны...
Что может быть мучительней и горше
Для мертвых дней твоих, бесклювый коршун!

Цицикар, 1928

В ЛОМБАРДЕ

В ломбарде старого ростовщика,
Нажившего почет и миллионы,
Оповестили стуком молотка
Момент открытия аукциона.

Чего здесь нет! Чего рука нужды
Не собрала на этих полках пыльных,
От генеральской Анненской звезды
До риз с икон и крестиков крестильных.

Былая жизнь, увы, осуждена
В осколках быта, потерявших имя...
Поблескивают тускло ордена,
И в запыленной связке их — Владимир.

Дворянства знак. Рукой ростовщика
Он брошен на лоток аукциона.
Кусок металла в два золотника,
Тень прошлого и — тема фельетона.

Потрескалась багряная эмаль —
След времени, его непостоянство.
Твоих отличий никому не жаль,
Бездарное последнее дворянство.

Но как среди купеческих судов
Надменен тонкий очерк миноносца, —
Среди тупых чиновничьих крестов
Белеет грозный крест Победоносца.

Святой Георгий — белая эмаль,
Простой рисунок... Вспоминаешь кручи
Фортов, бросавших огненную сталь,
Бетон, звеневший в вихре пуль певучих,

И юношу, поднявшего клинок
Над пропастью бетонного колодца.
И белый — окровавленный — платок
На сабле коменданта — враг сдается!

Георгий, он в руках ростовщика!
Но не залить зарю лавиной мрака.
Не осквернит негодная рука
Его неоскверняемого знака.

Пусть пошлости неодолимой клеветы
Швыряет нас в трясучий жизни кузов, —
Твой знак носил прекрасный Гумилев
И первым кавалером был Кутузов!

Ты гордость юных — доблесть и мятеж,
Ты гимн победы под удары пушек.

Среди тупых чиновничьих утех
Ты – браунинг, забытый меж игрушек.

Не алчность, робость чувствую в глазах
Тех, кто к тебе протягивает руки,
И ухожу... И сердце всё в слезах
От злобы, одиночества и муки.

ВОСЕМНАДЦАТОМУ ГОДУ

Идут года. На водоемах мутных
Летающих лет черту не проведу.
Всё меньше нас, отважных и беспутных,
Рожденных в восемнадцатом году.

Гремящий год! В венце багровых зарев
Он над страной прозыбил шаткий шаг,
То партизан, то воин государев,
Но вечно иступлением дыша.

И, обреченный, он пылал отвагой.
Был щит его из гробовой доски.
Сражался он надломленную шпагой,
Еще удар, и вот она – в куски.

И умер он, взлетев ракетой яркой,
Рассыпав в ночь шрапнели янтая;
В броневику, что сделан из углярки,
Из Омска труп умчали егеря.

Ничьи знамена не сломила гибель,
Не прогремел вослед ничей салют,
Но в тех сердцах, где мощно след он выбил,
И до сих пор ему хвалу поют.

И не напрасно по полям Сибири
Он проскакал на взмыленном коне
В защитном окровавленном мундире,
С надсеченной гранатою в руке.

Кто пил от бури, не погасит жажды
У мелко распластавшейся струи,
Ведь каждый город и поселок каждый
Сберег людей, которые – твои.

Хранят они огонь в глазах бесстрастных,
И этот взор – как острие ножа.
Ты научил покорных, безучастных
Великому искусству мятежа!

Пусть Ленин спит в своем гробу стеклянном –
Пуст Мавзолей и мумия мертва,
А ты еще гуляешь по полянам,
И году прогремевшему – хвала.

Хвала тебе, год-витязь, год-наездник,
С тесьмой рубца, упавшей по виску.
Ты выжег в нас столетние болезни:
Покорность, нерешительность, тоску.

Всё меньше нас – о Год! – тобой рожденных,
Но верю я, что в гневе боевом
По темным селам, по полям сожженным
Проскачешь ты в году...

БЕЗ РОССИИ

(Харбин, 1931)

* * *

Свою страну, страну судьбы лихой,
Я вспоминаю лишь литературно:
Какой-то Райский и какой-то Хорь:
Саводников кладбищенские урны!

И Вера — восхитительный «Обрыв» —
Бескрылая, утратившая силу.
И, может быть, ребенком полюбив,
Еще я вспомню дьякона Ахиллу.

Конечно, список может быть длинней,
Но суть не в нем: я думаю, робея, —
В живой стране, в России этих дней,
Нет у меня родного, как в Бомбее!

Не получить мне с родины письма
С простым, коротким: «Возвращайся, милый!»
Разрублена последняя тесьма,
Ее концы разъединили — мили.

Не удивительно ли: страна —
В песках пустыни, что легли за нами, —
Как скользкая игла обронена,
Потеряна, как драгоценный камень!

Уже печаль и та едва живет,
Отчалил в синь ее безмолвный облак,
И от страны, меня отвергшей, вот —
Один пустой литературный облик.

* * *

Хорошо расплакаться стихами.
Муза тихим шагом подойдет.
Сядет. Приласкает. Пустыяками
Все обиды ваши назовет.

Не умею. Только скалить зубы,
Только стискивать их сильней
Научил поэта пафос грубый
Революционных наших дней.

Темень бури прошибали лбом мы,
Вязли в топях, зарывались в мхи.
Не просите, девушки, в альбомы
Наши зачумленные стихи!

Вам ведь только розовое снится.
Синее. Без всяких катастроф...
Прожигает нежные страницы
Неостывший пепел наших строк!

ПЕРЕХОДЯ ГРАНИЦУ

Пусть дней немало вместе пройдено,
Но вот — не нужен я и чужд,
Ведь вы же женщина — о Родина! —
И, следовательно, к чему ж

Всё то, что сердцем в злобе брошено,
Что высказано сгоряча:
Мы расстаемся *по-хорошему*,
Чтоб никогда не докучать

Друг другу больше. Всё, что нажито,
Оставлю вам, долги простив, —
Вам эти пастбища и пажити,
А мне просторы и пути,

Да ваш язык. Не знаю лучшего
Для сквернословий и молитв,
Он, изумительный, — от Тютчева
До Маяковского велик.

Но комплименты здесь уместны ли, —
Лишь вежливость, лишь холодок
Усмешки, — выдержка чудесная
Вот этих выверенных строк.

Иду. Над порослью — вечернее
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
«Прощайте, знаю: навсегда!»

НА ВОДОРАЗДЕЛЕ

Воет одинокая волчиха
На мерцанье нашего костра.
Серая, не сетуй, замолчи-ка, —
Мы пробудем только до утра.

Мы бежим, отбитые от стаи,
Горечь пьем из полного ковша,
И душа у нас совсем пустая,
Злая, беспощадная душа.

Всходит месяц колдовской иконой —
Красный факел тлеющей тайги.
Вне пощады мы и вне закона, —
Злую силу дарят нам враги.

Ненавидеть нам не разучиться,
Не остыть от злобы огневой...
Воет одинокая волчица,
Слушает волчицу часовой.

Тошно сердцу от звериных жалоб,
Неизбывен горечи родник...
Не волчиха — родина, пожалуй,
Плачет о детенышах своих.

СПУТНИЦЕ

Ты в темный сад звала меня из школы
Под тихий вяз, на старую скамью,
Ты приходила девушкой веселой
В студенческую комнату мою.

И злomu непокорному мальчишке,
Копившему надменные стихи,
В ребячье сердце вкалывала вспышки
Тяжелой, темной музыки стихий.

И в эти дни тепло твоих ладоней
И свежий холод непокорных губ
Казался мне лазурней и бездонней
Венецианских голубых лагун...

И в старой Польше, вкапываясь в глину,
Прицелами обшаривая даль,
Под свист, напоминавший окарину, —
Я в дымах боя видел не тебя ль...

И находил, когда стальной кузнечик
Смолкал трещать, все ленты рассказав,
У девушки из польского местечка —
Твою улыбку и твои глаза.

Когда ж страна в восстаньях обгорала,
Как обгорает карта на свече, —
Ты вывела меня из-за Урала
Рукой, лежащей на моем плече.

На всех путях моей беспутной жизни
Я слышал твой неторопливый шаг,
Твоих имен святой тысячелистник
Как драгоценность бережет душа!

И если пасть беззубую, пустую
Разинет старость с хворью на горбе,
Стихом последним я отсалютую
Тебе, золотоглазая, тебе!..

* * *

В эти годы Толстой зарекался курить
И ушел от жены на диван в кабинете.
В эти годы нетрудно себя укротить,
Но заслуга ль они, укрощения эти!

Укротителем заперта рысь на замок,
Сорок стражей годов — часовыми у дверцы.
Ты двенадцати раз притянуться не мог
На трапедии. Ты вспоминаешь о сердце.

И, впервые подумав о нем, никогда
Не забудешь уже осторожности некой.
Марш свой медленный вдруг ускоряют года:
Сорок два, сорок три, сорок пять и полвека.

Что же, бросим курить. Простокваша и йод.
Больше нечего ждать. Жизнь без радуг. Без премий.
И бессонницами свою лампу зажжет
Отраженная жизнь, мемуарное время.

* * *

Женщины живут, как прежде, телом,
Комнатным натопленным теплом,
Шумным шелком или мехом белым,
Ловкой ложью и уютным злом.

Мы, поэты, думаем о Боге
И не знаем, где его дворцы.
И давно забытые дороги
Снова — вышарканные торцы.

Но, как прежде, радуются дети...
И давно мечтаю о себе —
О веселом маленьком кадете,
Ездившем в Лефортово на «Б».

Темная Немецкая. Унылый
Холм дворца и загудевший сад...
Полно, память, этот мальчик милый
Умер двадцать лет тому назад!

* * *

Всё чаще и чаще встречаю умерших... О нет,
Они не враждебны, душа не признается разве,
Что взором и вздохом готова отыскивать след
Вот здесь зазвеневшей, вот здесь оборвавшейся связи...

Вот брат промелькнул, не заметив испуганных глаз:
Приподняты плечи, походка лентяя и дужка
Пенснэ золотого... А робкая тень от угла...
Ты тоже проходишь, ты тоже не взглянешь, старушка.

Ты так торопливо шажками заботы прошла,
И я задохнулся от вновь пережитой утраты.
А юноша этот, вот этот — над воротом шрам, —
Ужель не узнаешь меня, сотоварищ мой ратный?

Высокий старик, опираясь на звонкую трость,
Пронесся, похожий на зимний взъерошенный ветер.
Отец, ваша смелость, беспутство и едкая злость
Еще беззаботно и дерзко гуляют по свету!

Окутанный прошлым, бывшее, как кошку, маня,
В веселом подростковом, но только в мундире калета,
Узнаю себя: это память выводит меня
Из склепа расстрелянных десятилетий.

И вот — непрерывность. Связую звено со звеном,
Усилим воли сближаю отрезок с отрезком.
Под лампой зеленой, за этим зеленым столом
Рассказы о смерти мне кажутся вымыслом детским!

Умершего встретят друзья и меня. На коне
Их памяти робкой пропляшет последняя встреча...
«Несмелов, поэт!» Или девочка крикнет: «Отец!»
Лица не подняя, проплыву. Не взгляну. Не отвечу.

НОЧЬЮ

Я сегодня молодость оплакал,
Спутнику ночному говоря:
«Если и становится на якорь
Юность, так непрочно якоря

У нее: не брать с собой посуду
И детей, завернутых в ватин...
Молодость уходит отовсюду,
Ничего с собой не захватив.

Верности насиженному месту,
Жалости к нажитому добру —
Нет у юных. Глупую невесту
Позабудут и слезу утрут

Поутру. И выглянут в окошко.
Станция. Решительный гудок.
Хобот водокачки. Будка. Кошка.
И сигнал прощания — платок.

Не тебе! Тебя никто не кличет.
Слез тебе вослед — еще не льют:
Молодость уходит за добычей,
Покидая родину свою!..»

Спутник слушал, возражать готовый.
Рассветало. Колокол заныл.
И китайский ветер непутевый
По пустому городу бродил.

ПРИКОСНОВЕНИЯ

Была похожа на тяжелый гроб
Большая лодка, и китаец гроб,
И весла мерно погружались в воду...
И ночь висела, и была она,
Беззвездная, безвыходно черна
И обещала дождь и непогоду.

Слепой фонарь качался на корме —
Живая точка в безысходной тьме,
Дрожащий свет, беспомощный и нищий.
Крутились волны и неслась река,
И слышал я, как мчались облака,
Как медленно поскрипывало днище.

И показалось мне, что не меня
В мерцании бессильного огня
На берег, на неведомую сушу —
Влечет гребец безмолвный, что уже
По этой шаткой водяной меже
Не человека он несет, а душу.

И, забыв о злобе и борьбе,
Я нежно помнил только о тебе,
Оставленной, живущей в мире светлом.
И глаз касалась узкая ладонь,

И вспыхивал и вздрагивал огонь,
И пену с волн на борт бросало ветром...

Клинком звенящим сердце обнажив,
Я, вздрагивая, понял, что я жив,
И мига в жизни не было чудесней.
Фонарь кидал, шатаясь, в волны — медь...
Я взял весло, мне захотелось петь,
И я запел... И ветер вторил песне.

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

На снегу голубые тени
Приближающейся весны,
Как узор неземных растений,
Изумительно сплетены.

В ледяном решетке капли —
Переклик воробьиных нот...
Скажет бабушка: «Как в апреле!»,
Перекрестится и вздохнет.

Нежность грезится даже старым —
В бриллиантовой дымке слез...
«Мой покойник с дружком-гусаром
Из поместья меня увез.

Мы коней без дороги гнали,
Ветер рвался, лицо кусал,
Как татарин, свистал над нами,
Бил коней молодец-гусар!

Сердце девичье птицей билось,
В голове-то и шум, и гром...
Это в марте, сынок, случилось,
В восемьсот шестьдесят втором...»

ПЯТЬ РУКОПОЖАТИЙ

Ты пришел ко мне проститься. Обнял.
Заглянул в глаза, сказал: «Пора!»
В наше время в возрасте подобном
Ехали кадеты в юнкера.

Но не в Константиновское, милый,
Едешь ты. Великий океан
Тысячами простирает мили
До лесов Канады, до полян

В тех лесах, до города большого,
Где — окончен университет! —
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трех лет.

Кто осудит? Вологдам и Бийскам
Верность сердца стоит ли хранить?..
Даже думать станешь по-английски,
По-чужому плакать и любить.

Мы — не то! Куда б ни выгружала
Буря волчью костромскую рать —
Всё же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать.

Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
...Мы — умрем, а молодняк поделят
Франция, Америка, Китай.

ГОЛОД

Удушье смрада в памяти не смысл
Веселый запах выпавшего снега,
По улице тянулись две тесьмы,
Две колеи: проехала телега.

И из нее окоченевших рук,
Обглоданных — несъеденными — псами,
Тянулись сучья... Мыкался вокруг
Мужик с обledenелыми усами.

Американец поглядел в упор:
У мужика под латаным тулупом
Топорщился и оседал топор
Тяжелым обличающим уступом.

У черных изб солома снята с крыш,
Черта дороги вытянулась в нитку,
И девочка, похожая намышь,
Скользнула, пискнув, в черную калитку.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Вс. Иванову

Мы – вежливы. Вы попросили спичку
И протянули черный портсигар,
И вот огонь – условие приличья –
Из зажигалки надо высекать.

Дымок повис сиреневою ветвью.
Беседуем, сближая мирно лбы,
Но встреча та – скости десятилетье! –
Огня иного требовала бы...

Схватились бы, коль пеши, за наганы,
Срубились бы верхами, на скаку...
Он позвонил. Китайцу: «Мне нарзану!»
Прищурился. «И рюмку коньяку...»

Вагон стучит, ковровый пол качая,
Вопит гудка басовая струна.
Я превосходно вижу: ты скучаешь,
И скука, парень, общая у нас.

Пусть мы враги – друг другу мы не чужды,
Как чужд обоим этот сонный быт.
И непонятно, право, почему ж ты
Несешь ярмо совсем иной судьбы?

Мы вспоминаем прошлое беззлобно.
Как музыку. Запело и ожгло...
Мы не *равны*, но всё же мы *подобны*,
Как треугольники при равенстве углов.

Обоих нас качала непогода.
Обоих нас в ночи будил рожок...
Мы – дети восемнадцатого года,
Тридцатый год. Мы прошлое, дружок!..

Что сетовать! Всему приходят сроки,
Исчезнуть, кануть каждый обряжен.
Ты в чистку попадешь в Владивостоке,
Меня бесптичье съест за рубежом.

Склонил ресницы, как склоняют знамя,
В былых боях изодранный лоскут...
«Мне, право, жаль, что вы еще не с нами».
Не лгите: с кем? И... выпьем коньяку.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Василий Васильич Казанцев.
И огненно вспомнились мне —
Усищев протуберансы,
Кожанка и цейс на ремне.

Ведь это же — бесповоротно,
И образ тот, время, не тронь.
Василий Васильевич — ротный:
«За мной — перебежка — огонь!»

— Василий Васильича? Прямо.
Вот, видите, стол у окна...
Над счетами (согнут упрямо
И лысина, точно луна)

Почтенный бухгалтер. — Бессильно
Шагнул и мгновенно остыл...
Поручик Казанцев?.. Василий?..
Но где же твой цейс и усы?

Какая-то шутка, насмешка,
С ума посходили вы все!..
Казанцев под пулями мешкал
Со мной на ирбитском шоссе.

Нас дерзкие дни не скосили —
Забуду ли пули ожог! —
И вдруг шевиотовый, синий,
Наполненный скукой мешок.

Грознейшей из всех революций
Мы пулей ответили: *нет!*
И вдруг этот куций, кургузый,
Уже располневший субъект.

Года революции, где вы?
Кому ваш грядущий сигнал?
— Вам в счетный, так это налево... —
Он тоже меня не узнал!

Смешно! Постарели и вымрем
В безлюдьи осеннем, нагом,
Но всё же, конторская мымра, —
Сам Ленин был нашим врагом!

Р.В.15

— Говорит Хабаровск,
Р.В.15,
На волне в семьдесят метров...
Диск
В содрогании замирающих вибраций:
Шорох, треск, писк.

Родина декламировала баритоном актера,
Пела про яблочко, тренькала на мандолинах,
Но в этом сумбуре мы искали шорохов
Родимых полей и лесов родимых.

Но тайга, должно быть, безмолвие слушала,
Вероятно, поля изошли в молчании.
Нагло лезли в разинутые уши —
Писк, визг, брэнчанье.

— Революционная гроза?
Где там!
Давно погасла огнеликая вышка.
Перетряхивал Хабаровск перед целым светом
Мещанских душ барахлишко.

И когда
Панихидой интернационала
Закончился концерт через полчаса,

Мы услышали —
Лишь далекая зала
Аплодисментами оттрепетала, —
Посторонние голоса.

Родина сказала:
— Покурить оставь-ка!..
И голосом погуще:
— Вались ты к!..

И снова несуразица звуков —
Визг, вой, давка,
Атака спутанных волн,
Идущих в штыки.

Родина! Я уважаю революцию,
Как всякое через, над и за,
Но в вашем сердце уже не бьются,
Уже не вздрагивают ее глаза.

— Говорит Хабаровск,
Р.В.15,
На волне...
Родина, бросьте метраж!
Революция идет,
Она приближается, —
Но,
Пора сознаться,
Накопляет уже
Обратный стаж.

ТАЙФУН

В. Логинову

Как в агонии, вздрагивает дом,
Как в агонии, с каждым новым шквалом,
Звенит стекло, затянутое льдом,
А ветер мчит, рыдая об одном,
О чем-то сказочном и небывалом.

О чем его волнующая речь,
Его мятеж, ломающий деревья,

Что хочет он умчать иль уберечь?..
Он обречен баюкать и стеречь
Кочевья туч, угрюмые кочевья.

И кажется, что ходит под окном
Огромный призрак ростом до созвездий.
И я томлюсь, как ночь, как этот дом,
Как пес, изнемогающий в тупом
Томлении на каменном подъезде!

ЛЕОНИД ЕЩИН

Ленька Ещин... Лишь под стихами
Громогласное – Леонид,
Под газетными пустяками,
От которых душа болит.

Да еще на кресте надгробном,
Да еще в тех строках кривых
На письме, *от родной*, должно быть,
Не заставшей тебя в живых.

Был ты голым и был ты нищим,
Никогда не берег себя,
И о самое жизни днище
Колотила тобой судьба.

«Тында-рында!» – не трын-трава ли
Сердца, ведающего, что вот
Отгуляли, отгоревали,
Отшумел Ледяной поход!

Позабыли Татарск и Ачинск,
Городишки одной межи,
Как от взятия и до сдачи
Проползала сквозь сутки жизнь.

Их домишкам – играть в молчанку.
Не расскажут уже они,
Как скакал генерала Молчанова
Мимо них адъютант Леонид.

Как был шумен постой квартирный,
Как шумели, смеялись как,
Если сводку оперативную
Получал командарм в стихах.

– «Ай да Леня!» – И вот по глыбе
Безнадежности побежит
Легкой трещиною – улыбка,
И раскалывается гранит!

Так лучами цветок обрызган,
Так туманом шевелит луна...
– Тында-рында! – И карта риска
В диспозиции вновь сдана.

Докатились. Верней – докапали,
Единицами: рота, взвод...
И разбилась фаланга Каппеля
О бетон крепостных ворот.

Нет, не так! В тыловые топи
Увязили такую сталь!
Проиграли, продали, пропили,
У винтовок молчат уста.

День осенний – глухую хмару –
Вспоминаю: в порту пустом,
Где последний японский «Мару», –
Леонид с вещевым мешком.

Оглянул голубые горы
Взором влажным, как водоем:
«Тында-рында! И этот город –
Удивительный – отдаем...»

Спи спокойно, кротчайший Леня,
Чья-то очередь за тобой!..
Пусть же снится тебе макленка,
Утро, цепи и легкий бой.

* * *

Ловкий ты и хитрый ты
Остроглазый черт,
Архалук твой вытертый
О коня истерт.

На плечах от споротых
Полосы погон.
Не осилил спора ты
Лишь на перегон.

И дичал всё более,
И несли враги
До степей Монголии,
До слепой Урги.

Гор песчаных рыжики,
Зноя каминок.
О колено ижевский
Поломал клинок.

Но его не выбили
Из беспутных рук.
По дорогам гибели
Мы гуляли, друг!

Раскаленный добела
Отзвенел песок,
Видно, время пробило
Раздробить висок.

Вольный ветер клонится
Замести тропу...
Отгуляла конница
В золотом степу!

РУЧНАЯ ВОЛЧИХА

На бугре, с которого видна
Путаница дворигов и улица,
В мысли темные погружена,
Застывает. Вслушиваясь, щурится.

Люди, куры, лошади, дома —
Ничего не помнит, кроме этого.
Отчего же, не поймет сама,
Тянет выть, лесною песней сетовать.

И тоску уверенность пронзит,
Что и псы, и каменные ящики —
Всё, что там и что вот тут, вблизи, —
Только сон лишь, а не настоящее.

Где оно? Об этом ветерки
Намекают, перебросив к пленнице
Заревые запахи реки,
Над которой ало солнце пенится.

Где ж оно? Пылая, облака
Не туда ли тянутся, бродяги.
Вздрагивают серые бока,
Ищущие ноздри жадно вздрагивают.

Спрыгнет наземь с пыльного бугра,
От собак уйдет в кусты, за липу,
И, светя глазами, до утра
Будет петь, звериной песней всхлипывать.

Бедная! Отныне навсегда
Будет в сердце боль истомы вещей.
Как и мы, поэты, — никогда
Не увидишь мир, мечтой обещанный.

* * *

Я вспомнил Стоход.
Еврейское кладбище — влево.
А солнце
Коктейлевой вишней
Брошено в вермут заката.

Хочется пить. Стреляют. Бежим.

У первых могил залегли. Солдаты острили:
«Пожалуй,
Покойникам снится погром!»

Я спал на земле,
Шершавой, еще не остывшей, пахучей.
Под утро
Меня разбудил холодок.

Светало. И солнце
Всходило оттуда,
Где наши резервы лежали.
И не было в солнце
Помину вчерашнего солнца:

Косило оно и бросало
Лучи, как фонтаны,
Которые в море выфыркивают киты.

Сердитое солнце всходило,
Тревожное солнце:
Оно обещало нам бой.

Я стал озираться.
На рыжей плите,
Солдатской лопатую брошен,
Зубами гранит укусив,
Зеленел
Человеческий череп.

Он крупный был очень,
И мозг
Немалый,
Должно быть,
Вмещал он при жизни.

О чем я подумал тогда?
Едва ли
О Гамлете.
Нет, я Шекспира не вспомнил!

«Должно быть, раввин, —
Сказал я соседу, —
Хозяином черепа был...
Посмотри-ка, огромный!..»

Тут начали нас колотить,
И в окопы,
В могилки,
Нарытые между могил,
Легли мы
И так пролежали до полдня,
Пока австрияк не очистил внезапно местечко.

АГОНИЯ

М. Щербакову

– Сильный, державный, на страх врагам!..
Это не трубы, – по кровле ржавой
Ветер гремит, издеваясь: вам,
Самодержавнейшим, враг – держава!

Ночь. Почитав из Лескова вслух,
Спит император ребенка кротче.
Память, опять твоему веслу
Императрица отдаться хочет.

И поплывут, поплывут года,
Столь же бесшумны, как бег «Штандарта».
Где, на каком родилась беда,
Грозно поднявшая айсберг марта.

Горы былого! Тропа в тропу.
С болью надсады дорогой скользкой,
Чтоб, повторяя, проверить путь
От коронации до Тобольска.

Где же ошибка и в чем она?
Школьницу так же волнует это,
Если задача не решена,
Если *решенье* не бьет *ответа*.

Враг: Милюков из газеты «Речь»,
Дума, студенты, Вильгельм усатый?
Нет, не об этом тревоги речь
И не над этим сверло досады.

Вспомни, когда на парад ходил
Полк кирасир на дворцовом поле,
Кто-то в Женеве пиво пил,
В шахматы игрывал, думал, спорил.

Плачет царица: и кто такой!
Точка. Беглец. Истребить забыли.
Пошевелила бы лишь рукой —
И от него ни следа, ни пыли!

Думала: так! Пошумит народ —
Вороны бунта устанут каркать —
И, отрезвев, умирать пойдет
За обожаемого монарха.

Думала: склонятся снова лбы,
Звон колокольный прогонит полночь,
Только пока разрешили бы
Мужу в Ливадии посадовничать!

Так бы и было, к тому и шло.
Трепет изменников быстро пронял бы,
Если бы нечисть не принесло,
Запломбированную в вагоне.

Вот на балконе *он* (из газет
Ведомы речи), калмычки щурясь...
И потерялся к возврату след
В заклокотавшей окрепшей буре.

Враг! Не Родзянко, не Милюков
И не иная столицы челядь.
Горло сжимает — захват каков! —
Истинно волчья стальная челюсть.

Враг! Он лавиной летящей рос
И, наступая стране на сердце,
Он уничтожил, а не матрос,
Скипетр и мантию самодержца.

— Враг, ускользнувший от палача,
Я награжу тебя, зверя, змея,
Клеткой железной, как Пугача,
Пушечным выстрелом прах развею!

— Скоро! Сибирь поднялась уже,
Не Ермака ли гремят доспехи?
Водит полки богатырский жезл,
К нашей тюрьме спешают чехи.

Душно царице. От синих рам
Холодно — точно в пустыне звездной!..
Сильный, державный, на страх врагам, —
Только сегодня, на завтра — поздно.

ДВЕ ТЕНИ

«В Москву, — писали предки
В тетради дневников, —
Как зверь, в железной клетке
Доставлен Пугачев.

И тот Емелька в проймы
Железин выл, грозя,
Что ворон-де не пойман,
Что вороненок взят.

И будто, коль не басни,
О полночь, при светце,
Явился после казни
В царицыном дворце.

— Великая царица, —
Сказал, поклон кладя, —
Могу ль угомониться,
Не повидав тебя.

На бунт я сёла дыбил,
И буду жить, пока
Твой род не примет гибель
От гнева мужика».

Сказал. Стеною скрыта,
Тень рухнула из глаз,
На руки фаворита
Царица подалась.

Столетье проклубилось
Над Русью (гул и мгла).
Она с врагами билась,
Мужала и росла.

В боях не был поборон
Ее орел, двуглав,
Но где-то каркал ворон,
Как пес из-за угла.

И две блуждали тени
С заката до утра
От Керчи и Тюмени
До города Петра.

...Болота и равнины,
Уральских гор плечо...
Одна – Екатерина,
Другая – Пугачев.

Одна в степи раздольной
Скликает пугачей,
Другая в сонный Смольный
Сойдет из мглы ночей.

Дворянским дочкам – спится,
Легки, ясны их сны,
И вот императрица
Откроет свой тайник.

Румяна и дородна,
Парик – серебряный шар,
Войдет она свободно
В уснувший дортуар.

Как огненные зерна,
Алмазы. Бровь – дуга.
За ней идет покорно
Осанистый слуга.

Прошла, взглянула мудро,
Качнув, склоняя лик,

Голубоватой пудрой
Осыпанный парик.

Шли годы за годами,
Блуждал лучистый прах,
Внушая классной даме
И пепиньеркам страх.

Но вздрогнул раз от грома
И дортуар и зал.
У комнаты наркома
Красногвардеец встал.

Он накрест опоясал
На грудь патронташи.
До смены больше часу,
В прохладах ни души.

Глядит: шагает прямо,
Как движущийся свет,
Внушительная дама,
И не скрипит паркет.

Глядит спокойным взором,
И лента на груди.
Дослав патрон затвором,
Шагнул: «Не подходи!»

Но, камень стен смыкая,
Угас фонарь луны...
Ушла, как тень какая,
В пустую грудь стены.

И человек (лобастый,
Лицом полумонгол)
Тяжелое, как заступ,
Перо на миг отвел.

Вопрос из паутины
Табачной просквозил:
– Опять Екатерина
Нам делала визит?

Усмешкой кумачовой
Встречает чью-то дрожь.
И стал на Пугачева
На миг нарком похож.

Разбойничком над домом
Посвистывала ночь,
Свивая тучи комом
И их бросая прочь.

И в вихре, налетавшем
Как черт из-за угла,
Рос ворон, ислеквавший
Двуглавого орла.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

В сундуках старух и скупердяев
Лет пятнадцать книги эти кисли...
Сочно философствует Бердяев
О религиозной русской мысли.

Тон задорный, резвый. Неужели
Кто-то спорил, едко возражая?
Критик дерзко пишет о Муйжеле,
Хаает повесть «Сны неурожая».

О, скрижали душ интеллигентских,
Ветхий спор о выеденных яйцах.
Темнооких не пугает Ленских
Занесенная над ними палица.

А не в эти ль месяцы, шершавый
От расчесов, вшив до переносиц,
Медленно отходит от Варшавы
Наш народ, воспетый богоносец.

Мы влюблялись в рифмочку, в картинку,
Он же, пулям подставляя спину, —
Смрадный изверг, светоносный инок, —
Безнадежно вкапывался в глину.

И войны не чувствуешь нимало —
Нет ее дымящей багряницы:
Прячут череп страусы журналов
Под крыло иссушенной страницы.

Распуская эстетику слюни,
Из трясины стонет критик выпью:
«Как кристален академик Бунин,
Как изящно ядовита Гиппиус!»

* * *

Так уходит море, на песке
Слизь медуз и водоросли бросив.
До волны последней не успев
Дотянуться, ничего не просят.

Умирают, источая яд
Разложения — прокаженных муки!
И на запах тленья прилетят
Вороны и бронзовые мухи.

Легкий стебель, купол голубой,
Всё, что жило, плавало, дышало, —
Скатано в бессмысленный клубок,
Клювами костлявыми обшаренный.

И когда вернется море вспять,
Отшагав положенные бури,
Унесет оно, взыграв, вскипя, —
Только трупы, пахнущие дурно.

О РОССИИ

Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, растет.
Уж лиц не различить на пароходе.

Лишь взмах платка и лишь ответный взмах.
Басовое взывание сирены.
И вот корма. И за кормой — тесьма
Клубящейся, всё уносящей пены.

Сегодня мили и десятки миль,
А завтра сотни, тысячи — завеса.
И я печаль свою переломил,
Как лезвие. У самого эфеса.

Пойдемте же! Не возвратится вспять
Тяжелая ревушая громада.
Зачем рыдать и руки простирать,
Ни призывать, ни проклинать — не надо.

Но по ночам — заветную строфу
Боюсь начать, изгнанием подрублен, —
Упорно прорубающий тайфун,
Ты близок мне, гигант четырехтрубный!

Скрипят борта. Ни искры впереди,
С горы и в пропасть!.. Но, обувший уши
В наушники, не думает радист
Бросать сигнал: «Спасите наши души!»

Я, как спортсмен, люблюсь на тебя
(Что проиграю — дуться не причина)
И думаю, по-новому любя:
«Петровская закваска... Молодчина!»

БЕЛЫЙ ОСТРОВ

Айсберги. Льдины. Не три, не две —
Голубоглазая вся флотилия.
Замер на синей скале медведь,
Белый, полярный. Седой, как лилия!

Поднята морда. И из ноздрей —
Пар. Серебра не звончее разве?
Смотрит в трубу на него Андрэ,
Смотрит медведь на летящий айсберг.

К полюсу. Сердце запороша
Радостью, видит, клонясь над картой:
В нежных ладонях уносит шар
Голубоглазая Сольвейг — Арктика.

Словно невеста, она нежна,
Словно невеста, она безжалостна.
Словно подарок, несет она
Этот кораблик воздушный, парусный.

Шепчет: «Сияньем к тебе сойду,
Стужу поставлю вокруг, как изгородь.
Тридцать три года лежать во льду
Будешь, любимый, желанный, избранный!»

Падает шар. На полгода – ночь.
Умерли спутники. Одиночество.
Двигаться надо, молиться, но
Спать, только спать бесконечно хочется.

«Голову дай на колени мне,
Холодом девственности согрейся.
Тридцать три года во льду, во сне
Ждать из Норвегии будешь крейсера!»

Очи устами спешит согреть,
Сердце прикрыла белейшим фартуком...
Славу твою стережет, Андрэ,
Голубоглазая Сольвейг – Арктика.

ЗА

Анне

За вечера в подвижнической схиме,
За тишину, прильнувшую к крыльцу...
За чистоту. За ласковое имя,
За вытканное пальцами твоими
Прикосновенье к моему лицу.

За скупость слов. За клятвенную тяжесть
Их, поднимаемых с глубин души.
За щедрость глаз, которые как чаши,
Как нежность подносящие ковши.

За слабость рук. За мужество. За мнимость
Неотвратимостей отвергнутых. И за
Неповторяемую неповторимость
Игры без декламаторства и грима
С финалом вдохновенным, как гроза.

МЫ

Мы – каменноугольного дыма
Ключья, вырванные из трубы.
Но не с детства ли была любима
Доля беззаботной гольтьбы?

По дорогам шляемся, таская
Ветхий скарб твой, певчая тоска...
У рабочих всё же мастерская,
Дом и поле есть у мужика.

Темное, досадливое чувство
Пробуждаем мы в иных умах:
Мы несем ненужное искусство
На усталых наших раменах.

В век бетона странен рыцарь лиры,
Словно призрак, вставший наяву...
Но ведь флорентинцы-ювелиры
Приходили ж в скифскую Москву!

Чтобы из тончайшей паутины
Золотой старательной резьбы
На ковши и грузные братины
Положить прекрасные гербы.

Ах, и не они ль неодолимо
Приняли бессмертья торжество
От тебя, большое мастерство,
Сотканное творчеством из дыма!

МАСТЕРСТВО

Поднятые под купол цирка,
Повисли двое в голубом.
Под ними шут свистал и фыркал,
Ловя шары цветные – лбом.

Но смолк оркестр, и клоун изгнан,
И акробат дугу прыжка
С бестрепетностью механизма
Рассчитывает до вершка.

И напряженной гибкой стали
Скользнул с подпрыгнувшей доски,
Но над его сальтомортале
Две подлетевшие руки.

Метнулся трос, подобно ветке
Отпущенной... Летун — стрела.
Большими мячиками — в сетке
Два раза прыгнули тела.

Кричит толпа, скамьи сгибаая,
Зеленый шут трясет горбом,
И кланяются, улыбаясь,
Два акробата в голубом.

ИЗНЕМОЖЕНИЕ

Окончив труд, с погасшей папиросой,
С душой угасшей встал из-за стола,
Где абажура череп безволосый
Беззубая обсасывала мгла.

Как раненый, ладонь прижавший к ране,
Я сердце нес и тень свою шатал —
Анаглифом, с холщового экрана
В отчаяньи перешагнувшим в зал.

Безмолвие. Безгласные минуты —
Как дождь осенний в чахлую листву.
Воистину, непобедимо круты
Ступени восхожденья к Божеству.

ГРЕБНЫЕ ГОНКИ

Руки вперед, до отказа —
Раз! — и пружиной назад.
По голубому алмазу
Легкие лодки скользят.

Раз!.. Поупористей, туже,
Чтобы скачками несло.
Два!.. Упирайте упруге
В глубь молодое весло.

Смокла носатая кепка.
Пот у прищуренных глаз.
Резко, отрывисто, крепко —
Раз!.. и отчетливей: раз!

Крепостью, мужеством взрослым
Бега берем рубежи.
Раз!.. Не забрасывай весла.
Два!.. Направленья держи.

Раз!.. Напрягается стойко
Воля души и весла,
Чтобы летящая двойка
Первой к победе пришла.

Раз!.. До отказа, до цели.
Два!.. Разорвутся тела...
Три!.. И победно взлетели
Вверх все четыре весла!

ВПЕРЕД

Как в исключения ни норови —
Не уцелеть под маской недотроги:
Догонит неуклюжий паровик,
Трамбующий шоссейные дороги.

И гальки розовая крупа
(Ей у залива греться бы, хорошей!)
Потрескивает, как скорлупа,
Под медленной чугуною калошей.

Скрежешут розовые прыщи,
Заласканные некогда волною.
И каждый плачет, сетует, пищит
Под медленной чугуною пятою.

Какой же писк фильтруется в стихах
О звонкой речке и печальных нивах,
О деревенском домике в садах,
О мамочке и годах сиротливых.

А сколько тошных проливалось слез,
Что не вернуться вновь к себе, ребенку,
Что паровоза — милый паровоз! —
Не обскакать паршивцу жеребенку.

— А сам, — вопрос, — к какому рубежу
Перегибаешь собственную ветку?
И, улыбаясь, я в ответ скажу:
— А видели ли вы мотоциклетку?

Так это — я. И мы. Простор велик,
А путь один. И этот путь — погоня,
Но неуклюжий черный трамбовик
Ее, неистовую, не догонит!

УВЕРЕННОСТЬ

Над крышею — лианами — провода.
Черные и толстые.
С крыши стекает вода.
Трубы каменноствол стоит.

Голубь пьет, запрокидывая голову, —
Коричневый лакированный голубок.
На его шее розовой и голой
Топорщится белоснежное жабо.

Можете строить бетон и клетчатые
Кружева мостов и радиомачт,
Но все-таки будут собирать дождевую воду
Складками цинковых крыш — дома!

И голубь с беззащитной розовой шеей,
Беспользней,
Которого тщитесь убить, —
Будет бродить по крышам
Всё выше, выше
И,
Закидывая горло,
Пить!

ПОЛУСТАНОК

(Харбин, 1938)

* * *

Уезжающий в Африку или
Улетающий на Целебес
Позабудет беззлобно бессилье
Оставляемых бледных небес.

Для любви, для борьбы, для сражений
Берегущий запасы души,
Вас обходит он без раздраженья,
Пресмыкающиеся ужи!

И когда загудевший пропеллер
Распылит расставания час,
Он, к высоким стремящийся целям,
Не оглянется даже на вас.

Я же не путешественник янки,
Нахлобучивший пробковый шлем, —
На китайском моем полустанке
Даже ветер бессилен и нем!

Ни крыла, ни руля, ни кабины,
Ни солдатского даже коня.
И в простор лучезарно-глубинный
Только мужество вносит меня.

НИЩИЕ ДУХОМ

Он же сказал: иди. И, выйдя
из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу.

Мудрость наша — липкость книжной пыли,
Без живого запаха флакон.
Никогда узлов мы не рубили,
Не шагали через Рубикон.

Хитрый, робкий, осторожный табор,
Трех идей томительная нудь, —
Никогда нам, никогда нам за борт
К светлому виденью не шагнуть!

Ящички без всякого секрета,
Всякой мысли куцые концы, —
Мы не рыбаки из Назарета
И не мудрецы, а хитрецы.

Руку другу мы не подавали,
Страшным словом насмерть не клялись,
Наши лица в рамочном овале
Кажутся мне мордочками лис.

Нам, как в панцирь, заточенным в муку,
Краткий день отжевывать в беде,
И не нам протягивает руку
Светлый Бог, идущий по воде!

ЭПИЛЕПТИК

И снова радость хлынувшего света
В моей безглазой, бездыханной тьме!..
За что мне это, и откуда это,
Какая весть пришла в каком письме?

Никто не пишет в адрес мой забытый,
Заброшен я в селении глухом.
Лишь раз в году в ворот чугунных плиты
Стучится кто-то голубым перстом.

И я бегу, весь трепет, беспокойство,
На черный камень моего крыльца,
И прянет свет — моей болезни свойство
От дивного, от чудного лица.

По жилам пламень пробежит летучий,
Вселенная раскроется мне вся,
И вскрикну я, забившийся в падучей,
Такого знания не перенеся.

Куда и кто вносил единым взмахом,
Зачем низвергнул с высоты назад?
И люди на меня глядят со страхом,
И я угрюмо опускаю взгляд.

* * *

Всё настойчивее и громче,
Всё упрямей тревоги вой...
Вижу гибель мою, как кормчий
Видит глыбу перед собой.

Доведу ли кораблик малый
Под желанные небеса
Или ринутся снова шквалы
Изорвать мои паруса?

Знаю только — свое неважно,
На любую готов игру,
Но доверен руке отважной
Драгоценнейший тайный груз!

И стальное мое бесстрастье —
Закаленная страсть его! —
Это счастье мое, а счастье —
Сила, правда и торжество!

Даже гибель, и та чудесна,
И напрасен тревоги вой:
Погибая, я стану песней,
Поднимающей, заревой!

ПОНУЖАЙ

Эшелоны, эшелоны, эшелоны, —
Далеко по рельсам не уйти!..
Замерзали красные вагоны
По всему сибирскому пути.

В это время он и объявился,
Тихо вышел из таежных недр,
Перед ним, богатырем, склонился
Даже гордый забайкальский кедр.

Замелькал, как старичок прохожий,
То в пути, то около огней, —
Не Мороз ли, дедка краснорожий,
Зашагал вдоль воткинских саней.

Стар и сед, а силы на медведя —
Не уходят из железных рук!..
То идет, то на лошадке едет,
Пар клубится облаком вокруг.

Выбьешься из силы — он уж рядом!..
Проскрипит пимами, подойдет,
Поглядит шальным косматым взглядом
И за шиворот тебя встряхнет.

И растает в воздухе морозном,
Только кедр качается, велик...
Может быть, в бреду сыпнотифозном
Нам тогда привиделся старик.

А уж он перед другим отрядом,
Где-нибудь далёко впереди,
То обходит, то шагает рядом,
Медный крест сияет на груди.

— Кто ты, дедка? Мы тебя не знаем,
Ты мелькаешь всюду и везде...
— Прозываюсь, парень, Понужаем,
Пособляю русскому в беде.

...Догоняют, настигают, насадают,
Не дают нам отдыха враги,
И метель серебряно-седая
Засыпает нас среди тайги.

Бороды в сосули превращались,
В градуснике замерзала ртуть,
Но, полузамерзшие, бросались
На пересекающего путь!

Брали села, станции набегом,
Час в тепле, а через час — поход.
Жгучий спирт мы разводили снегом,
Чтобы чокнуться под Новый год.

И опять, винтовку заряжая,
Шел солдат дорогой ледяной...
Смертная истома Понужая,
Старика с седой бородой!

ЛОДОЧНИК

Гол по пояс. Бороденка
Отгорела и бела.
Кормит лодка-плоскодонка,
Два размашистых весла.

Где вы, унтерские лычки,
Заработанная честь?
До последней переклички
Отвечал из строя: *Есть!*

До последнего привала
Наготове, начеку.
Чья рука передавала
Из Полесья к Колчаку?

Чья рука переносила
Через милый отчий дом?
Что за мужество и сила
В этом облике простом.

Год за годом!.. Без умолку
Бранным бредом стонет явь
До китайского поселка,
До последнего: *Со... ставь!*

Разбрелась по свету рота,
Как по небу облака...
Мужика спасет работа,
Сын степного мужика.

Эти руки, эта лодка,
Трудовые пятаки,
Марширующие четко
Волны Сунгари-реки.

Коротки в июле ночи,
Краток отдых на песке.
Снова сердце память точит,
И опять оно в тоске.

Снится горький дым биваков,
Ветер, утренняя рань,
Путь из Люблина на Краков
И от Омска на Казань.

Тянет, тянет давний омут,
Огневой водоворот:
Нет ни Родины, ни дома,
А война еще — зовет!

Машет всхлестом алых зарев,
Хлынув памяти в глаза...
Полно, воин государев, —
Не российская гроза!..

Не сибирская зарница
Кличет славу и беду, —
Перевернута страница
В девятнадцатом году.

Та страница в злую полночь
Перечеркнута судьбой.
Льются годы, годы-волны
Заливают нас с тобой!

Ни движенья, ни забвенья,
Только памяти набат:
Неразрывны с прошлым звенья,
Бедный лодочник-солдат!

Ты в плену у грозной силы,
Но и согнутый в кольцо —
В неких списках до могилы:
— *Налицо!*

ИНТЕРВЕНТЫ

Серб, боснийский солдат, и английский матрос
Поджидали у моста быстроглазую швейку.
Каждый думал: моя! Каждый нежность ей нес
И за девичий взор, и за нежную шейку...

И врагами присели они на скамейку,
Серб, боснийский солдат, и английский матрос.

Серб любил свой Дунай. Англичанин давно
Ничего не любил, кроме трубки и виски...
А девчонка не шла. Становилось темно.
Опустили к воде тучи саван свой низкий.

И солдат посмотрел на матроса как близкий,
Словно другом тот был или знались давно.

Закурили, сказав на своем языке
Каждый что-то о том, что Россия — болото.
Загоралась на лицах у них позолота
От затяжек... А там, далеко, на реке,

Русский парень запел заунывное что-то...
Каждый хмуро ворчал на своем языке.

А потом в кабачке, где гудел контрабас,
Недовольно ворча на визгливые скрипки,
Пили огненный спирт и запененный квас
И друг другу сквозь дым посылали улыбки

Через залитый стол, неопрятный и зыбкий,
У окна в кабачке, где гудел контрабас.

Каждый хочет любить — и солдат, и моряк,
Каждый хочет иметь и невесту, и друга,
Только дни тяжелы, только дни наши — вьюга,
Только вьюга они, заclubившая мрак.

Так кричали они, понимая друг друга,
Черный сербский солдат и английский моряк.

1920

СТИХИ О ХАРБИНЕ

I

Под асфальт сухой и гладкий,
Наледь наших лет,
Изыскательской палатки
Канул давний след...

Флаг Российский. Коновязи.
Говор казаков.
Нет с былым и робкой связи, —
Русский рок таков.

Инженер. Расстегнут ворот.
Фляга. Карабин.
«Здесь построим русский город,
Назовем — Харбин».

Без тропы и без дороги
Шел, работе рад.
Ковылял за ним трехногий
Нивелир-снаряд.

Перед днем Российской встряски,
Через двести лет,
Не Петровской ли закваски
Запоздалый след?

Не державное ли слово
Сквозь века: *приказ*.
Новый город зачат снова,
Но в последний раз.

II

Как чума, тревога бродит —
Гул лихих годин...
Рок черту свою проводит
Близ тебя, Харбин.

Взрывы дальние, глухие,
Алый взлет огня, —
Вот и нет тебя, Россия,
Государыня!

Мало воздуха и света,
Думаем, молчим.
На осколке мы планеты
В будущее мчим!

Скоро ль кануть иль не скоро —
Сумрак наш рассей...
Про запас Ты, видно, город
Выстроила сей.

Сколько ждать десятилетий,
Что, кому беречь?
Позабудут скоро дети
Отческую речь.

Ш

Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.

Пусть удел подобный горек —
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик-историк,
Вспомяни о нас.

Ты забытое отыщешь,
Впишешь в скорбный лист,
Да на русское кладбище
Забежит турист.

Он возьмет с собой словарь
Надписи читать...
Так погаснет наш фонарик,
Утомясь мерцать!

ПОХИТИТЕЛИ

Бессилие окраин. Скользких троп
Скрещение на пустырях. Крапива.
Заводской вышки облысевший лоб
С громоотводом тонким, как рапира.

Корчма. Ступени. Нависает свод.
Слоистый дым. Колючих взоров наглость.
Письмо, печать... И на печати — под
Лобастым черепом — две кости накрест.

Безжалостность окраин. Главаря
Рычащий шепот... Дотлевет запад.
Показывает ночь у фонаря
Двоих бродят в широкополых шляпах.

И — «ах!» (как в пропасть). Хладная гроза
Причмокивания, смакованья сдула.
Как шпага, устремляется в глаза
Гипнотизирующий палец дула.

По пустырям. Из бесфонарной мглы
Навстречу мчат строенья и ограды,
И двое в масках, опустив стволы,
Над жалкой жертвой скрещивают взгляды.

ХУНХУЗ

О жене и матери забыл,
Маузер прикладистый добыл
И, тугие плечи оголя,
Вышел за околицу в поля.

Те же джунгли этот гаолян,
Только без озер и без полян.
Здесь на свист хунхуза — за версту
Свистом отзывается хунхуз.

Было много пищи и добра,
Были добрые маузера,
Но под осень, кочки оголя,
Сняли косы пышный гаолян.

Далеко до сопок и тайги,
Наседали сильные враги,
И горнист с серебряной трубой
Правильно развертывает бой.

И хунхуза, сдавшегося в плен,
Чьи-то руки подняли с колен,
Связанного бросили в тюрьму,
Отрубили голову ему.

И на длинной жерди голова
Не жива была и не мертва,
И над ней кружилось воронье:
Птицы ссорились из-за нее.

ОКОЛО ЦИЦИКАРА

По дороге, с ее горба,
Ковыляя, скрипит арба.
Под ярмом опустил кадык
До земли белолобый бык.

А за ним ускоряет шаг
И погонщик, по пояс наг.
От загара его плечо
Так коричнево горячо.

Степь закатом озарена.
Облака — как янтарь зерна,
Как зерна золотистый град,
Что струился в арбу с лопат.

Торопливо погружено,
Ляжет в красный вагон оно,
И закружит железный вихрь,
Закачает до стран чужих.

До чудесных далеких стран,
Где и угольщик — капитан,
Где не знают, как черный бык
Опускает к земле кадык,

Как со склона, с его горба,
Подгоняет быка арба.

Так и тысячу лет назад
Шли они, опустив глаза,
Наклонив над дорогой лбы,
Человек и тяжелый бык.

ПЕСНИ ОБ УЛЕНСПИГЕЛЕ

В. К. Обухову

I

По затихшим фландрским селам,
Полон юношеских сил,
Пересмешником веселым
Уленспигель проходил.

А в стране веселья мало,
Слышен только лязг оков, —
Инквизиция сжигала
На кострах еретиков.

И, склонясь на подоконник, —
Есть и трапезам предел, —
Подозрительно каноник
На прохожего глядел:

«Почему ты, парень, весел,
Если всюду только плач?
Как бы парня не повесил
На столбах своих палач...»

Пышет. Смотрит исподлобья.
Пальцем строго покачал.
«Полно, ваше преподобье! —
Уленспигель отвечал. —

Простачок я, щебет птичий,
Песня сел и деревень:
Для такой ничтожной дичи
Не тревожьте вашу лень».

II

С толстым другом, другом верным,
Полон юношеских сил,
По гулянкам и тавернам
Уленспигель колесил.

Громче дудка, резче пищик, —
Чем не ярмарочный шут?
Вопрошал испанский сыщик:
«Почему они поют?

Что-то слишком весел малый.
Где почтительность и страх?
Инквизиция сжигала
Не таких ли на кострах?»

И при всем честном народе
(Мало лиц и много рыл) —
«Полно, ваше благородье! —
Уленспигель говорил. —

Не глядите столь ощерясь,
Велика ль моя вина?
Злая Лютерова ересь
Не в бутылке же вина?»

Но когда, забывшись с милкой,
Ник шпион к ее ушку,
Звонко падала бутылка
На проклятую башку.

III

С дудкой, с бубном, с арбалетом,
Полон юношеских сил,
То солдатом, то поэтом
Уленспигель колесил.

Он шагал землю фландрской
Без герольда и пажы,
Но ему Вильгельм Оранский
Руку грубую пожал.

Скупомолвил Молчаливый,
Ус косматый теребя:
«Бог, к поэтам справедливый,
Ставит рыцарем тебя!»

Шляпу огненного фетра
Скинул парень не спеша:
«Я — не рыцарь, ваша светлость,
Я — народная душа!

Буря злится, буря длится,
Потопляет берега, —
Правь победу, честный рыцарь,
Опрокидывай врага.

Нету жребия чудесней,
И сиять обоим нам,
Если ж требуются песни,
Прикажи — я песни дам».

IV

Гей, палач, не жди, не мешкай,
Завивай покрепче жгут:
С истребляющей усмешкой
Уленспигели идут.

Кровь на дыбе — ей точило,
На кострах — ее закал,
Бочке с порохом вручила
Огневой она запал:

— На! Довольно прятать силу,
Львистым пламенем взыграй:
Верных чествуй, слабых милуй,
Угнетающих карай.

Пусть рычат — не верьте в гибель:
Не на вас — на них гроза...
И хохочет Уленспигель
В узколобые глаза:

«Поединка просит сердце,
Маски кротости — долой...
Герцог Альба, черный герцог,
Ты со шпагой, я — с метлой!»

Пил и пил. Рубил. Обедал.
Громоздился на осла.
И веселая победа
Уленспигеля несла.

V

Уленспигель, Уленспигель,
Не всегда ли с той поры
Ты спешишь туда, где гибель,
Палачи и топоры?

И от песен на пирушке,
От гулянок, ассамблей
С фитилем подходишь к пушке
На восставшем корабле.

Меткой шуткой ободряешь,
Покачаешь головой —
И, как искра, вдруг взрываешь
Весь запас пороховой.

Так. Живая сила ищет
Бега. Уровни растут.
У плотины встанет сыщик
И каноник встанет тут.

Но, как знамя, светит гезам
Пламенеющий берет:
— Никаким не верь угрозам,
Для бессмертных смерти — нет!

Где ты нынче? В песнях, в книге ль
Только твой победный знак?
Где ты, тощий Уленспигель,
Толстый Ламе Гоодзак?

В СОЧЕЛЬНИК

Нынче ветер с востока на запад,
И по мерзлой маньчжурской земле
Начинает поземка царапать
И бежит, исчезая во мгле.

С этим ветром холодным и колким,
Что в окно начинает стучать,
К зауральским серебряным елкам
Хорошо бы сегодня умчать.

Над российским простором промчатся,
Рассекая метальную высь,
Над какой-нибудь Вяткой иль Гжатском,
Над родною Москвой пронестись.

И в рождественский вечер послушать
Трепетание сердца страны,
Заглянуть в непокорную душу,
В роковые ее глубины.

Родников ее недрут не выскреб:
Не в глуши ли болот и лесов
Загораются первые искры
Затаенных до срока скитов.

Как в татарщину, в годы глухие,
Как в те темные годы, когда
В дыме битв зачиналась Россия,
Собирала свои города.

Нелюдима она, невидима,
Темный бор замыкает кольцо.
Закрывает бесстрастная схи́ма
Молодое худое лицо.

Но и ныне, как прежде когда-то,
Не осилить Россию беде,
И запавшие очи подняты
К золотой Вифлеемской звезде.

КАСЬЯН И МИКОЛА

Призвал Господь к престолу
В чертогах голубых
Касьяна и Миколу —
Угодников своих.

Спеша на Божий вызов,
Дороден и румян,
В блистающие ризы
Украсился Касьян.

Пришел — и очи долу.
Потом заговорил:
«Почто, Творец, Миколу
Ты столько возлюбил?..

Я с просьбишкою ныне
К стопам Твоим гряду:
Он дважды именинник,
А я лишь раз в году.

За что такие ласки —
Ответить пожелай...»
...Подходит в старой ряске
Святитель Николай.

И с отческой усмешкой
Спросил его Благой:
«Ты почему замешкал,
Угодник дорогой?

Какое Божье дело
Ты на земле творил?»
Взглянул святой несмело
И так заговорил:

«Архангел кликал звонко,
Услышал я, иду,
Да русский мужичонка,
Гляжу, попал в беду.

Дрова он воеводе
Спешил доставить в срок
Да на тряске-болоте
И увязил возок.

И мужичонка серый,
Российский человек,
Ко мне с великой верой
В мольбе своей прибег.

Я что ж... из топи тряской
Я вызволил возца.

Прости уж, что на ряске
Землица и грязца.

Твоя велика милость, –
Помедлил я приказ...»
Но звездно покатилась
Слеза из Божьих глаз.

С тишайшей лаской голос
Сказал с престола сил:
«Ты вот как мне, Микола,
Поступком угодил.

Ты с Арием был строгий,
Но ласков с мужичком, –
Отри ж, святитель, ноги
Хоть этим облачком...

Тебе ж, – с прискорбьем очи
Повел к Касьяну Бог, –
Не сделаю короче
Твой именинный срок.

Спесив, как воевода,
Ты сердцем не смирен!..»
И раз в четыре года
Стал именинник он.

БЕЛАЯ ФЛОТИЛИЯ

(Харбин, 1942)

* * *

Сыплет небо щебетом
Невидимок-птах,
Корабли на небе том
В белых парусах.

Важные, огромные,
Легкие, как дым, —
Тянут днища темные
Над лицом моим.

Плавно, без усилия,
Шествует в лазурь
Белая флотилия
Отгремевших бурь.

* * *

Ветер обнял тебя. Ветер легкое платье похитил.
Растворяется ткань и трепещет крылом позади.
Так, вот именно так Галатею изваял Пракситель,
В грациозном испуге поднявшую руки к груди.

Ветер-хищник сорвал с твоих губ нерасцветшее слово
(Так срывается звук с пробужденных внезапно кефар)
И понесся, помчал, поскакал по долине лиловой,
Словно нимфу несущий, счастливый добычей кентавр.

Я тебя не узнал или ты превращаешься в птицу?
Эти тонкие руки и голоса острый призыв!
Через тысячу лет повторилась, Овидий, страница
Изумительной книги твоей, повторилась, ожив!

«Удивляться зачем! — прозвенел возвратившийся ветер. —
Недоверчив лишь трус или тот, кто душою ослеп:
Не на тех ли конях, что и в славном Назоновом веке,
В колеснице златой к горизонту спускается Феб?»

Даже ваш самолет повторяет лишь крылья Дедала,
Только бедный Икар каучуковым шлемом оброс.
На Олимпе снега. Тростниковая песнь отрывдала,
Но не прервана цепь окрыляющих метаморфоз!»

Ветер отдал тебя. Не унес, не умчал, не обидел.
Крылья падают платьем. Опять возвратились глаза.
Возвращается голос. Запомни же имя: Овидий.
Это римский поэт, это бронзовых строк голоса.

ЭНЕЙ И СИВИЛЛА

Из подземного царства Эней возвращался с сивиллой.
Путь обратный, опасный во тьме совершали они.
У своей провожатой Эней спросил благодарный:
«Ты богиня иль только любимица вечных богов?»

В знак признательности за свидание с тенями предков
Обещал он воздвигнуть сивилле на родине храм,
Но, глубоко вздохнув, отвечала сивилла печально,
Чтобы доблестный муж за богиню ее не считал.

«В пору юности я приглянулась прекрасному Фебу,
За ответный порыв он мне вечную жизнь обещал,
Но, не веря в успех, — продолжала рассказ свой сивилла, —
И подарками бог попытался меня соблазнить.

Горстку пыли схватив, я шутиливо ему отвечала:
Пусть мне столько прожить, сколько будет пылинок в горсти.
Но забыла, шая, попросить благосклонного бога,
Чтоб на столько же лет он продлил бы и юность мою.

Правда, Феб говорил, что мою он исправит ошибку,
Если в миртовой мгле я, не медля, отдамся ему...
Я отвергла его — и, рассерженный, гневный, навеки
Он ушел от меня. Это было семьсот лет назад!

И еще триста жатв — ровно тысяча было пылинок —
Я увижу, Эней, на родимых, любимых полях,
Налюбуюсь еще триста раз я на сбор винограда,
Но и в этих годах я уже начинаю стареть.

И высокий мой рост скоро дряхлая старость уменьшит,
Грудь иссушит мою, спину мерзким горбом поведет,
И поверит ли кто, что была я когда-то любима
Светодавцем самим, — да и он не узнает меня!

И не тронет судьба только мой предвещающий голос,
До последнего дня буду радовать им и страшить...»
И сивилла умолкла. Молчал утомленный троянец.
И покатою дорогой они продолжали свой путь.

* * *

Ушли квириты, надышавшись вздором
Досужих сплетен и речами с ростр, —
Тень поползла на опустевший Форум.
Зажглась звезда, и взор ее был остр.

Несли рабы патриция к пенатам
Друзей, позвавших на веселый пир.
Кричал осел. Шла девушка с солдатом.
С нимфеи улыбался ей сатир.

Палач пыгал раба в карнифицине.
Выл пес в Субуре, тощий как шакал.
Со стойком в таберне спорил циник.
Плешивый цезарь юношу ласкал.

Жизнь билась жирной мухой в паутине
Трепещущей. Жизнь жаждала чудес.
Приезжий иудей на Авентине
Шептал, что Бог был распят и воскрес.

Священный огонь на Вестинном престоле
Ослабевал, стелился долу дым,
И боги покидали Капитолий,
Испуганные шепотом ночным.

СОТНИК ЮЛИЙ

Отдали Павла и некоторых других
узников сотнику Августова
полка именем Юлий.

От Аппиевой площади и к Трем
Гостиницам, — уже дыханье Рима
Над вымощенным лавою путем...
Шагай, центурион, неутомимо!

Веди отряд и узников веди,
Но, скованы с солдатами твоими,
Они без сил... И тот, что впереди,
Твое моляще повторяет имя.

И он его столетьям передаст,
Любовно упомянутое в Книге, —
Так пусть же шаг не будет слишком част,
Не торопи солдатские калиги.

Бессмертье ныне получаешь ты,
Укрытый в сагум воин бородатый:
Не подвига — ничтожной доброты
Потребовало Небо от солдата,

Чтоб одного из ищущих суда
У кесаря, и чье прозвание — Павел,
Ты, озаренный Павлом навсегда,
На плаху в Рим еще живым доставил!

ХРИСТИАНКА

В носильном кресле, как на троне,
Плывет патриций... Ах, гордец!
Быть может, это сам Петроний
Спешит на вызов во дворец.

Не то — так в цирк или на Форум,
Пути иные лишь рабам!
И он скользит надменным взором
По расступающимся лбам.

Но чьи глаза остановили
Ленивый взор его, скажи?
Вольноотпущенница или
Служанка знатной госпожи.

Заметил смелый взор патриций,
И он кольнул его не так,
Как насурьмленные ресницы
Порхающих под флейты птах.

О нет, еще такого взора
Он не видал из женских глаз.
Спешить к тунике бирюзовой!
Он руку поднял — и погас:

Исчезло дивное виденье,
Толпой кипящей сметено,
Но всё звенит, звенит мгновенье —
Незабываемо оно!

Ему не может быть измены;
Пусть, обвинен клеветником,
Патриций завтра вскроет вены,
Но он — он думает о нем,

О ней, дохнувшей новой силой
В глаза усталые его, —
О деве, по-иному милой,
Не обещавшей ничего.

Но где ж она? В высоких славах
Она возносится, легка:
Она погибла на кровавых
Рогах фарнезского быка!

НЕРАЗДЕЛЕННОСТЬ

Еще сиял огнями Трианон,
Еще послов в торжественном Версале
Король и королева принимали, —
Еще незыблемым казался трон.

И в эти дни на пышном маскараде,
Среди цыганок, фавнов и химер,
Прелестнице в пастушеском наряде
Блестящий был представлен кавалер.

Судьба пастушке посылала друга, —
Одна судьба лишь ведала о том,
Что злые силы собирает вьюга
Над мирным Трианоновским дворцом;

Что все утехи отпылают скоро,
Что у пастушки в некий день один —
Единственной останется опорой
Вот этот скандинавский дворянин;

Что смерть близка и тенью ходит рядом,
Что слезы жадно высушит тюрьма,
А дворянин глядел спокойным взглядом,
Бестрепетным, как преданность сама.

Шептались справа и шептались слева,
Но, как в глубинах голубых озер,
В его глазах топила королева
Свой восхищенный и влюбленный взор.

Пришли года, чужда была им милость.
Взревела буря, как безумный зверь,
Но в Тюльери, где узница томилась,
Любовь открыла потайную дверь.

И в ночь, в канун, суливший гильотину,
Перед свечой, уже в лучах зари,
Послала королева дворянину
Привет последний из Консьержери.

В чудесной нераздельности напева
Закончили они свой путь земной:
Казненная народом королева
И дворянин, растерзанный толпой.

БЕАТРИЧЕ

В то утро – в столетьи котором,
Какой обозначился век! –
Подросток с опущенным взором
Дорогу ему пересек.

И медленно всплыли ресницы,
Во взор погружается взор –
Лучом благодатной денницы
В глубины бездонных озер.

Какие утишились бури,
Какая гроза улеглась
От ангельской этой лазури
Еще не разбуженных глаз?

Всё солнце, всё счастье земное
Простерло объятья ему
Вот девочкой этой одною,
Сверкнувшей ему одному.

Не к бурям, не к безднам и стужам
Вершин огнеликих, а стать
Любимым и любящим: *мужем*,
Спокойную участь достать!

Что может быть слаще, чудесней,
Какой голубой водоем,
Какие красивые песни
Споет он о счастье своем!

О жалкая слабость добычи
Судьбы совершенно иной!..
И Небо берет Беатриче,
Соблазн отнимая земной.

И лучшие песни – могиле,
И сердце черно от тоски,
Пока не коснется Вергилий
Бессильно упавшей руки.

Пока, торжествуя над адом,
С железною силой в крови,
Не встретится снова со взглядом
Своей величайшей любви!

ФЛЕЙТА И БАРАБАН

У губ твоих, у рук твоих... У глаз,
В их погребках, в решетчатом их вырезе —
Сияние, молчание и мгла,
И эту мглу — о светочи! — не выразить.

У глаз твоих, у рук твоих... У губ,
Как императорское нетерпение,
На пурпуре, сияющем в снегу, —
Закристаллизовавшееся пение!

У губ твоих, у глаз твоих... У рук, —
Они не шевельнулись, и осилили,
И вылились в согласную игру:
О лебеде, о Лидии и лилии!

На лыжах звука, но без языка,
Но шепотом, горя, и в смертный час почти
Рыдает сумасшедший музыкант
О Лидии, о лилии и ласточке!

И только медно-красный барабан
В скольжении согласных не участвует,
И им аккомпанирует судьба:

- У рук твоих!
- У губ твоих!
- У глаз твоих!

* * *

Глаз таких черных, ресниц таких длинных
Не было в песнях моих,
Лишь из преданий Востока старинных
Знаю и помню о них.

В царственных взлетах, в покорном падении —
Пение вечных имен...
«В пурпур красавицу эту оденьте!»
Кто это? — Царь Соломон!

В молниях славы, как в кликах орлиных,
Царь. В серебре борода.
Глаз таких черных, ресниц таких длинных
Он не видал никогда.

Мудрость, светильник, не гаснувший в мифе,
Мощь, победитель царей,
Он изменил бы с тобой Суламифи,
Лучшей подруге своей.

Ибо клялись на своих окаринах
Сердцу царя соловьи:
«Глаз таких черных, ресниц таких длинных
Не было...» Только твои!

РАЗРЫВ

Ф. Н. Кондратьеву

Бровей выравнивая дуги,
Глядясь в зеркальное стекло,
Ты скажешь ветреной подруге,
Что всё прошло, давно прошло;

Что ты иным речам внимаешь,
Что ты под властью новых встреч,
Что ты уже не понимаешь,
Как он сумел тебя увлечь;

Что был всегда утрюм и нем он,
Печаль, как тень свою, влача...
И будто лермонтовский Демон
Глядел из-за его плеча...

С ним никогда ты не смеялась,
И если ты бывала с ним,
То лишь томление и жалость
Владели голосом твоим.

Что снисходительности кроткой
Не можешь ты отдаться вся,
Что болью острой, но короткой
Разрыв в душе отозвался.

Сверкнув кольцом, другою бровью
Рука займется не спеша,
Но, опаленная любовью,
Не сможет лгать твоя душа!

И зазвенит она от зова,
И всю ее на миг один
Наполнит некий блеск грозовый
До сокровеннейших глубин.

И вздрогнешь резко и невольно,
К глазам поднимется платок,
Как будто вырван слишком больно
Один упрямый волосок.

СНЫ

За то, что ты еще не научилось
Покою озаряющей любви,
О, погружайся, сердце-Наутилус,
К таинственному острову пльви!

Ни возгласов, ни музыки, ни чаек.
Лишь крест окна, лишь, точная всегда,
Секунду погруженья отмечает
Серебряно-лучистая звезда.

И тонет мир... Светящийся, туманный,
Как облако, всплывает надо мной.
Последний всплеск, последняя команда —
Я в вашей власти, капитан Немо!

Как сладко жить блужданиями ночными,
Как сладко знать, что есть бесценный клад
Ночных путей, что утро не отнимет,
Не опрокинет выплаканных клятв!

Что даже если сердце отреклось бы —
Назавтра, в те же самые часы,
Как рыбий глаз, засветит папироса
И двигателем застучат часы.

К окну прихлынет сумрак синеглазый,
Заплещет шторы пробужденный ласт,
И капитан в скафандре водолаза
Приблизится и руку мне подаст!

ВЕРОНАЛ

Ступив, ступает маятник,
Как старец в мягких туфлях:
Убегался — умаялся —
Рукой за сердце — рухнет.

Комар ослепший кружится,
Тончайший писк закапал.
Серебряною лужицей
Луна ложится на пол.

И чтобы выместь, вытолкать
Туманность лунной пыли,
Обмахивают притолку
Лучом автомобиля.

И луч, как некий радиус,
Промчит дугу и сгинет,
И, засыпая, радуюсь
Его визитам синим.

Но вот и гостя синего
Встречает дрема суше,
Зачеркивая минимум
Души: глаза и уши.

Еще мгновенья менее,
Не миг — его осколок,
И ты, Исчезновение,
Задернешь синий полог.

ПАМЯТЬ

Тревожат память городов
Полузабытые названия:
Пржемысль, Казимерж, Развадов,
Бои на Висле и на Сане...

Не там ли, с сумкой полевой
С еще не выгоревшим блеском,
Бродил я, юный и живой,
По пахотам и перелескам?

И отзвук в сердце не умолк
Тех дней, когда с отвагой дерзкой
Одиннадцатый гренадерский
Шел в бой Фанагорийский полк! —

И я кричал и цепи вел
В просторах грозных, беспредельных,
А далеко белел костел,
Весь в круглых облачках шрапнельных...

И после дымный был бивак,
Костры пожарищами тлели,
И сон, отдохновенья мрак,
Души касался еле-еле.

И сколько раз, томясь без сна,
Я думал, скрытый тяжкой мглою,
Что ты, последняя война,
Грозой промчишься над землею.

Отгромыхает краткий гром,
Чтоб никогда не рывкать больше,
И небо в блеске голубом
Над горестной почиет Польшей.

Не уцелеем только мы —
Раздавит первых взрыв великий!..
И утвердительно из тьмы
Мигали пушечные блики.

Предчувствия и разум наш,
Догадки ваши вздорней сплетни:
Живет же этот карандаш
В руке пятидесятилетней!

Я не под маленьким холмом,
Где на кресте исчезло имя,
И более ужасный гром
Уже хохочет над другими!

Скрежещет гусеничный ход
Тяжелой танковой колонны,
И глушит, как и в давний год,
И возглас мужества, и стоны!

27 АВГУСТА 1914 ГОДА

Медная, лихая музыка играла,
Свеян трубачами, женский плач умолк.
С воинской платформы Брестского вокзала
Провожают в Польшу фанаторийский полк!

Офицеры стройны, ушки на макушке,
Гренадеры ладны, точно юнкера...
Классные вагоны, красные теплушки,
Машущие руки, громкое ура.

Дрогнули вагоны, лязгают цепями,
Ринулся на запад первый эшелон.
Желтые погоны, суворовское знамя,
В предвкушеньи славы каждое чело!

Улетели, скрылись. Точечкой мелькает,
Исчезает, гаснет красный огонек...
Ах, душа пустая, ах, тоска какая,
Возвратишься ль снова, дорогой дружок!

Над Москвой печальной ночь легла сурово,
Над Москвой усталой сон и тишина.
Комкают подушки завтрашние вдовы,
Голосом покорным говорят: «Война!»

ПОДАРОК

Я сидел в окопе. Шлык башлычный
Над землей замерзшею торчал.
Где-то пушка взъахивала зычно
И лениво пулемет стучал.

И рвануло близко за окопом,
Польхнуло, озарив поля.
Вместе с гулом, грохотом и топом
На меня посыпалась земля.

Я увидел, от метели колкой
Отряхаясь, отерев лицо,
Что к моим ногам упала елка —
Вырванное с корнем деревцо.

Ухмыляясь: «Вот и мне подарок!
Принесу в землянку; что ж, постой
В изголовьи, чтобы сон был ярок,
Чтобы пахло хвоей под землей».

И пополз до черного оврага,
Удивляясь, глупый человек,
Почему как будто каплет влага
С елочки на пальцы и на снег.

И принес. И память мне не лгунья,
Выдумкой стишок не назови:
Оказалась елочка-летунья
В теплой человеческой крови!

Взял тогда Евангелье я с полки,
Как защиту... ужас душу грыз!
И сияли капельки на елке,
Красные, как спелый барбарис.

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Шла на позицию рота солдат,
Аэропланы над нею парят.
Бомбу один из них метко кидал
И в середину отряда попал.

Недалеко же ты, рота, ушла —
Вся до единого тут полегла!
Полголовы потерял капитан,
Мертв барабанщик, но цел барабан.

Встал капитан — окровавленный встал! —
И барабанщику встать приказал.
Поднял командую, точно в бою,
Мертвый, он мертвую роту свою!

И через поля кровавую топь
Под барабана зловещую дробь
Тронулась рота в неведомый край,
Где обещают священники рай.

Строго, примерно равнение рядов...
Тот без руки, а другой — безголов,
А для безногих и многих иных
Ружья скрестили товарищи их.

Долго до рая, пожалуй, идти —
Нет на двухверстке такого пути;
Впрочем, без карты известен маршрут, —
Тысячи воинов к раю бредут!

Скачут верхами, на танках гремят,
Аэропланы туда же летят,
И салютует мертвец мертвцу,
Лихо эфес поднимая к лицу.

Вот и чертоги, что строились встарь,
Вот у ворот и согбенный ключарь.
Старцы-подвижники, посторонись, —
Сабли берут офицеры подвысь.

И рапортует запекшимся ртом:
«Умерли честно в труде боевом!»

ЭПИЗОД

След оставляя пенный,
Резво умчалась мина.
Сломанный, как игрушка,
Крейсер пошел ко дну.

Выплыла на поверхность
Серая субмарина
И рассекает гордо
Маленькую волну.

Стих, успокоен глубиью,
Водоворот воронки.
Море разжало скулы
Синих глубин своих.

Грозно всплывают трупы,
Жалко плывут обломки,
Яростные акулы
Плещутся между них.

Гибель врага лихого
Сердцу всегда любезна:
Нет состраданью места —
Участь одна у всех!..

Радуются матросы,
И на спине железной
Рыбы железной этой —
Шутки, гармошка, смех.

Но загудел пропеллер —
Мчится стальная птица,
Бомба назревшей каплей
В лапе ее висит.

Лодка ушла в пучину
И под водой таится,
Кружит над нею птица,
Хищную тень следит.

Бомба гремит за бомбой;
Словно киты, фонтаны
Алчно они вздымают,
Роят и глубь, и дно...

Ранена субмарина,
И из разверстой раны
Радужное всплывает
Масляное пятно.

Море пустынно. Волны
Ходят неспешным ходом,
Чайки, свистя крылами,
Стонут со всех сторон...

Кто-то светловолосый
Тихо идет по водам,
Траурен на зеленом
Белый Его хитон.

В ЗАТОНУВШЕЙ СУБМАРИНЕ

Облик рабский, низколобый
Отрыгнет поэт, отринет:
Несгибаемые души
Не снижают свой полет.
Но поэтом быть попробуй
В затонувшей субмарине,
Где ладонь свою удушье
На уста твои кладет.

Где за стенкою железной
Тишина подводной ночи,
Где во тьме, такой бесшумной, —
Ни надежд, ни слез, ни вер,
Где рыдания бесполезны,
Где дыханье всё короче,
Где товарищ твой безумный
Поднимает револьвер.

Но прекрасно сердце наше,
Человеческое сердце:
Не подобие ли Бога
Повторил собой Адам?
В этот бред, в удушный кашель
(Словно водный свод разверзся)
Кто-то с ласковостью строгой
Слово силы кинет нам.

И не молния ли это
Из надводных, наднебесных,
Надохваченных рассудком
Озаряющих глубин, —

Вот рождение поэта,
И оно всегда чудесно,
И под солнцем, и во мраке
Затонувших субмарин.

В ЭТОТ ДЕНЬ

В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.

В этот день в его мятежном шуме
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки!

В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день... одни городовые
С чердаков вступились за режим!

В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди.
В этот день Царица прижимала
Руки к холодеющей груди.

В этот день в посольствах шифровали
Первой сводки беглые кроки,
В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги.

В этот день... Довольно, Бога ради!
Знаем, знаем — надломилась ось:
В этот день в отправшем Петрограде
Мощного героя не нашлось.

Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днем начался русский гон, —
В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон.

Вопрошает совесть, как священник,
Обличает Мученика тень...
Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день!

ЦАРЕУБИЙЦЫ

Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.

Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но послали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?

Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься —
Государя не отстоять?

Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными — сто сорок
Миллионов себя звало.

Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни, —
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни.

И один ли, одно ли имя —
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.

И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ты, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!

КОГО ВИНИТЬ

Камер-юнкер. Сочинитель.
Слог весьма живой.
Гениален? «Извините!» —
Фыркнет Полевой.

И за ним Фаддей Булгарин
Разожмет уста:
«Гениален? Он бездарен,
Даже скучен стал!»

Каждый хлыщ, тупица явный
Поучать готов,
А Наталья Николавна —
Что ей до стихов?

Напряженно сердцем замер,
Уловив слова:
«Наградили!.. Пушкин — камер...
Юнкер в тридцать два!»

И глядел, с любым балбесом
Ровен в том углу,
Как Наташа шла с Дантесом
В паре на балу.

Только ночь — освобожденье:
Муза, слаще пой!
Но исчеркает творенье
Карандаш тупой.

И от горькой чаши этой
Бегство: пистолет.
И великого поэта
У России нет.

И с фельдъегерем в метели
Мчится бедный гроб...
Воят волки, стонут ели
И визжит сугроб.

За столетье не приснится
Сна страшнее... Но
Где ж убийца, кто убийца?
Ах, не всё ль равно!

БОЖИЙ ГНЕВ

Город жался к берегу домами,
К морю он дворцы и храмы жал.
«Убежать бы!» — пыльными устами
Он вопил, и всё ж — не убежал!

Не успел. И, воскрешая мифы,
Заклубилась, почернела высь, —
Из степей каких-то, точно скифы,
Всадники в папахх ворвались.

Богачи с надменными зобами,
Неприступные, что короли,
Сбросив спесь, бия о землю лбами,
Сами дочерей к ним повели.

Чтобы те, перечеркнувши участь,
Где крылатый царствовал божок,
Стаскивали б, отвращеньем мучась,
Сапожища с закорузлых ног.

А потом, раздавлены отрядом,
Брошены на липкой мостовой,
Упирались бы стеклянным взглядом,
Взглядом трупов в купол голубой!

А с балкона, расхлебяснув ворот,
Руку положив на ятаган,
Озирал раздавленный им город
Тридцатитрехлетний атаман...

Шевелил он рыжими усами,
Вглядывался, слушал и стерег,
И присевшими казались псами
Пулеметы у его сапог.

Так, возвращенный всяческим посевом
Сытых ханжеств, векового зла,
Он упал на город Божьим гневом,
Молнией, сжигающей дотла!

В НИЖНЕУДИНСКЕ

День расцветал и был хрустальным,
В снегу скрипел протяжно шаг.
Висел над зданием вокзальным
Беспомощно нерусский флаг.

И помню звенья эшелона,
Затихшего, как неживой,
Стоял у синего вагона
Румяный чешский часовой.

И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг на миг в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.

Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них – Его черта,

Та складка боли, напряженья,
В которой роковое есть...
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.

И этот жест в морозе лютом,
В той перламутровой тиши
Моим последним был салютом,
Салютом сердца и души!

И он ответил мне наклоном
Своей прекрасной головы...
И паровоз далеким стоном
Кого-то звал из синевы.

И было горько мне. И ковно
Перед вагоном скрипнул снег:
То с наклоненною винтовкой
Ко мне шагнул румяный чех.

И тормоза прогрохотали,
Лязг приближался, пролетел...
Умчали чехи Адмирала
В Иркутск – на пытку и расстрел!

ЖЕНА

От редких пуль, от трупов и от дыма
Развалин, пожираемых огнем,
Еще Москва была непроходима...
Стал падать снег. День не казался днем.

Юбку подбирала,
Улицы перебегала,
Думала о нем...

Он руки вымыл. Выбрислся. Неловко
От штатского чужого пиджака...
Четыре ночи дергалась винтовка
В его плече. Он вздрогнул от звонка.

Сердце одолела,
Птичкой рядом села,
Молода, легка!..

Он чертыхался. Жил еще Арбатом.
Негодовал, что так не повезло.
А женщина на сундуке горбатом
Развязывала узелок.

Мясо и картошка...
Ты поешь немножко,
Дорогой дружок!

Он жадно ел. И веселел. Красивый,
За насыщеньем увлеченно-нем.
Самозабвенный и себялюбивый,
Безжалостный к себе, к тебе, ко всем!

Головой прижалась,
Жалобно ласкалась...
Завтра — где и с кем?

Прощались ночью. Торопливо обнял.
Не слушал слов. В глаза не заглянул.
Не оглянулся. Тлела, как жаровня,
Москва... И плыл над ней тяжелый гул.

Знали, что навеки...
Горы, доли, реки, —
Словно потонул!

Прогромыхало, прошуршало столько
Годов, годин!.. Стал беспокоен взгляд.
Он вспоминает имя: «Стаха, полька...
Вы знаете, я тоже был женат».

Борода седая...
«Где ж она?» — «Не знаю.
И была ль она!..»

МОИМ СУДЬЯМ

Часто снится: я в обширном зале...
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.

Сяду, встану — много раз поднимут
Господа в мундирах за столом.
Все они с меня покровы снимут,
Буду я стоять в стыде нагом.

Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою тряхти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом, как червяка, раздавят
Тысячепудовым: *расстрелять!*

Заторопит конвоир: «Не мешкай!»
Кто-нибудь влогонку крикнет: «Гад!»

С никому не нужною усмешкой
Подниму свой непокорный взгляд.

А потом — томительные ночи
Обступившей непроломной тьмы.
Что длиннее, но и что короче
Их, рожденных сумраком тюрьмы.

К надписям предшественников имя
Я прибавлю горькое свое.
Сладостное: «Боже, помяни мя»
Выскоблит тупое острие.

Всё земное отжену, оставлю,
Стану сердцем сумрачно-суров
И, как зверь, почувствовавший травлю,
Вздоргну на залязгавший засов.

И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!

ПОТОМКУ

Иногда я думаю о том,
На сто лет вперед перелетая,
Как, раскрыв многоречивый том
«Наша эмиграция в Китае»,
О судьбе изгнанников печальной
Юноша задумается дальний.

На мгновенье встретятся глаза
Сущего и бывшего: котомок,
Страннических посохов стезя...
Скажет, соболезнуня, потомок:

«Горек путь, подслеповат маяк,
Душно вашу постигать истому.
Почему ж упорствовали так,

Не вернулись к очагу родному?»
Где-то упомянут — со страницы
Встану. Выжду. Подниму ресницы:

«Не суди. Из твоего окна
Не открыты канувшие дали:
Годы смыли их до волокна,
Их до сокровеннейшего дна
Трупами казненных закидали!

Лишь дотла наш корень истребя,
Грозные отцы твои и деды
Сами отказались от себя,
И тогда поднялся ты, последыш!

Вырос ты без тюрем и без стен,
Чей кирпич свинцом исковыряли,
В наше ж время не сдавались в плен,
Потому что в плен тогда не брали!»

И не бывший в яростном бою,
Не ступавший той стезей неверной,
Он усмешкой встретит речь мою
Недоверчиво-высокомерной.

Не поняв друг в друге ни аза,
Холодно разъединим глаза,
И опять — года, года, года,
До трубы Последнего суда!

ЦВЕТОК

Есть правда у цветов, у птиц, у облаков, —
Вот маленький рассказ из глубины веков:

В Испании священный трибунал
Одной маранки дело разбирал,
Что будто бы, хотя и крещена,
Всё к Моисею тянется она,
И так, крестясь, показывал сосед:
Усердья к мессе у маранки нет.
И, прокурора выслушавши речь,
Два старца в рясах присудили: сжечь.

Но третий медлил... Был он тоже строг,
Но в пальцах у него синел цветок,
Что из окна к ногам его упал,
Когда он шел в священный трибунал.

Немало знал монах латинских слов,
Но позабыл он имена цветов,
Лет пятьдесят уж, люди говорят,
Он не вдыхал их нежный аромат.

И он цветок в судилище принес,
И всё склонял к нему орлиный нос,
И даже, ранен красотой цветка,
Он целовал его исподтишка.

И братья-инквизиторы к нему
Поворотились разом: почему,
Всегда ретив, достопочтенный брат
Сегодня медлит, думую объят?

И только тут монах мечту спугнул
И строго на преступницу взглянул.

Она была еще совсем юна,
Как стебелек тонка была она,
И увенчал непрочный стебелек
Прелестной, гордой головы цветок.

Как две стихии встретились глаза —
Застенков мгла и неба бирюза,
И победила нежная лазурь
Тьму всех ночей и молнии всех бурь;
Глаза глазам ответ послали свой:
«Я не сожгу тебя, цветок живой!»

И самый старший, главный между трех,
Он на костер маранку не обрек,
На этот раз костер не запылал,
Но сам монах покинул трибунал:
Почувствовавший, как красив цветок,
Он и людей уже сжигать не мог.

Любите птиц, любите облака,
Недолговечную красу цветка,
Крылатость, легковейность, аромат
И только тех, что всё и всех шадят!

ЛАМОЗА

Синеглазый и светлоголовый,
Вышел он из фанзы на припек.
Он не знал по-нашему ни слова,
Объясниться он со мной не мог.

Предо мною с глиняною кружкой
Он стоял, — я попросил воды, —
Пасынок китайской деревушки,
Сын горчайшей беженской беды!

Как он тут? Какой семьи подкидыш?
Кто его купил или украл?
Бедный мальчик, тайну ты не выдашь,
Ведь уже ты китайчонком стал!

Но пускай за возгласы: *ламоза!*
(Обращенные к тебе, ко мне)
Ты глядишь на сверстников с угрозой —
Всё же ты светлоголов и розов
В их черноголовой желтизне.

В этом — горе всё твое тaitся:
Никогда, как бы ни нудил рок,
С желтым морем ты не сможешь слиться,
Синеглазый русский ручеек!

До сих пор тревожных снов рассказы,
Размыкая некое кольцо,
Женщины иной, не узкоглазой,
Приближают нежное лицо.

И она меж мигами немыми
Вдруг, как вызов скованной судьбе,
Русское твое прошепчет имя,
Непонятное уже тебе!

Как оно: Сережа или Коля,
Витя, Вася, Миша, Леонид, —
Пленной птицей, задрожав от боли,
Сердце задохнется, зазвенит!

Не избегнуть участи суровой —
Жребий вынут, путь навеки дан,
Синеглазый и светлоголовый,
Милый, бедный русский мальчуган!

Долго мы смотрели друг на друга...
Побежденный, опуская взгляд,
Вышел я из сомкнутого круга
Хохотавших бритых китайчат.

В ЛОДКЕ

Руку мне простреленную ломит,
Сердце болью медленной болит.
«Оттого, что падает барометр», —
С весел мне приятель говорит.

Может быть. Вода синее хмуро,
Неприятной сделалась она.
Как высоко лодочку маньчжура
Поднимает встречная волна.

Он поет. «К дождю поют китайцы», —
Говоришь ты: есть на всё ответ.
Гаснет запад, точно злые пальцы
Красной лампы убавляют свет.

Кто сказал, что ласкова природа?..
Только час — и нет ее красот.
Туча с телом горбуна-урода
Наползает и печаль несет.

Ничего природы нет железней:
Из просторов кратко-голубых
Вылетают грозные болезни,
Седина — страшнейшая из них.

«Мудрость кротко принимает это,
Непокорность — сердца благодать».
Юнкер Шмитт хотел из пистолета
Застрелиться, можешь ты сказать.

Прописей веселых и угрюмых
Я немало сам найти могу,
Но смотри, какая боль и дума
В дальнем огоньке на берегу.

Как он мал, а тьма вокруг огромна,
Как он слаб и как могуча ночь,
Как ее безглазость непроломна,
И ничем ее не превозмочь!

Только ночь, и ничего нет кроме
Этой боли и морщин на лбу...
Знаю, знаю — падает барометр!
Ну, давай, теперь я погребу.

* * *

I

Ночью думал о том, об этом,
По бумаге пером шурша,
И каким-то болотным светом
Бледно вспыхивала душа.

От табачного дыма горек
Вкус во рту. И душа мертва.
За окном же весенний дворик,
И над двориком — синева.

Зыбь на лужах подобна крупам
Бриллиантовым — глаз рябит.
И задорно над сердцем глупым
Издеваются воробьи.

II

Печью истопленной воздух согрет.
Пепел бесчисленных сигарет.
Лампа настольная. Свет ее рыж.
Рукопись чья-то с пометкой: Париж.

Лечь бы! Чтоб рядом, кругло, горячо,
Женское белое грело плечо,
Чтобы отрада живого тепла
В эти ладони остывшие шла.

Связанный с тысячью дальних сердец,
Да почему ж я один, наконец?
Участь избранника? Участь глупца?..
Утро в окне, как лицо мертвеца.

НА РАССВЕТЕ

Мы блуждали с тобой до рассвета по улицам темным,
И рассвет засерел, истончив утомленные лица.
Задымился восток, заалел, как заводская домна,
И сердца, утомленные ночью, перестали томиться.
Повернувшийся ключ отрезвонил замочком прабабки,
Замыкавшим ларец, где хранятся заветные письма,
Где еще сохраняется запах засушенной травки,
Серый запах цветка, бледно-розовый — нежности, мысли.
Я тебя целовал. Ты меня отстранила спокойно.
В жесте тонкой руки почему королевская властность?
Почему в наши души вошла музыкальная стройность
Стихотворной строки, победившая темную страстность.
Было таинство счастья. На его изумительном коде
Прозвенели слова, как улыбка ребенка, простые:
«Посмотри-ка, мой милый, над городом солнышко всходит,
И лучи у него, как ресницы твои, — золотые!»

* * *

День начался зайчиком, прыгнувшим в наше окно, —
В замерзшие окна пробился кипящий источник.
День начался счастьем, и счастье кладет под сукно
Доносы и рапорты сумрачной сыщицы-ночи.

День начался шуткой. День начался некой игрой,
Где слово кидалось, как маленький мячик в лаун-теннис,
Где слово ловилось и снова взлетало — порой
От скрытых значений, как дождь фейерверка, запенясь.

Торопится солнце. Всегда торопливо оно,
Всё катится в гибель, как реки уносятся к устьям,
Но нашего зайчика, зайнюку, мы всё равно
Упросим остаться — из комнаты нашей не пустим.

ВЫСОКОМУ ОКНУ

Этой ночью ветреной и влажной,
Грозен, как Олимп,
Улыбнулся дом многоэтажный
Мне окном твоим.

Золотистый четырёхугольник
В переплете рам, —
Сколько мыслей вызвал ты невольных,
Сколько тронул ран!

Я, прошедший годы отрицанья,
Все узлы рубя,
Погашу ли робкое сиянье,
Зачеркну ль тебя?

О стихи, привычное витийство,
Скользкая стезя,
Если рифма мне самоубийство,
Отойти нельзя!

Ибо, если клятвенность нарушу
Этому окну,
Зачеркну любовь мою, и душу
Тоже зачеркну.

И всегда надменный и отважный,
Робок я и хром
Перед домом тем многоэтажным,
Пред твоим окном.

ДАВНИЙ ВЕЧЕР

На крюке фонарь качался,
Лысый череп наклонял,

А за нами ветер гнался,
Обгонял и возвращался,
Плащ на голову кидал.

Ты молчала, ты внимала,
Указала на скамью,
И рука твоя сжимала
Руку правую мою.

В этом свисте, в этом вое,
В подозрительных огнях
Только нас блуждало двое
И казненной головою
Трепетал фонарь в кустах.

Сердце робкое стучало,
Обрывалась часто речь...
Вот тревожное начало
Наших крадущихся встреч.

Скрип стволов из-за ограды...
Из глубин сырых, со дна
Нам неведомого сада —
Помнишь ли? — косые взгляды
Одинокого окна.

Где та сила, нежность, жалость?
Годы всё умчали прочь!
И от близости осталась
Только искра... грошик, малость,
Достопамятная ночь!

* * *

Было очень темно. Фонари у домов не горели.
Высоко надо мной всё гудел и гудел самолет.
Обо всем позабыв, одинокий, блуждал я без цели:
Ожидающий женщину, знал, что она не придет.

В сердце нежность я нес. Так вино в драгоценном сосуде
Осторожнейший раб на пирах подавал госпоже.
Пусть вино — до краев, но на пир госпожа не прибудет,
Госпожа не спешит: ее нет и не будет уже!

И в сосуде кипит не вино, а горчайшая влага,
И скупую слезу затуманенный взор не таит...
Я на небо гляжу. Я брожу, как бездомный бродяга.
Млечный путь надо мной. «Млечный путь, как седины твои!»

ОТРЕЧЕНИЕ

Мне, живущему во мгле трущоб,
Вручена была любовь и жалость
К воробью ручному и еще
К пришедшей кошке, но она кусалась.

Воробей в кувшине утонул,
Кошка пожила и околела.
Перед смертью кошка на меня
Взглядом укоризненным глядела.

Плакал я и горько думал я:
Ах, бродяга, стихоплет ничтожный,
Вот не уберег ты воробья,
Не дал кошке помощи возможной.

Себялюбец, вредный ротозей,
Для чего живешь ты — неизвестно.
Для родных своих и для друзей
Ты обузой был тяжеловесной.

И рвала, толкла меня беда,
И хотелось мне в росинку сжаться,
И клялся я больше никогда
Ни к какой любви не приближаться.

Вот живу, коснея, не любя,
Запер сердце, как заветный ящик:
Не забыть мне трупик воробья,
Не забыть кошачьих глаз молящих.

Не хочу дробящих сих колес,
Не хочу у черного порога
Надрываться от бессильных слез,
Не хочу возненавидеть Бога.

БРОДЯГА

Где ты, летняя пора, —
Дунуло и нету!
Одуванчиком вчера
Облетело лето.

Кружат коршунами дни
Злых опустошений.
Резкий ветер леденит
Голые колени.

Небо точно водоем
На заре бескровной.
Хорошо теперь вдвоем
В теплоте любовной.

Прочь, согретая душа,
Теплая, как вымя:
Мне приказано шуршать
Листьями сухими!

Непокрытое чело,
Легкий шаг по свету:
Никого и ничего
У бродяги нету!

Ни границы роковой,
Ни препоны валкой:
Ничего и никого
Путнику не жалко!

Я что призрак голубой
На холодных росах,
И со мною только мой
Хромоногий посох.

ОМУТ

Бывают там восходы и закаты,
Стушается меж водорослей тень,
И выплывает вновь голубоватый,
Как бы стеклянный, молчаливый день.

Серебряные проплывают рыбы,
Таинственности призраков полны;
Столетний сом зеленоватой глыбой
Лежит на дне, как сторож глубины.

Течет вода, как медленное время,
И ход ее спокоен и широк.
Распространен над глубинами теми
Зеленый светоносный потолок.

Над ним шумит и бьется жизнь иная,
Там чудища, там клювы и крыла,
Там, плавники и жабры иссушая,
Летает зноя желтая стрела.

Пусть юность вся еще у этой грани
И там же тот, кто безрассудно смел,
Но мудрость верит в клятвенность преданий,
Что некий непереходим предел.

А если есть летающие рыбы,
Так где они, кто видел хоть одну?
И рыбы старцы, тяжкие, как глыбы,
Теснее прижимаются ко дну.

ЭПИТАФИЯ

Нет ничего печальней этих дач
С угрюмыми следами наводнения.
Осенний дождь, как долгий, долгий плач —
До испуга, до отупленья!

И здесь, на самом берегу реки,
Которой в мире нет непостоянной,
В глухом окаменении тоски
Живут стареющие россияне.

И здесь же, здесь, в соседстве бритых лам,
В селеньи, исчезающем бесследно,
По воскресеньям православный храм
Растерянно подымлет голос медный!

Но хищно желтоводная река
Кусает берег, дни жестоко числит,
И горестно мы наблюдаем, как
Строения подмытые повисли.

И через сколько-то летящих лет
Ни россиян, ни дач, ни храма — нет,
И только память обо всем об этом
Да двадцать строк, оставленных поэтом.

ДО ЗАВТРА, ДРУГ!

«До завтра, друг!» — и без рукопожатья,
Одним кивком проститься до утра.
Еще живую руку мог пожать я,
Еще бы взгляду, слову был бы рад.

А нынче — храм. Высокий сумрак. Чтица.
Как белый мрамор, серебрится гроб,
И в нем в цветах мерещится, тaitся
Знакомое лицо, высокий лоб.

Ушли друзья, ушли родные. Ясно
Луна над темной церковью плывет...
«Не ведаем ни дня ее, ни часа», —
Бормочет чтица, повторяет свод.

Блаженство безмятежного покоя.
Ушел — уйдем. К кресту усталых рук
Прижался нежный стебелек левкоя:
Привет с земли. Прости. До завтра, друг!

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Серебряный снег и серебряный гроб,
И ты, тишина, как последняя милость...
На мертвый, на мудро белеющий лоб
Живая снежинка неслышно спустилась.

О памяти нашей поют голоса,
Но им не внимает безбрежное поле,
И бледно, стеклянно цветут небеса,
Не зная ни страсти, ни смерти, ни боли.

Пусть кто-то кого-то зовет на борьбу —
Священник устало, покорно ступает.
Торжественен мертвый. На мраморном лбу
Живая снежинка лежит и не тает.

Высокий покой безмятежен и синь,
Но жалобно звякает колокол нищий:
Безмолвного гостя из снежных пустынь
Березовой рощей встречает кладбище.

КНИГА О ФЕДОРОВЕ

Я случайно книгу эту выбрал.
Был неведом автор, и названье
Ничего душе не обещало.

Шел домой, и непогода липла
Изморосью к сердцу. И отзванивал
Ветр резиной моего плаща.

В комнате своей, где не умею
Я скучать, — с собой скучать не мне, —
Сел у печи властелином книги:

Не понравится — в огонь... Над нею,
Что же, до утра я пламенел,
Угасал, звенел, дрожал и ник!

Да, большое сердцехватило,
Да, большие крылья поднимали,
И поверят только простецы,

Что я выбрал эту книгу. Сила
В действии обратном: не меня ли
Эта книга выбрала в чтецы!

РОДИНА

От ветра в ивах было шатко.
Река свивалась в два узла.
И к ней мужицкая лошадка
Возок забрызганный везла.

А за рекой, за ней, в покосах,
Где степь дымила свой пустырь,
Вставал в лучах еще раскосых
Зарозевший монастырь.

И ныло отдаленным гулом
Почти у самого чела,
Как бы над кучером сутулым
Вилась усталая пчела.

И это утро, обрастая
Тоской, острой которой нет,
Я снова вижу из Китая
Почти через двенадцать лет.

ТИХВИН

Городок уездный, сытый, сонный,
С тихою рекой, с монастырем, —
Почему же с горечью бездонной
Я сегодня думаю о нем.

Домики с крылечками, калитки.
Девушки с парнями в картузах.
Золотые облачные свитки,
Голубые тени на снегах.

Иль разбойный посвист ночи вьюжной,
Голос ветра шальный и лихой,
И чуть слышно загудит поддужный
Бубенец на улице глухой.

Домики подслеповато щурят
Узких окон желтые глаза,
И рыдает снеговая буря,
И пылает белая гроза.

Чье лицо к стеклу сейчас прижато,
Кто глядит в оттаянный глазок?
А сугробы, точно медвежата,
Всё подкатываются под возок.

Или летом чары белой ночи.
Сонный садик, старое крыльцо,
Милой покоряющие очи
И уже покорное лицо.

Две зари сошлись на небе бледном,
Тает, тает призрачная тень,
И уж снова колоколом медным
Пробужден новорожденный день.

В зеркале реки замороженной
Монастырь старинный отражен...
Почему же, городок мой сонный,
Я воспоминаньем уязвлен?

Потому что чудища из стали
Поползли по улицам не зря,
Потому что ветхие упали
Стены старого монастыря.

И осталось только пепелище,
И река из древнего русла
Зверем, поднятым из логовища,
В Ладожское озеро ушла.

Тихвинская Божья Матерь горько
Плачет на развалинах одна.
Холодно. Безлюдно. Гаснет зорька,
И вокруг могильна тишина.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Наташе

Голубому зерну звезды
Над домами дано висеть.
Этот снег голубей воды
И на нем теневая сеть.
Этот шаг, что скрипит в снегу
На пластах голубой слюды, —
Не на том ли он берегу,
Где сияет огонь звезды?

Город нового года ждет,
Город сном голубым объят.
То не рыцарь ли к нам идет
В медном звоне тяжелых лат?
Не из старой ли сказки он,
Из фавльи и седых баллад, —
На бульваре пустой киоск
Зазвенел его шагу в лад.

Одиночество — год и я,
Одиночество — я и Ночь.
От луны пролилась струя
На меня и уходит прочь.
Хорошо, что я тут забыт,
Хорошо, что душе невмочь.
На цепях голубых орбит
Надо мной голубая ночь.

Если вспомнишь когда-нибудь
Эти ласковые стихи —
Не грусти за мою судьбу:
В ней огонь голубых стихий.
Этот снег зазвенел чуть-чуть,
Как листва молодой ольхи.
Как головка твоя к плечу,
Жмутся к сердцу мои стихи.

Много в мире тупых и злых,
Много цепких, тугих тенет,
Не распутает их узлы,
Не разрубит и новый год.
И его заскользит стезя
По колючим шипам невзгод,
Но не верить в добро нельзя
Для того, кто еще живет.

РУССКАЯ СКАЗКА

Важная походка,
Белая овчина...
Думает сиротка:
Что за старичина?

А вокруг всё ели,
Снег на белых лапах,
И от снега — еле
Уловимый запах.

Мачеха услала,
Поглядев сурово,
А по снегу — алый
Отблеск вечеровый.

Дурковатый тятя
Сам отвел в трущобу...
«Маленькая Катя,
Холодно ль?» — «Еще бы!»

Важная походка,
Белая овчина...
Думает сиротка:
Что за старичина?

Князь из городища
Или просто леший?
Лесовик-то свищет,
Князь не ходит пеший.

Да и лик не княжий —
Ласковый, с улыбкой...
Вот тропинку кажет,
Называет рыбкой:

«Я тебе не страшен,
Нет во мне угрозы!...»
Ели выше башен,
Снег на елях — розов.

Важная походка,
Белая овчина...
Думает сиротка:
Что за старичина?

И дает ручонку
В рукавичке черной,
И ведет девчонку
Дедушка задорный.

Говорит: «Утешу,
Песенку сыграю,
Доведу неспешно
До святого рая».

Глазки высыхают,
Глазки засыпают,
Ангелы на небе
Звезды зажигают.

Кланяются звери,
Никнут к рукавичке
Белочки-шалуньи,
Рыжие лисички.

Зяец косоглазый,
Мишка неуклюжий —
Все лесные звери
Ей покорно служат.

Только клонит дрема,
И приказов нету,
Будто снова дома,
На печи согретой.

Будто мать, лучина,
Запах вкусный, сдобный...
Белая овчина —
Пуховик сутробный.

Воет ветер где-то,
Нежат чьи-то ласки...
Нет страшнее этой
Стародавней сказки!

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

* * *

Померкла туманная линия
Далекого берега... Мгла,
Такая немая и синяя,
На озеро с неба сошла.
И волны на камни прибрежные
Взбегали, шурша в камыше,
Их лепеты, сонные, нежные,
Так ласковы были душе.
Скрипели у лодки уключины,
Бежала, звенела вода,
И снилось, что мы не разлучены,
А счастливы были всегда.

ТАМ

Где гремели пушки
И рвались шрапнели —
Оставались дети.
...Прятались в подушки,
Забивались в щели...
Маленького Яна —
Голубые глазки —
Не забыла рота.
Раз от «чемодана»
Загорелась хата...
Звонко крикнул кто-то...
Нам не жаль солдата:
Павший с крошкой рядом,
Не глядел он в небо
Удивленным взглядом —

Знал, что жизнь — копейка!..
Худенькая шейка,
Яростная рана...
Маленького Яна —
Голубые глазки —
Навсегда не стало...

НАД ПОЛЕМ

Тихий ветер шепчет над полями...
Он унес, развеял звуки боя...
Звезды светят синими огнями,
Ночь полна нездешнего покоя...

Позабыв тревоги боевые,
Позабыв о грустном и опасном,
Спят солдаты... Только часовые
Сонно бродят в сумраке безгласном.

Ночь пойдет неслышно... Незаметно
Улетит с мечтами и покоем,
И рассвет сырой и неприветный
Над полями грянет новым боем...

Но теперь так ласково и нежно
Веет ветер, веет полусонный...
— Спице, братья, спице безмятежно,
Отдыхайте сердцем истомленным!..

Сзади вас, в покинутых селеньях,
Ваши сестры, матери и жены
Видят вас в молитвах и виденьях,
Чутким сердцем слышат ваши стоны...

АВСТРИЕЦ

У него почернело лицо.
Он в телеге лежит недвижимо,
Наша часть, проходившая мимо,
Вкруг бедняги столпилась в кольцо.

Мой товарищ, безусый юнец,
Предлагает ему папиросы...
И по-польски на наши вопросы
Шепчет раненый: «Близок конец...»

И на робкие наши слова,
Улыбаясь бессильно и бледно,
Шепчет медленно он: «Вшистка одно...»
И ползет возле губ синева.

Каждый знает, что рана в живот —
Это смерть... «Я умру через сутки...»
Лейтенант утешеньям и шутке
Не поверит уже, не поймет...

Слышен выстрелов дальний раскат...
Наши лица урюмы и строги...
Мы проходим по грязной дороге,
Не надеясь вернуться назад.

Новая Александрия

* * *

Скоро утро. Над люнетом
Неподвижный часовой,
Он печальным силуэтом
Онемел, как неживой.

И, неверно озаренный
Светом робкого костра,
Весь окоп уединенный
Чутко дремлет до утра.

Офицер в землянке темной
Над письмом склонил лицо, —
На руке мерцает скромно
Обручальное кольцо...

Утомленно спят солдаты,
Ружья в козлах — точно снопы,
И, глубоким сном объятый,
Недвижим и тих окоп.

Близко утро. Грянул где-то
Первый выстрел, близок бой...
Шевельнулся у люнета
Неподвижный часовой...

В ПОХОДЕ

Эх! тяжела солдатская винтовка
И режет плечи ранец и мешок...
Дорога грязна и идти неловко,
Ведь к ней нужна привычка и сноровка,
И за аршин считай ее вершок...

Неважно, брат, коль нет с собою трубки,
А с ней — пустяк: запалишь — всё пройдет...
Нам из Москвы прислали полукрупки,
Да вот спасибо им за полушубки,
А то земля в окопах — чистый лед.

Идем давно... костры блестят из мрака,
И слышен говор тысячи людей...
Недалеко, должно быть, до бивака...
Вот в темноте залаяла собака
И где-то близко — ржанье лошадей.

Обед давно готов в походной кухне,
И кашевар нескучно делит щи...
«Ей, землячок, смотри, брат, не распухни!...»
А утром — бой. Угрюмо пушка ухнет,
И смерть откроет черные клещи...

ВИНТОВКА № 572967

Две пули след оставили на ложе,
Но крепок твой березовый приклад.
...Лишь выстрел твой звучал как будто строже,
Лишь ты была милее для солдат!

В руках бойца, не думая о смене,
Гремела ты и накаляла ствол
У Осовца, у Львова, у Тюмени,
И вот теперь ты стережешь Тобол.

Мой старый друг, ты помнишь бой у Горок,
Ялуторовск, Шамаково и Ирбит?
Везде, везде наш враг, наш злобный враг
Был мощно смят, отброшен и разбит!

А там, в лесу? Царапнув по прикладу,
Шрапнелька в грудь ужалила меня...
Как тяжело пришлось тогда отряду!
Другой солдат владел тобой два дня...

Он был убит. Какой-то новый воин
Нашел тебя и заряжал в бою,
Но был ли он хранить тебя достоин
И понял ли разительность твою?

Иль, может быть, визгливая граната
Разбила твой стальной горячий ствол...
...И вот нашел тебя в руках солдата,
Так случай нам увидеться привел!

Прощай опять. Блуждая в грозном круге,
Я встречи жду у новых берегов,
И знаю я: тебе, моей подруге,
Не быть в плену, не быть в руках врагов!

НОВОБРАНЕЦ

Широк мундир английского солдата,
Коробят грудь нескладные ремни...
Старик-отец, крестьянин бородатый,
Сказал, крестясь: «Господь тебя храни!»

Мальчишка хлиб, а пули жалят больно
(Сам воевал и знает в этом толк).
«Прощайся, мать, наплакалась... Довольно».
И шапку снял, нахмурился и смолк.

Ушли. Один. Когда-то ночь настанет,
Когда-то смолкнут звуки голосов
И сладкий сон усталого заманит
В родную глушь, в родимый гул лесов?

Неделя-две тоски, борьбы и ломки,
А там, глядишь, коль всё идет на лад,
И грудь вперед, и шаг, и голос громкий,
И этот смелый и спокойный взгляд.

Любовь и труд! В подростке спрятан воин,
В тебе ж — его ваятель, командир!
Уж мальчуган оружия достоин,
И как к нему идет теперь мундир!

Оторванный от жизни полусонной,
Он стал нервной, душа его — как воск...
Характер ли создать определенный
Иль навести один ненужный лоск —

Ты можешь всё. Твори стране солдата,
Единой верою скрепляя все сердца,
И будь для них, чем был уже когда-то:
Начальником, вмещающим отца.

РОДИНЕ

Россия! Из грозного бреда
Двухлетней борьбы роковой
Тебя золотая победа
Возводит на трон золотой...

Под знаком великой удачи
Проходят последние дни,
И снова былые задачи
Свои засветили огни.

Степей снеговые пространства,
Лесов голубая черта...
Намечен девиз Всеславянства
На звонком металле щита...

Россия! Десятки наречий
Восславят твое бытие.
Герои подъяли на плечи
Великое горе твое.

Но сила врагов — на закате,
Но мчатся, Святая Земля,
Твои лучезарные рати
К высоким твердыням Кремля!

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Помнишь: вихрь событий
И блестящий крах...
Много было прыти
У тебя в ногах.
Но по воле рока
С помощью Читы
До Владивостока
Докатился ты.
Позади теплушка,
Позади — вокзал.
В штатском — прямо душка
Грозный генерал.
Томной «бедной Лизой»
Постучался к «ним»:
«Мне важна лишь виза,
Остальное — дым!..»
А затем свобода,
Радостная дрожь...
«Странно, с парохода
Город так хорош!
Что же хмурит, братцы,
Светлых мыслей нить?» —
«Цена... 320...
Раньше бы купить!..»

БЕЖЕНКИ

В теплушке у жаркой печки
Офицерши варят обед.
Жарко и гадко. Свечи
Скупой колыхают свет.
Едут всё дальше-дальше:
Гонит мужей большевик.
У генеральши
Нервы и нервный тик.

Сердится важная дама:
«Плебейки! Проклятый чад!...»
Врагини молчат упрямо:
У каждой по пять галчат.
Но в сердце любой — иголки,
Назревает переворот:
«Стащить ее с верхней полки
И мокрой тряпкой — в рот!»

ЛЮБОВНИЦА

Ах, я устала от этой скромной,
Тихой и бедной жизни вдвоем!
Тихо иду я Плющихой темной,
Белый песец на плече моем.
Что мне лукавить! Ведь знает сердце:
Грешным желаньям потерян счет.
Кто-нибудь стукнет в заветной дверце,
Станет желанным и увлечет.
Дома же книги и он над ними...
Жалкие книги о счастье всех!
Словно подвижник в жестокой схеме, —
Даже обидеть такого грех.
Я целовала твой каждый пальчик,
Слезы и муку в душе тая...
Я ухожу навсегда, мой мальчик,
Ты ведь поймешь и простишь меня.

СПУТНИК

Ржаная краюха сытна,
И чавкают крупные зубы.
Желтеет кайма полотна...
«Товарищ, ухлопать козу бы!»
Козу ли? Охотничий нож
Я все-таки двигаю ближе.
Мурлычет, смеется, подлец!
И губы шершавые лижет.
И дальше, друзья и враги,
По шпалам шагаем упруго,
Путаясь тигровой тайги
И также — не меньше — друг друга.

ПРИКОСНОВЕНИЯ

Мои сады окружены пустыней,
Ее рука над ними, надо мной,
И полночью, когда земля остынет,
Я чувствую ее песчаный зной,
Я чувствую дыхание пустыни.

И ведаю, приблизится конец.
Свернут листы и почернеют клены,
И дом замрет, как высохший мертвец.
Погибнет сад цветущий и зеленый,
Когда ему и мне придет конец.

Но я сажаю новые цветы,
Но я рашу любимейшие злаки,
И на огне, на белые листы,
Карандашом бросаю эти знаки...
К чему мне дом, сады, мои цветы?

Но смертный слаб. И надо мне любить,
Чтобы забыть идущие минуты,
Когда пески придут меня убить,
Когда придет неведомый и лютый...
И счастлив я, умеющий любить.

Но полночью, когда прохладен мрак,
Я чувствую пустыню и в тревоге
На этот лист кладу за знаком знак.
Бессилен я, бессилен рок убогий:
Мои сады, мой дом — объемлет мрак.

ПОЮЩИЙ СНЕГ

Падает белый снежок
Здесь — в тишине закошечной.
...Я о тебе, мой дружок,
Я о тебе, моей крошечной.

Вот всепокорность моя —
Ласковость песенки простенькой.
Снег застилает поля
Голубоватую простынькой.

Конь мой бежит над рекой,
Рвут валуны из оглобля его.
В сердце снежинок покой,
Сердце снежинок незлобливо.

Трудные будут пути,
Но до конца их изведаю.
Радостно к милой прийти
Гордым и с гордой победою.

Где-то у белых Онег
Ты – опечаленной Ладою.
Может быть, это не снег,
Может быть, я это падаю?

БЕЗБОЛЬ

Зачерпнуло солнце медным диском
Задымившей ленты Иртыша.
Ветер машет опахалом близким,
Сенокосом берега дыша.

Под кормой расплавленная бронза
Вспенилась, янтарно закипев.
Мужичок, переодетый бонза,
Затянул заплаканный напев.

И, посыпав розовою пудрой
Облаков плавучие холмы,
Умер вечер – чужестранец мудрый, –
Не снимая голубой чалмы.

И, считая маленькие звезды,
Думаю, внимая комару:
– Сумрачный и тосковавший прежде,
Все-таки я хорошо умру.

СОБАКОГЛАВЫЙ

Старинная керамика – амфора
С изображением святого Христофора:

В шерсти, с когтями и с головою пса —
Угодника избрали небеса.

Сказал Господь: возьму себе уroda.
Пусть жалкая послужит мне природа,

Пусть знают все — и зверь, и раб, и тать,
Что Бог везде умеет расцветать.

Я злак души взращу, как огородник,
И будет в сумрачном страшилище — угодник.

Но плакался, приявший приговор,
Собакоглавый инок Христофор.

Слезу отер и шел путем Господним,
И был посмешищем в упрямом дне сегодням,

Чтоб за тоски глаза изъевший дым
Не тлеть в веках и нам сиять — святым.

В СЕБЕ

Николаю Асееву

Проповедую строгую школу
На отроге угрюмо-гористом,
И дикарь, отрывая юколу,
Называет меня футуристом.
Прибежит гимназист и похвалит,
На зрочки опуская ресницы,
Но со мной не скучает едва ли,
Посидит и спешит извиниться.
Быть бы женщиной, плакать сугубо,
Но какая же я Ниобея?
И кусаешь язвящие губы;
Словно вещь, замурован в себе я,
И кажусь дискоболовым диском,
И не знаю, не чую, не чаю,
И о вас, удивительно близком,
С декабря утомленно скучаю.

ДЕВКА

Изогнутая, выпячив бедро
И шлепая подошвами босыми,
Тяжелое помойное ведро
Несет легко ступеньками косыми.
Подоткнутою юбкой обнажив
Изгибы икр, достойных строгой лепки,
Сошла во двор. Меж шлюх и сторожих
Уже звенит задорно голос крепкий.
И встречному швырнет она успех,
Со спелых губ скользнувший, как гостинец,
Велев сравнить с закутанными в мех
В фойэ, в садах и номерах гостиниц.
И думаю, читая тридцать строк,
Накривленных измотанной эстеткой,
Что мужики, толкая в потный бок,
Зовут ее, веселую, — конфеткой.

МОРСКИЕ

1

Чтоб не сливались небо и вода —
Зеленый мыс легко повис меж ними,
И облаков сквозные невода
Ловили солнце всё неутомимей.

Но солнце жгло их розовую ткань
(Крутясь, горело дыма волоконце),
И вот уже над всем простерло длань
Жестоко торжествующее солнце.

Как женщина, отдав себя, земля
Спала, несясь на дымной гриве зноя,
А в голубом, холсты не шевеля,
Чернел корабль и был — ковчегом Ноя.

2

На небо намазана зелень,
И свежий сочится мазок...
Идущей с востока грозе — лень
Тащить громыхнувший возок.

А небо густое, как краска,
Как море, которое — там!
Над далью лиловая ряска
Ушедших к Господним местам.

Склоняется солнце на запад,
Могущество зноя излив,
И лодка — с утеса — как лапоть,
Заброшенный в синий залив.

3

Прямая серая доска —
Как неуклюж шаланды парус!..
Пусть, набежав издалека,
Его взьерошит ветра ярость.

Угрюмо-серый тихоход
Плывет в коммерческую пристань.
Разрушь тоскливый обиход:
Гори в грозе и в ветре выстань!

И холст, упавший как доска,
Пусть напряжется крутогрудо.
Пусть будет гибель, смерть пускай,
Но пусть и в смерти грянет чудо.

4

Метлой волны хрустящий берег вымыт.
Простор воды лукаво бирюзов.
Здесь чуждый мне и беспокойный климат,
Здесь в стон гагар вплетен томящий зов.

А горизонт — он выгоренно-дымчат —
Как ветхих ряс тепло шуршащий шелк...
Мой взгляд грустнел, в нем растворялось «нынче»,
К далекому парящий дух ушел.

Я ковш мечты. Из глубины зачерпнут
Моей томящей творческой тоской, —
И смерть моя, безглазо-желтый череп,
И ты, мой сон, мой самоцвет морской.

5

Даль дымчата, а облаков каемка
Оправлена по краю в серебро.
Морская ширь звенит под зноем емко,
Раскалено гранитное ребро.

А ты со мной. Ты белая, ты рядом,
Но я лица к тебе не обращаю:
Ты заскользишь по зазвеневшим грядам,
Ты ускользнешь по синему хрящу.

Но ты моя. И дуновенье бриза,
И плач волны, разбитой на мысу, —
Всё это так, всё это только риза,
В которой я, любя, тебя несусь.

6

Голубые и синие полосы
Нынче море запутали в сеть,
Протянулись ветровые волосы
И до вечера будут висеть.

И на парусе, косо поставленном,
На ладье, потерявшей весло, —
Не меня ли к безумцам прославленным
С горизонта в лазурь унесло.

ОСВИСТАННЫЙ ПОЭТ

Грехи отцов и прадедов грехи —
Вот груз тоски на точках нервных клеток.
И этот груз, кладя и так и этак,
Я на плечах тащу через стихи.
И думаю, взглянувший на верхи
Иных вершин, где горный воздух редок:
Не лучше ли возить в санях соседок,
Укрывши их в медвежий мех дохи.
Мне говорят: «Как хорошо у вас!»
Киваю в такт и думаю покуда:
Отец любил с аи сухарный квас
И выжимал легко четыре пуда.
А я угрюм, тосклив и нездоров,
Я — малокровный выжиматель стрóf.

НА БЛЮДЦЕ

Облезлый бес, поджав копытца,
Опять острит зловещий смех:
— На блюде дна не уместится
Ни взор, ни радость, ни успех.

В ступе толпы под хрип и топот
В песок бывшее истолки.
Не скучно ль, сидя рядом, штопать
Надежд протертые чулки?

И понимаешь, бытом сужен
Любой восторг в больной изъян,
А человек тебе не нужен,
Ты — путник в стане обезьян.

Глядишь на цепкие гримасы
Улыбок, жестов, слов и дел,
И тонет в океане массы
Судьбой подчеркнутый удел.

Живешь, слова цепляя в ритмы,
Точа немую зоркость глаз,
Как иступляющую бритву,
Которая на грудь легла.

А голос всё звончей и льдинче,
И повторишь который раз
В ночной пробег пропетый нынче
Свой крошечный Экклезиаст.

СЛУЧАЙ

Вас одевает Ворт или Пакэн?
(Я ничего не понимаю в этом.)
И в сумрачном кафе-америкэн
Для стильности встречались вы с поэтом.

Жонглируя, как опытный артист,
Покорно дрессированным талантом,
Он свой весьма дешевый аметист
Показывал сверкальным бриллиантом.

Но, умная, вы видели насквозь
И скрытое под шелком полумаски
Ленивое славянское «авось»,
Кололи колко острые гримаски.

И вдруг в гостиных заворчало «вор!»
Над узелком испытанной развязки,
И щупальцы склонявший осьминог
Был ранен жестом смелой буржуазки.

ДОСТОЕВСКИЙ

В углах души шуршит немало змей,
От тонких жал в какую щель забиться?
Но Бог сказал: «Страдай, ищи... сумей
Найти меж них орла и голубицу».

Вот – Идиот. Не мудр ли он, когда,
Подняв свой страх, стоит, тоской пылая?
Но обрекла на страшные года
Свой бледный бред мятежная Аглая.

Вот «пьяненький»... И он в луче небес,
В щетине щек свою слезу размазав,
Но яростен, когда терзает бес,
Логически-безумный Карамазов.

Все близкие... Идут, идут, идут
По русской окровавленной дороге.
И между них, как злой и мертвый Дух, –
Опустошенный сумрачный Ставрогин.

И умер ты, и прожил жизнь, ища,
И видел мрак и свет невыносимый:
То нигилист глядел из-под плаща,
То в истину поверивший Зосима.

Люблю тебя, измученный пророк,
Ты то горел, то гас, то сердце застил,
И всё ж ты пел (хотя бы между строк)
О нежности, о жалости, о счастье.

ЕВРЕЙКА

А. К.

В вас — вечное. Вы знали Вавилон
И рек его певучие печали,
Вам Ханаан вознес цветущий склон,
За вами львы сирийские рычали.

И образ ваш в былом неопалим:
Для вас Давид играл на вечной арфе,
Вы защищали с ним Иерусалим,
Христос — для вас — зашел к мещанке Марфе.

Не вами ли сраженный Олоферн,
Скользнув в крови, упал на плащ парчовый?
В вас быстрота антиливанских серн,
Влюбляетесь и мстите горячо вы.

Единая под тысячью личин
(Ревекки, Лии, Сарры и Юдифи),
Ведь это вы, одушевив мужчин,
Бросали их гореть в бессмертном мифе!

И тайна глаз горящих глубока,
Черней, чем плод и кожа маслины.
Не вы ли в Рим послали рыбака,
Сверкнув пред ним в хитоне Магдалины?

В вас женственности творческий экстаз
И пламенность могучей вашей расы,
Для вас и Дант, и восхищенный Тасс
Бросали стих — как сталь — о медь кирасы.

И в пальцах ваших, вырвавших из нот
Величие томящего Шопена,
Текут века, и в ночь не ускользнет
Былых племен омлеченная пена.

* * *

Я живу в обветшалом доме
У залива. Залив замерз.

А за ним, в голубой истоме,
Снеговой лиловатый торс.

Та вершина уже в Китае,
До нее восемнадцать миль.
Золотящаяся, золотая
Рассыпающаяся пыль!

Я у проруби, в полушубке,
На уступах ледяных глыб —
Вынимаю из темной глуби
Узкомордых крыластых рыб.

А под вечер, когда иголки
В щеки вкалываются остро,
Я уйду: у меня на полке —
Как Евангелие — «Костер».

Вечер длится, и рдеет книга.
Я — старательная пчела.
И огромная капля мига
Металлически тяжела.

А наутро, когда мне надо
Разметать занесенный двор,
На востоке горы громада —
Разгорающийся костер.

Я гляжу: золотая глыба,
Великанова голова.
И редеет, и плещет рыбой
Розовеющая синева.

И опять я иду на льдины,
И разметываю в лесу,
И гляжу на огни вершины,
На нетлеющую красу...

Если сердце тоска затянет
Под ленивый наважий клев —
Словно оклик вершины грянет
Грозным именем: Гумилев!

КЛАДБИЩЕ НА УЛИССЕ

Подует ветер из проклятых нор
Пустынной вулканической Камчатки,
Натянет он туман на зубья гор,
Как замшевые серые перчатки.

Сирена зарыдает на мысу,
Взывая к пароходов каравану;
На кладбище, затерянном в лесу,
Невозмогу покойникам... Восстанут.

Монахиня увидит: поднялись
Могучие защитники «Варяга»,
Завихрились, туманом завились
И носятся белесою ватагой.

И прочитает «Да воскреснет Бог»,
И вновь туман плывет текучей глиной,
Он на кресте пошевелит венки,
Где выцветает имя – Флорентина.

Встает, бледна, светла и холодна,
В светящемся невестином наряде...
Двенадцать лет она уже одна,
Двенадцать лет под мрамором, в ограде.

О, если б оторваться от креста,
Лететь, лететь, как листья те летели,
Стремительным кружением листа,
В уют жилья, в тепло большой постели!

И розоветь, как пар в лучах зари,
И оживать, и наливаясь телом,
Но дальние заньли звонари
За сопками, в тумане мутно-белом.

И прячется в истлевшие гроба
Летучая свистящая ватага...
Трубит в трубу – тайфун его труба –
Огромный боцман у креста «Варяга».

Бухта Улисс, 1923 год.

* * *

Ветки качались с усталым шумом,
Веяла сырость из темных чаш...
Вы Вашу лошадь оставили с грумом,
Мальчик дремал, завернувшись в плащ...

Следом за Вами я крался... Орешник
Скрыл меня плотно в свежей глуши.
Здесь подсмотрел я, бродяга-грешник,
Темное горе Вашей души...

Плечи в беззвучном дрожали плаче,
Но оставалась глухой тропа...
Был обезумлен Ваш взор незрячий,
Ваша походка была слепа...

Близким мне сделалось робкое горе,
Но подойти к Вам я не посмел, —
Да и ушли Вы, поплавав, вскоре,
Снова Ваш взор стал презрительно смел...

Стэком коснулись спящего груга,
Выйдя из леса... Ваш лик был строг...
Черное платье вилось угрумо
И шелестело у Ваших ног...

Вы на меня посмотрели скучно...
И кто бы сказал, что, гордая, Вы
Плакали так безысходно, беззвучно
В тихих шептаньях лесной листвы?

ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ

Уже утрачено
Его название,
Уже никто
Не вспоминает год, —
Вверх по Янцзе
(Так говорит предание)
Шел первый
Океанский пароход.

И в белом шлеме,
В грубой парусине
Им правил
Англичанин-капитан.
И вечерел,
Уже багрово-синий,
Простор Янцзе,
Закатом осиян.

В усталом ветре
Взрагивали тросы,
Как чьи-то
Золотые волоса...
И пели беззаботные матросы,
Иные
Вспоминая небеса...

А с берегов,
Из тростниковых хижин,
На пароход,
На дыма черный вал
Глядел крестьянин,
Робок и принижен,
И дьяволом
Его именовал.

И... там,
Где солнце
Медно-красным диском
Склонялось в аспид
Острогрудых круч,
Вдруг появились
В отдалении близком
Клубящиеся змеи
Черных туч...

Из дыма их
На аспидные кручи,
Окрасив в пурпур
Блеклый небосклон,
Неслышно выполз
Сказочно могучий
Тысячекрылый
Огненный дракон.

И,
Стережущий реку
Неизменно,
Разбив стекло
Завечеревших вод,
Он,
Пасть раскрывший,
Проглотил мгновенно
Гудком гремевший
Вражий пароход.

И скрылся снова...
Солнце опускалось...
Победно пела
Каждая струя.
И до рассвета
Грозно отражалась
В огне зыбей
Драконья чешуя.

Прошли года,
Прошли десятилетия,
Развеян сказки
Рухнувший уют,
Но,
Как тогда,
И в это лихолетье
Преданье вспоминают
И поют...

Поют...
И вспыхивают фейерверки
Немых зарниц...
Чернеют берега...
И вахта на английской канонерке
Не спит.
Молчит.
И чувствует врага.

Усталый ветер
Треплет парусиной
И ласково лепечет о грозе...
И в блеске молний выгибает спину —
Драконью спину —
Голубой Янцзе.

ЗА 800 ВЕРСТ

Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Марина Цветаева

Гор обугленные горбы,
Миля — до самого близкого.
Опрокинув розовые столбы,
Закат море обыскивал.

Полосы меди отточенной
Выковал запада горн.
Граниту наносят пощечины
Мокрошлепающие ладони волн.

Облаков сквозные невода,
Умирающая вода.

Туда — Камчатка,
Киты, туманов молочный напор,
Замшевая перчатка
На распяленных пальцах гор.

Туда — зеленеющие пышно
Вулканические острова.
Народ, подкрадывающийся неслышно,
Убивая, говорящий вежливые слова.

Туда — зеленеющие пышно,
Светящиеся духи, протяжный гонг.
Гонконг,
Слоны Сиама.

А в Москве светает.
(Звонят ли в Москве колокола?)
Первого трамвая
Густая
Гудит пчела.

Из переулка такого,
Что знал — века,
Ломовика
Падающая подкова.

Ничего не знаю, какая вы!
(Видел раз в двенадцатом году.)
Переливчатые цвета и вы,
Отраженная в голубом льду.

Поэтому какая у вас комната,
Как вы открываете глаза?
Я бы всё это мог выдумать (гном на то!),
Но этого нельзя...

Ночь. Ветер. Знойный и ночью.
(Летают светящиеся мухи.)
Пляска шаркающих туфель волн.
(Мои глаза электрически сухи.)
Ветер. Прибоя и вой, и вол.

Сейчас поплыву, волной освечен,
Буду клубить под собой межу.
Вал, откатясь, обнажает плечи
Не человеку уже — моржу.

Фыркаю. Камень схватил за спину.
Солоны губы. Давай! Давай!
И выгибают кошачью спину
Волны на каменный каравай.

Может быть, вглубь и торпедой дó дна,
Вытянув рук голубой бугшприт,
Чтобы взорвать тот чертог подводный,
Где фосфорический свет зарыт.

Верблюды в песчаном караване, я
Покачиваюсь от оробы:
Под грохотом завоевания
Всплывают голубые проруби.

А вы сейчас пьете чай,
Прищуриваясь на строчки,
И мне — от морей — различать
Маркизетовые цветочки.

Хорошо, что вы есть, что ваш
Голос слышен до океана,
До страны, что живет, жива
По Евангелию Иоанна.

И стихи вам и петь, и вить,
Их за тысячи верст не спрячете!..
Мне в ладони мои ловить
Метеоровые их мячики.

Я стою на огне росы,
Я на берег себя причалил..
(Вы станете — ну да, часы! —
Ведь девятый у вас вначале.)

Ночь.

Субтропическая, синяя, жаркая.
Как танцующие слоны,
Шаркают волны,
Волны,
Отпрыгнувшей прочь,
Голубоватый песок.

Ночь.

На мысок
Берег хвост опускает драконий, иглистый —
Шаткий от крена, —
Парус контрабандиста.

Ветер. Прожектор. Сирена.

*Дальний Восток
Бухта Улисс*

* * *

Я одинок, без близких и друзей,
Целую очи моего искусства;
Придет толпа — я говорю: «Глазей!»
Придет поэт — «Товарищ, знаю вкус твой!»

А может быть, стихов из тысячи
Кремневых два бессонное терпенье
Кладет в карниз — простые кирпичи
Собора, загудевшего от пенья.

И голуби свистящий свой полет
Смахнут с крыла и рядом заворкуют,
Ведь сердце обреченное поет,
Не требуя награду никакую.

САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ

На Каланчевской пять, квартира три,
Жил человек. Труслив, к тому ж развязен.
На желтом лбу его цвели угри,
Воротничок всегда помят и грязен.

Но полночью пришел к нему Господь,
Он милосерд, иль с неба видно проше, —
И до утра, и до рассвета вплоть
Сияло в комнате, как в снежной роще.

И стало так. Он жил теперь в пустом
Пространстве рокота и вихревого гула,
А по ночам беседовал с Христом
В саду, у склона горного аула.

И раз Христос сказал, сияя весь
(Они тогда к ручью сходили вместе):
«Ошибся я, тебе бы жить не здесь
И не теперь, а лет назад на двести!»

И с Каланчевской пять, квартира три
Поднял его и отослал в былое,
И встретил он румяный свет зари
В избе, в скиту, в лесу у аналоя.

И память старца праведного чтим,
Не ведая, не знающие крылий,
Что вот прошел он спутником твоим,
Что с ним вчера еще мы вместе жили.

ТУМАН

Глухое «у-у» закинута протяжной
Сиреной невидимки-маяка,
И тяжело своей холстиной влажной
Повис тяжелый парус моряка.

Вершин расплывчатые очертанья,
Долин дымящиеся закрома,
Где спрятаны в скалистые гортани
Печами обогретые дома.

Где женщина, поджаривая рыбу,
Смеется, к гостю повернув лицо,
Где ночь, ворча, приваливает глыбу
Тумана на дощатое крыльцо.

За мглою – мгла! Сквозь острые проколы,
Распластаны на замшевый экран
(Подобие кровоточащих ран!), –
Огней разбрызганные ореолы...

Туман,
Туман,
Туман...

ГОЛУБАЯ КНЯЖНА

В отеле, где пьяный джесс
Сгибает танцоров в дуги,
Еще говорят *прэнсес*
В крахмальных сорочках слуги.

И старенький генерал
(О, как он еще не помер)
Рассказывать про Урал
Стучится в соседний номер.

И пища еще нежна,
И вина сверкают, пенясь.
И маленькая княжна,
Как прежде, играет в теннис.

Но близит уже судьба
Простой и вульгарный финиш,
Когда ты из Чосен-банк
Последнюю сотню вынешь.

И жалко нахмуришь бровь
На радость своих соседок...
К чему голубая кровь
И с Рюриком общий предок?

Для многих теперь стезя
Едва ли сулит удачу.
Мне тоже в Москву нельзя,
Однако же я не плачу!

Но вы — вы ведь так нежны
Для нашей тоски и муки,
У вас, голубой княжны,
Как тонкие стебли — руки.

И львы с твоего герба
Не бросятся на защиту,
Когда отшвырнет судьба
Последнюю карту битой.

И ужас подходит вплоть,
Как браунинг: миг и выстрел...
А впрочем, чего молоть:
Сосед-то — любезный мистер!

* * *

У причалов остроухий пинчер
Водит нынче тоненькую мисс.
Англичаночка, не осрамитесь,
Не для шкуны же папаша вынянчил!

Рыжий боцман выплюнул табак,
Рыжий боцман подмигнул подвахте:
«Этакую ежели на бак,
Ну-ка, малый, выдержишь характер?»

Хохотала праздная корма:
«Не матросу сватать недотрогу!
Глянь-ка, боцман, чертов доберман,
Что ни тумба, поднимает ногу!..»

Лучший виски — **уйт хорс** виски:
Белая лошадь, по-английски.

ПОЛКОВОЙ ВРАЧ

Умирает ли в тифе лиса,
Погибает ли дрозд от простуды?
Не изведает сифилиса
Даже кот, похудевший от блуда!

Вы – шутник. Папиросо во рту,
Под большой электрической лампой
Отмечаете *люэс, ртуть*
И ломаете горлышки ампул.

И на беглую спутанность фраз,
На звенящую просьбу вопроса
Улыбаетесь: «Даже Эразм –
Роттердамский! –
Немного без носу!»

УЗОРЫ ПАМЯТИ

Я пишу рассказы
И стихи в газете,
Вы кроите платья
В модной мастерской.
Прихожу домой я,
Пьяный, на рассвете
С медленной и серой
Утренней тоской.

Зверем сон на сердце
Тяжело надавит,
Оторвет, поднимет
И умчит в Москву,
И бывшее снова
Пережить заставит,
Словно сон недавний,
Вставший наяву.

Озарен высоким
Золотистым светом

Белый, загудевший
Институтский зал.
В золотом мундире
Маленьким кадетом
Я вхожу и сердцем
Погружаюсь в бал.

И едва окину
Залу первым взглядом,
Как уж сердцем выну
Из всего и всех
Вашу пелерину
С классной дамой рядом
И глаза, что ярче
Васильков в овсе.

В сердце вздрогнет жальце,
Но не к вам, а всё же
Прежде к классной даме
Надо подойти.
Миг — и мы несемся
В застонавшем вальсе,
И любовь над нами
Облаком летит!

Франт в сумском мундире
Управляет балом —
Ментик и лядунка,
Молодец-гусар.
Сердце бьется ровно
В напряженьи алом...
Ластится к перчатке
Девичья коса.

Па-де-патинером
Сменена мазурка.
Шепот: «Я устала!»
Легкая душа...
Снова к классной даме...
Шестиклассник Шурка
Говорит, что Лара
Очень хороша.

...Просыпаюсь. Утро.
Штора. Свет неверный.
Стол и стул похожи
На немых химер.
Думаю, зевая:
«На балах, наверно,
Больше не танцуют
Па-де-патинер».

И на сон далекий
Сердце не ответит.
Только скрипки плачут
Золотой тоской...
Я пишу рассказы
И стихи в газете,
Вы кроите платья
В модной мастерской.

* * *

Льстивый ветер целует в уста,
И клянется, и никнет устало,
А поселок серебряным стал
И серебряной станция стала.

Не томи, не таись, не таи:
Эти рельсы звенят о разлуке,
Закачали деревья свои
Безнадежно воздетые руки.

И ладонь не тяни же к виску,
Злую память назад отодвинь же, —
Эта ночь превращает тоску
В лунный свет на картинах Куинджи!

И душа растворяется в нем,
Голубом и неистово белом,
И не в дом мы с тобою идем —
В саркофаг, нарисованный мелом!

* * *

Вышел в запас, —
Служба была хлопотлива.
Денег припас,
Выстроил дом у залива.

Скушно, — один...
Пел: «Прилети, голубица!»
Есть карабин,
Чтоб от хунхузов отбиться.

Рядом тайга,
Тигровый след и кабаньих,
Лупит вьюга,
Как на пустом барабане.

Жить ничего:
Вдоволь и спирта, и пищи.
Встретишь его —
Лишь по-разбойничьи свищет.

Ссадит в сугроб
(Лихо добытчику с сумкой),
Целится в лоб
Тигровой смертью дум-думкой.

Ладит и тот,
Черную спину сутуля.
В огненный пот
Бросит свинцовая пуля.

Скажет врагу:
«Милый, добей-ка, однако».
И на бегу
Взвоят о павшем собака.

Ночью придет
Волчья певучая стая,
И заметет
К утру пороша густая.

СОН ПРО КОТА-МУРЛЫКУ

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом.

Ты любишь кошку, ласковый звереныш,
Мой белокурый, ясноглазый гном.
Смычком любви твою кроватьку тронув,
Я пронесусь в сознании твоём.

Мурлыка спит, поджав седые лапки,
Ленив Мурлыка, белолобый кот.
Его потешно наряжая в тряпки,
Ты слушаешь, как нежно он поет.

Приходит сон, как принц золотокудрый,
Целует в глазки, говорит: «Пора!»
И кот встает, такой большой и мудрый,
И охраняет детку до утра.

Он больше тигра, только очень ласков,
И сторожит он девочек покой.
Он лучше няньки намурлычет сказку
И гладит лапкой, как она — рукой.

Настанет утро. Нету великана,
Но позабыть виденье нелегко.
Мурлыка же из твоего стакана
Поспешно пьет парное молоко.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Чем, мураш, застыв на пальце,
Удивлен — скажи на милость?
Солнце из-под одеяльца
Ватной тучки покатилося.

Две веселых трясогузки,
Непоседы, ненасытки,
Объяснялись по-французски
Одобрять вкус улитки.

Ветер листики березы
Пересчитывал. Березка
Шутника, роняя слезы,
Отгоняла веткой хлесткой.

А когда — глядите сами —
Рвался он, бежать желая,
То она его ветвями
Обнимала, не пуская.

В облаках же два пилота
Мчались, вскрикивая звонко:
Это — плавности полета
Обучала ястребенка

Ястребиха...
 За оградой
Тополь руки тянет к небу...

Мира лучшего не надо!
Мира лучшего не требуй!

ВЕСЕННИЙ ДОЛЬНИК

Михаилу Щербакову

Объективно ничтожны признаки,
Ртуть в термометре — над нолею,
Да весеннего ветра-капризника
Направления не поймем.

Синева под глазами девушек,
У мальчишек в глазах задор,
И медлительные, как неучи,
Облака: золотой затор.

Но взгляните: переоценкою
Зимних ценностей занят мир;
Даже нищий, звенящий центами,
Чем-то новым себя томит.

Непреложное стало мнимостью —
Пáром стаивает, спеша, —
И повита зеленой жимолостью
Человеческая душа.

Я весь день не хожу, а плаваю
В этом воздухе ястребином.
...Я зову вас в борьбу за славу и
За победу неистребимую!

Харбин, 1930

* * *

Последний рубль — дорог,
Последний день — ярок,
Их не отнимет воров,
Их не отдашь в подарок.

Последняя любовь — самая ласковая
И с сединою на виске.
И приходит она, ополаскивая
Сердце в горечи и в тоске.

И отдашь ее тем, которым
Не нужна ее тишина,
Не нужна ее высота.
Но душа, овладев простором,
Будет горечи лишена.

Ибо, памяти зов послушав,
Вспомнишь ты, как в былом и сам
Брал и комкал чужие души,
Обращенные к небесам.

Харбин, 1930

ЗА РАЗРУБЛЕННЫЕ УЗЛЫ

Снова солнце обращает в воду
Почерневшие наросты льда.
Снова легкокрылую свободу
Обретают ветер и вода.

Снова воздух приближает дали
И осанка облака легка,
И к тому, чем мы не обладали,
Потянулись сердце и рука!

В эти дни, как прежде б, сбросить сумму
Обязательств рук, спины и щек.
На кушак коричневый подсумок,
А за плечи вещевого мешок.

Не грусти, не сетуй, не желей-ка!
Не до нег, не до уютов мне!..
И удобно ляжет трехлинейка
За спиной, на кожаном ремне.

Та весна давно уж позабыта —
Революционная весна! —
Но раскрепощение от быта
Не несла ли смелому она?

Всё равно кому служить солдату.
Без надежд и горечи утрат
Ставил я (как стихотворец дату
Под стихом) винтовку у костра.

День в своей законченности заперт,
Как поэма. Поднят на заре,
Назревал я к вечеру, как капля
Рифмы назревает на пере.

Падаю. Качусь по полосатой
Серой пашне, мягкой и простой...
Лишь бы плыть к весеннему закату,
Испаряясь каплей дождевой.

Лишь бы снова не попасть на привязь,
Лишь бы снова не попасть в козлы
Отпущенья... Лишь бы душу вывести
За разрубленные узлы!

ПРИЯТЕЛЬ

Загорел за лето на песке,
На горячем золотистом пляже...
В сердце места не было тоске,
И она не вспоминалась даже.

Чебуреки ел у старика,
Спиртом, право, баловал не слишком,
И качала желтая река
День-деньской на радость ребятишкам.

Можно ль летом думать и писать?
Для того ль дается Богом лето?
И редактор посылал искать
Шалого курчавого поэта.

Загорел, окреп, похорошел,
Мышцы стали выпуклей и резче.
Не стишки слагаются в душе —
Золотые творческие вещи.

Миновало лето, словно сон,
Отлетела радостная муза,
И засел поэт за фельетон,
Потому что выгорела блуза.

Много пил и нюхал кокаин,
Поправлял пенсне на переносье,
Уходя, как и терпел, один
В хмурое, седое безвопросье.

К нам не очень сердобобен Бог...
Эта участь, думалось, не нам бы.
Почему то Троцкий, то Келлог
Непрерывно лезут в наши ямбы?

Нам до них, пожалуй, дела нет —
В тех делах ни чёрта мы не смыслим.
И качает нас с тобой, поэт,
Глупый бес на глупом коромысле.

Скучно мы с тобой живем зимой, —
Вставши, день как паралитик ляжет...
До свиданья, кучерявый мой,
На веселом сунгарийском пляже!

ОТХОД

Какой-то зверь — быть может, тигр
Пошевелил неверный камень...
А нам идти, а нам в пути
Греметь повисшими штыками.

В ключицы врезались ремни.
Усталость в тело вшила прошвы,
И остро чиркают кремни
О раскаленные подошвы.

А позади слабеет гул,
Глуша последние раскаты,
Победоносному врагу
В крови выковывая латы.

Идем тропой. Вдоль рек и русл
Лесную глушь шагами метим,
И будет робок, будет тускл
Костер, зажженный на рассвете.

МОЕМУ «УНДЕРВУДУ»

Традиции непреложны, —
К одной намечаю возврат...
«О лира!..» Мерещится ложно
Классический аристократ.

Но сорвана чопорность (стильность?)
Эпохою масляных ламп, —
От лиры к уюту чернилниц...
Вы помните пушкинский ямб?

Поэт не поет, не бряцает —
Он пишет, он лиру отверг...
Но все-таки тайна мерцает
Над ним. Ореол не померк

Таинственности, романтизма
Горячих бессонных ночей...
Об этом шурушащие письма
Прабабушек – милый ручей,

Уже иссякающий. Ныне
За стиксовой ширью ста лет –
Чернильницы нет и в помине,
Поэт, у тебя на столе.

А если и есть – юбилея
Сомнительной радости дар,
Когда голова побелеет
И рифмы слабеет удар...

Смотрите – не только халтуру
За строчкою строчку гоня! –
Машина с клавиатурой
Под пальцами у меня.

О муза, не сетуй, не брезгай,
Мы тоже кипим и горим, –
У этого резкого треска
Дождя-разрушителя ритм.

И даже весеннего града
Как будто по стеклам картечь...
А лиру с чернильницей надо
Музейному старцу беречь.

ТИХИЙ СОЧЕЛЬНИК

Как вечер тих, как вечер долог,
Как свято дышит тишина!..
Романтика душистых елок –
Кого не трогает она!

С какой мистерией соседство
Сочельник намечает вновь?
Святой восторг, святое детство,
Святая детская любовь!

Дитя игрушками довольно,
Отец и мать — они в ином...
Им как-то радостно и больно:
Воспоминания — в былом!

Им тоже грезятся их елки,
Их не зажечь уже... И пусть!
Но в сердце острые иголки
Им всё же вкалывает грусть.

Но их малютка, дочка-крошка,
Им юность возвращает их.
В глазах, задумчивых немножко,
Вновь блеск сияний золотых.

В блестящий зал, в шалаш, в конурку —
Семьи нисходит торжество:
Отца, и мать, и их дочурку
Сильней скрепляет Рождество.

ЛЮБОВЬ

Сильный зверь о любви рычал
Зубы скалившей сильной самке,
Нежным именем величал,
Брюхом полз, разрывая лямки.

Ощетинив хребтов горбы,
Мыщ звенящий пружиня ластик, —
В визге ярости и борьбы
Волчья страсть насыщалась страстью.

А потом, ослабевший, лег,
Весь в истоме большого гула,
И волчиха в широкий лоб
Благодарно его лизнула.

Ибо знала, что не одна
Будет рыскать теперь по стужам:
Сделать зверя ей власть дана
Из лесного бродяги — мужем.

ЛЮБОВЬ

Любовь — как в пропасть. С кручи от погони
бросается так каторжник с ядром,
прикованным к ноге его. И тонет.
Любовь — как под сверкнувший эспадрон.

Рассечь себя и на себя обрушить,
как храм обрушил некогда Самсон, —
освободив ликующую душу
от оболочки, превращенной в сор.

ЯСНОСТЬ

В этой комнате много солнца...
Ранью утренней через щель
Золотистые волоконца
Зажигают мою постель.

Через ставни из всех отверстий
Золотая глядит весна.
Как улыбка, на рыжей шерсти
Одеяла лежит она.

Ночью думал о том, об этом,
По бумаге пером шуруша,
И каким-то подземным светом
Бледно вспыхивала душа.

От табачного дыма горек
Вкус во рту. И душа мертва.
За окном же — весенний дворик,
И над двориком — синева.

Зыбь на лужах подобна крупам
Бриллиантовым — глаз рябит!
И задорно над сердцем глупым
Издеваются воробы.

ДАВНО ЛИ?

Давно ли в форточку мороз
Дышал седым холодным паром
И ветер снег лучистый нес
По скользким, звонким тротуарам?

Гляди — чудесная весна
Уже согнала снег и стужу,
И, право, каждая жена
Как жениха целует мужа.

Какой чудеснейший наркоз
Нам возвращает бодрость юных?
Ведь в каждом сердце — ворох роз
И закипающие струны!

Жизнь стала снова так легка
Не оттого ль, что сняли шубы,
Что в руку просится рука,
Глаза — в глаза и губы — в губы?

Весна над миром ворожит,
Лазурью встав над рыжей крышей.
Как хорошо, как *вкусно* жить,
Когда апрелем сердце дышит!

НА ТОЙ ПОЛОВИНЕ ЛУНЫ

От той половины Луны,
Которая нам не видна,
Исходят жестокие сны,
Властители нашего сна.

Крича от видений ночных,
Проснемся и смотрим во мрак.
И вот, вспоминая о них,
Не можем их вспомнить никак.

Я верю: улыбку и шаг,
Где радость и воля видны,
Берет караулящий враг,
Серебряный житель Луны.

Ведет он старательный счет
Могущим смеяться и петь,
И воля земная течет
На лунную гулкую медь.

И радости нашей полны
Ее водоемы до дна —
На той половине Луны,
Которая нам не видна.

ПОЛДЕНЬ

Золотые искры на коже —
Ростопь зноя, июля россыпь.
В легких жестах — ласковость кошек,
Но без вкрадчивости. Без просьбы.

Рыжекудрая. В яри веток —
Словно осень в дебюте раннем.
Речь поэта. И поэтому —
Успокаивающая. Ранящая.

Сад — аквариум. С ряской, с тинкою
Мглы зеленой. В ней вы — плотичка.
Полдень, затканый паутинками,
Стихотворная перекличка.

КОЛДОВСТВО

Прислушалась — и отложила книгу...
Но угол пуст, и только тишина,
Под чешую которой не проникнуть,
Каких-то прежних качеств лишена.

И, напряженно ожидая знака,
Ты, как струна, подстерегаешь звук:
Так чувствует незримое собака,
Насторожив глаза свои и слух.

И вот оно приблизилось, вздымая
Сердцебиенье к горлу... Вспомним миф:
Так чувствовала Демона Тамара,
Худые руки в муке заломив.

Падение в беспомощность... Колодцы
Летящих глаз... Надменная душа
На черном дне их горлицею бьется...
И снова — шаг. Опять — кошачий шаг!

И отойти, могущество измерив,
Уйти неслышно, не подняв лица,
Прошелестеть у застонавшей двери,
Встревожить сон овчарки у крыльца.

И, источая запах серной гари,
Отбросить сердце, рыжее, как меч...
Ты говоришь, что колдунов сжигали.
Нет, девочка, — незримо не сжечь!

КОНЧИНА

Карандашом по карте водит
Старик, читая города.
Вот точку нужную находит:
«Тамбов... теперь еще сюда...

Теперь проселочной дорогой,
Соседовым березняком,
В котором ягод было много
И сыроежек... А потом,

Потом — паром! А за рекою
И дом...» Вдруг лезвием меча
Коснулось сердца. «Что такое?» —
А смерть глядит из-за плеча.

Уже похолодели пальцы,
А на груди — в груди? — паук,
И гаснет память: встречи, зальце,
Глаза, уста и столько рук

Протянутых!.. Но смерть сурова,
И завтра утром, в час седой:
«А генерал-то из шестого
Скончался!» — скажет номерной.

* * *

На много лет, увы, я старше Вас,
Я тяжелей, а старость не ходатай
В делах любви... Пишу, а в этот час
Из-за плеча Судьба, как соглядатай,
Глядит в тетрадь:

«Любовные стишки?

Опять? Кому? – Пора б уgomониться!»

Мне тяжело выслушивать смешки,
Мне не под силу, слышите ли, биться
За час, за миг... Я знаю – счастья нет,
За тенью же его не угоняться...
Я, бедный исписавшийся поэт,
Глагольной рифмой рад в том расписаться.

За поцелуй, за потемневший взгляд,
За то, что ты лицом к груди прижалась,
Благодарю, – но страшен мне пожар,
Тобой зажженный, может быть, как шалость.

Простимся же, простимся хорошо,
Не опустившись до уколов быта...
Я удаляюсь... В темный капюшон
Отчаянья – лицо мое укрыто...

Харбин, 1931

* * *

День отошел. Отяжелевший, лег,
Как вол послушный или слон рабочий, –
И эти двадцать или тридцать строк
Едва-едва я выпрошу у Ночи.

Не выпрошу – так вырву... Карандаш,
Покорный друг видений, льнущих к окнам, –
Еще одни стихи ты мне отдашь,
Что начинались ямбом пятистопным...

А нужно мне сказать лишь об одном:
О том, что сердце, стиснутое в обруч
Томления, оберегало днем
И что теперь вошло, как женский образ...

Не назову, не выскажусь ясней,
Не обозначу знаком, цифрой, годом,
Не намекну, не прошепчу во сне,
Не зашифрую самым строгим кодом...

...Спасибо, Ночь. Спешу над миром течь
Туманами, огнями голубыми...
А мне, как заговорщику, беречь
Еще Гомеру вемое имя.

Харбин, 1931

* * *

...Не случайно ...Был намечен выбор,
Был в безмолвьи пройден долгий путь...
Без победы этой не могли бы
Мы и капли счастья зачерпнуть.

Ты лицом к груди моей прижалась...
О защите? О любви? О чем?..
И не только нежность, но и жалость
Обожгла мне сердце горячо...

Взор тонул в глазах полузакрытых,
Умирал полуоткрытый рот...
Твоего дыхания напиток
Сладостнее лотоса цветет...

Знаю я всё то, что надлежало б
Испытать нам в вечер тот глухой, —
Но ведь ты к груди моей прижалась
С нежностью доверчивой такой...

Темный зверь не вырвался из плена,
Он дремал на дальнем берегу...
Я и сам, и сам не знал, Елена,
Как, любя, любовь беречь могу...

Харбин, 1932

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Хорошо на легких лыжах
Мчатся с белого холма,
Чтобы ветер бега выжжет
Всю тоску твою сполна.

Чтобы рядом в белом свете
Мчалась та, что так мила,
Чтоб пронзила в этом ветре
Сердце – общая стрела.

Были многие другие,
Много взоров и ланит,
Но далекая Россия
Ту, далекую, хранит...

Называлась Лидусей,
Гимназисткой костромской,
Очи – сини, косы – русы,
Голос ласковый такой.

Аракчеевским кадетом
Приезжал ты. Счастья нет, –
Не гусаром, а поэтом
Отчего-то стал кадет.

Дома жарко дышит печка,
А на улице – мороз...
Выбегала на крылечко,
За тобой он лыжи нес...

Ах, коричневая шубка,
Капор, муфта из песка!
Наст похрустывает хрупко,
В нетерпении сердца...

Север. В три уже темнело,
Зажигал окошки дом
И поземкою звенела
Ночь, как чистым серебром.

Перекаtywало небо
Лучезарные столбы...
Память, большего не требуй, —
Тяжела рука Судьбы.

Дивным Северным Сияньем
Даль моя озарена,
И томит воспоминанье
Крепче терпкого вина.

* * *

Так разворачивается пружина,
Соскочив со своих зубцов,
Так беснуется одержимый,
Так измене плюют в лицо.

Так, обрушив на сердце память
О стране, где всего теплей,
Сводят брови на черный пламень
Сжигаемых кораблей!

НА ЗАДАННЫЕ РИФМЫ

Постукивая точным молоточком,
Шлифуя речь, как индус — шар из яшмы,
Поет поэт, пока не капнет точка,
И не войдем в его шальной шалаш мы.

И тот турист, который хмуро тщится
Проникнуть в смысл, — не прячь лицо в жабо ты!
Ведь эта бесподобная вещица
Прелестна исключительной работой.

А современник (в смокинге иль блузе —
Наряд не важен в человеческой чаше!) —
Он от стихов, вздыхая, ждет иллюзий,
Ведущих, умягчающих, учащих.

В КИТАЕ

Узкие окна. Фонарика
Продолговатый лимон,
Выжженный в мреющем паре — как
Вызолоченное клеймо.

Думаешь: тщательно вырисуй
Загнутых кровель углы.
Звезд лиловатые ирисы,
Синее марево мглы.

Небо... Не медными горами
Над перевалом веков —
Храм с девятнадцатью Буддами
Медленных облаков.

ПЛАВУНЬЯ

Вытягиваясь, — в преломлении струй
Она на миг как в воздухе висела, —
Открыла глазу блеск и чистоту
Очаровательнейших линий тела.

То левое, то правое плечо...
Как бы лаская, взмах руки положен...
И, удаляясь, красный колпачок
На поплавок нам кажется похожим.

И только небо было вокруг него
Да золотой, чуть дымный, зной июня...
Под синевой и над синевой
Как бы парила в воздухе плавунья.

У горизонта тлели паруса,
Тончайшим ветром веяло оттуда...
Не так ли совершались чудеса
Библейские?.. Но разве жизнь — не чудо?

У ПРЕДЕЛА

Изгнание, безвыходность... Пустое!
Я мог бы жить еще года, века,
Как сорок лет, что жил самим собою,
Не зная ощущенья тупика.

Негодовать, влюбляться, удивляться,
С самим собой изнемогать в борьбе,
С надменной миной сноба-верхоглядца
Подкрадываться к самому себе...

Но я себе наскучил, как сожитель
По каземату, скрытому в душе.
Так что же делать мне с собой, скажите,
Самим собой зачеркнутым уже?

Беззвездный год мной терпеливо прожит, —
Он отошел, ничем не пособя,
Не выползти из одряхлевшей кожи,
Не убежать от самого себя!..

* * *

Свет зажжен. Журнал разрезан...
Чтобы в радость проскакать,
На подлокотник лонгшеза
Помести большой стакан.

И в усладе легковейной,
Папиросу закуря,
Процеди глоток портвейна
Золотого, как заря.

Пусть судьба грохочет зычно
Ускользящему вслед...
Так Языков параличный
Промечтал двенадцать лет.

И, свободный, одинокий,
Дух ты легкости предашь,
И запишет эти строки
Осторожный карандаш.

И, довольный всем отменно,
Презирающий чуть-чуть, —
Ты о женщине надменной
Позабудешь как-нибудь.

ОРБИТА

Ты, молчаливый, изведаль много,
Ты, недоверчивый, был умен,
С лучшими мира ты видел Бога,
С самыми страшными был клеймен.

Знающий — самое лучшее смерть лишь,
Что ж не прикажешь себе: «Ложись!»
Окнам безлюдным позорно вертишь
Злую шарманку, чье имя — жизнь.

Пыльны цветы на кустах акаций,
Смят одуванчик под теркой ног...
Твой дьяволенок посажен на цепь —
Вырасти в дьявола он не смог.

Что же, убей его, выйдя к Богу,
Выбери схиму из чугуна,
Мерно проламывая дорогу,
Как спотыкающаяся луна.

Будешь светить ты неярким светом,
Где-то воруя голубизну,
И завершишь небольшим поэтом
Закономерную кривизну.

ИЗ КИТАЙСКОГО АЛЬБОМА

I

Ворота. Пес. Прочавкали подковы,
И замер скрип смыкающихся створ...
Какой глухой, какой средневековый
Китайский этот постоянный двор.

За ним — поля. Кумирня, кукуруза...
А в стороне от глинобитных стен,

На тонкой жерди, точно для антенн, —
Отрубленная голова хунхуза.

II

Я проснулся в третьем часу,
Ночь была глубока, как яма.
Выли псы. И внимая псу,
Той звериной тоске упрямой, —

Сжалось сердце. Ему невмочь,
Не под силу ни сон, ни бденье!..
И плескалась о стекла ночь
Небывалого наводнения.

III

Кожа черная с синевой.
Лоб и щеки до глянца сухи.
На открытых глазах его
Копошились желтые мухи...

Но угроза была у губ,
В их извилистой нитке серой,
И шептал любопытным труп:
— Берегитесь!.. Пришла холера.

ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ

Какой-то срок, убийственная дата,
И то, что называлось мастерством,
Что смелостью пленяло нас когда-то, —
Уже фальшивит шамкающим ртом.

О, трупы душ в тисненых переплетах,
Чей жар остыл, чей свет уже потух, —
Что уцелело от посильных взлетов,
От непосильных творческих потуг?

Лишь чудаков над вашим склепом встретишь;
Но даже им, искателям пути,
Сверкающую формулу бессмертья
В остывшем пепле вашем не найти!

И только страсть высоким воплем меди
Еще звучит, почти не отходя,
Да голубые молнии трагедий
У горизонта небо бороздят...

Лишь вопль из задохнувшейся гортани,
Лишь в ужасе воздетая рука...
Лишь речь нечеловеческих страданий,
Как маяки, как искра маяка, —
Векам, в века!

ЗЕЛЕНОГЛАЗОМУ ВРАГУ

Так пощипывает холод,
Так нащупывает нож —
Ощущение укола,
Электрическая дрожь.

Обернусь. Зеленый, зоркий
Взгляд, притянутый ко мне.
Так хорек глядит из норки
На врага. Так камень

Можно, вылив в созерцанье
Волю бить, кусать, душить:
Ядовитое мерцанье
Ненавидящей души.

Так, смертельным страхом болен,
Перейдя времен предел, —
Достоевский из подполья
На Тургенева глядел.

Сердцем к сердцу, жалом к жалу,
Укусив от боли снег,
Той же яростью, пожалуй,
Бледный Пушкин прояснел, —

Лишь поймал стволом граненым
Ненавистный силуэт.
Взглядом подлинно влюбленным
Обнял. Крикнул пистолет!

Снова — в точность протокола,
К мелочам — от грозных глыб:
Ощущение укола,
Ощущение иглы...

Обернусь, и взор зеленый
Ускользает, гаснет шаг.
Да, за мной неутомонный
Соглядатайствует враг.

Ни на шаг не отодвинусь,
Не прикрою грудь щитом:
Плюс и минус, плюс и минус, —
Друг без друга мы — ничто!

ДЕСЯТИЛЕТНИМ

Мне проследовать пора бы
Мимо вас к заботам дня,
Но, ребята, ваш кораблик
Задержал сейчас меня.

Он плывет, и крик ваш звонок,
У булыжника — аврал...
Так и Петр, еще ребенок,
С дядькой Зотовым играл.

Подождите, подрастете,
И у вас, как у него,
Будет Яуза и ботик,
Встреча с вольной синевой!..

Накормите ж сталью мускул,
Укрепите волей грудь,
Чтоб пристать к границам русским
Вы смогли когда-нибудь.

Чтобы дух ваш не был связан,
Чтоб иной была пора,
Чтобы пал советский Азов,
Как турецкий у Петра!

И тогда — проходят мимо
Дни, согбенно семеня, —
Вы моей земле родимой
Поклонитесь от меня!

БЕЗ

Бестрепетность. Доверчивость руки.
И губы, губы, сладкие как финик,
И пряди, выбившиеся на виски,
И на висках рисунок жилок синих.

И ночь. И нарастание того,
Что называет Пушкин вдохновеньем...
Автомобиль буграстой мостовой,
И световой, метущий тени веник.

И это всё. До капли. До конца...
Так у цыган вино гусары пили.
Без счастья. Без надежды. Без венца.
В поющей муке женского лица,
Без всяких клятв, без всяких «или — или»!

МОЙ УДАР

Когда придет пора сразиться
И ждут сигнального платка,
Ты, фехтовальщик, став в позицию,
Клинком касаешься клинка.
За этим первым ощущением
Прикосновения к врагу
Как сладко будет шпагу мщения
О грудь его согнуть в дугу...
Но нет, но нет, не то, пожалуй:
Клинок отбросив на лету,
Я столько просьб и столько жалоб
В глазах противника прочту.
И, салютующий оружием,
Скажу, швырнув в ножны клинок:
«Поэты, смерти мы не служим, —
Дарую жизнь тебе, щенок!»

РАССТРЕЛЯННЫЕ СЕРДЦА

Выплывут из дальности муаровой
Волга и Урал.
Сядет генерал за мемуары,
Пишет генерал.

Выскребает из-под давней пыли
Даты-светляки.
Вспоминает, как сраженья плыли,
Как *бросал полки*.

И, носясь по мареву побоищ
В отзвуках «ура», —
Он опять любит себя собою,
Этот генерал...

Нам же, парень, любоваться нечем:
Юность истребя,
Мы бросали гибели навстречу
Лишь *самих себя*.

Перестрелки, перебежки, водка,
Злоба или страх.
Хрипом перехваченная глотка
Да ночлег в кустах...

Адом этим только на экране
Можно обмануть.
Любят зажившие мещане
Посмотреть войну.

Любят в мемуарах полководцев
Памяти уют,
Ибо в них сражение *дается*,
Как *спектакль дают*.

Не такую вздрагивают дрожью,
Как дрожал солдат...
Есть и будут эти строки — ложью
С правдой цифр и дат!

Ложью, заметающею зверств и
Одичаний след.
А у нас – расстрелянное сердце
До скончания лет!

СОЗРЕВШАЯ ОСЕНЬ

И, напевая, вдохнул созревшую осень.
Уот Уитмэн

Окно откроем, и не надо
Курить без передышки... Встань.
За ночь бессонную награда –
Вот эта розовая рань.

Вот эта резвая свобода
Порвать любой тревоги счет.
Гудок какого-то завода
Уже на улицу зовет,

И свежесть комнату ласкает...
Смотри-ка – девушка бежит,
Ее торопит мастерская,
Улыбкой взор ее дрожит.

И, как два яблока на блюде
(Горжусь сравнением моим!),
Она несет две спелых груди
Под тонким джемпером своим.

Но рано думать о десерте,
Плотским желанием горя...
Кто из поэтов запах смерти
Учуял в зовах сентября?

Он просто лжец! С какой отрадой
Я пью хрустальное вино,
И, право, всё, что сердцу надо,
В глотке смакующем дано.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Юноша, как яблоко, румян,
От родных уплыл за океан.
Жил безвестно он в краю чужом,
Счастье он нашел за рубежом.

Зрелым мужем, весел и богат,
Странник возвращается назад.
Вот и дом. Стучит... Ответа нет...
Вышел потревоженный сосед.

«Где отец мой?» — В ветре шелестит:
«Твой отец на кладбище лежит.
Холмик неоправленный сдвоя,
Рядом с ним и матушка твоя...»

«Где мой брат?» — И голос отвечал:
«Брат твой нищим попрошайкой стал.
Где-нибудь в трущобе, вниз лицом
Он лежит, исколотый шприцом».

«Где сестра?...» — Приезжему сосед
Почему-то медлит дать ответ.
Хлопнул дверь; доплеснула мгла
Черным ветром: «Лучше б умерла!..»

Город черен, грозный город спит.
Рыжий котик возле ног пищит.
Взял зверька под теплое пальто,
А глаза — к звезде. В глазах: «За что?..»

* * *

Опустошен, изжеван, как окурок,
И все-таки упорней, чем обет, —
Истрепанный предшественником Нурок:
«The boy is good. The book is very bad».

Зачем ему?.. Чужой язык — что крепость
Сорокалетнему: ее не окружить.
Не иллюзорна ли вся наша цепкость,
С которой мы хватаемся за жизнь?

И думаешь: вот так туберкулезный
Порой себе внушает аппетит,
А смерть уже своей косою грозной
Над согнутой спиной его звенит.

Зловеще нависающего мига
Не отстранить, не выползти из рва,
И нам нужна единственная Книга,
В которой есть об Иове слова.

ГРЯДА

Шетина зеленого лука
На серой иссохшей гряде.
Степные просторы да скука,
Да пыльная скука везде...

Вращает колеса колодца
Слепой и покорный ишак,
И влага о борозду бьется,
Сухую землю шурша.

И льется по грядам ленивой
Струей ледяная вода, —
Не даст ни растения нива
Без каторжного труда.

Китаец, до пояса голый,
Из бронзы загара литой,
Не дружит с усмешкой веселой,
Не любит беседы пустой.

Уронит гортанное слово
И вновь молчалив и согбен, —
Работы, заботы суровой
Влекущий, магический плен.

Гряда, частокол и мотыга,
Всю душу в родную гряду!
Влекущее, сладкое иго,
Которого я не найду.

* * *

Над обрывом, рыж и вылощен,
Иностранец-рыболов.
Гнется тонкое удилище.
«Не с добычей ли? Алло!»

На воде — круги и полосы.
Натянулась леска вкось.
Тусклый голос, скучный голос:
«*Понимайте, сорфалось!*»

И опять застыли оба мы,
И немую ширь реки
Гладят пальчиками добрыми
Голубые ветерки.

Даль речная как плавило —
Вся из жидкого огня...
Сколько раз судьба ловила
На крючки свои меня!

Сколько раз, как *мистер* этот,
Эта клетчатая трость
(Знать, крючка такого нету!), —
Сокрушалась: «Сорвалось!»

Но не надо бы бахвалиться —
Похвалиться хорошо ль?
Поплавка грозящий палец
Мигом под воду ушел.

И маши теперь удилищем,
Чертыхаясь что есть сил...
Иностранец, рыж и вылощен,
Даже глаза не скосил.

* * *

Бывают золотые вечера,
Бывают медленные мгновенья,
Когда печаль, уснувшая вчера,

Опять, опять на сердце вяжет звенья
И говорит в спокойном увереньи:
«Пора, мой друг, уже давно пора!»

И голос тот — как добрая пчела,
Поющая о меде и цветеньи:
Она летит у самого чела,
Не отстает, полет свивая в звенья,
В те страшно-медленные мгновенья,
В те дымно-золотые вечера.

* * *

С головой под одеяло,
Как под ветку птаха,
Прячется ребенок малый
От ночного страха.

Но куда, куда нам скрыться,
Если всем мы чужды?
Как цыплята под корытце,
Под крылечко уж бы!

Распластавшийся, — кругами
В небе Рок, наш коршун.
Небо синее над нами —
Сводов ночи горше!

Пушкин сетовал о няне,
Если выла вьюга:
Нету нянюшек в изгнаньи —
Ни любви, ни друга!

* * *

Пустой начинаю строчкой,
Чтоб первую сбить строфу.
На карту Китая точкой
Упал городок Чифу.

Там небо очень зеленым
Становится от зари
И светят в глаза драконам
Зеленые фонари.

И рикша — ночная птица,
Храпя, как больной рысак,
По улицам этим мчится
В ночной безысходный мрак.

Коль вещи не судишь строго,
Попробуй в коляску сесть:
Здесь девушек русских много
В китайских притонах есть.

У этой, что спиртом дышит,
На стенке прибит погон.
Ведь девушка знала Ижевск,
Ребенком взойдя в вагон.

Но в Омске поручик русский,
Бродяга, бандит лихой
Все кнопки на черной блузке
Хмельной оборвал рукой.

Поручик ушел с отрядом.
Конь рухнул под пулей в грязь.
На стенке с погоном рядом —
И друг, и великий князь.

Японец ли гнилозубый
И хилый, как воробей;
Моряк ли ленивый, грубый,
И знающий только «Пей!»

Иль рыхлый, как хлеб, китаец,
Чьи губы, как терки, трут, —
Ведь каждый перелистает
Ее, как книжку, к утру.

И вот, провожая гостя,
Который спешит удрать,
Бледнеющая от злости,
Откинется на кровать.

— Уйти бы в могилу, наземь!
О, этот рассвет в окне!
И встретилась взглядом с князем,
Пришпиленным на стене.

Высокий, худой, как моши,
В военный одет сюртук,
Он в свете рассвета тощем
Шевелится, как паук.

И руку с эфеса шашки,
Уже становясь велик,
К измятой ее рубашке
Протягивает старик.

И плюнет она, не глядя,
И крикнет, из рук клонясь:
«Прими же плевков от бляди,
Последний великий князь!»

Он глазом глядит орлиным,
Глазища придвинув вплоть.
А женщина с кокаином
К ноздрям поднесла щепоть.

А небо очень зеленым
Становится от зари.
И светят в глаза драконам
Бумажные фонари.

И первые искры зноя —
Рассвета алая нить —
Ужасны, как всё земное,
Когда невозможно жить.

ЮЛИ-ЮЛИ

Мне душно от зоркой боли,
От злости и коньяку...
Ну, ходя, поедем, что ли,
К серебряному маяку!

Ты бронзовый с синевою,
Ты с резкою тенью слит,
И молодо кормовое
Весло у тебя юлит.

А мне направляет глухо
Скрипицу моя беда,
И сердце натянута туга
Ритмические провода.

Но не о ком петь мне нежно —
Ни девушки, ни друзей, —
Вот разве о пене снежной,
О снежной ее стезе,

О море, таком прозрачном,
О ветре, который стих,
О стороже о маячном,
О пьяных ночах моих,

О маленьком сне, что тает,
Цепляясь крылом в пыли...
Ну, бронзовый мой китаец,
Юли же, юли-юли!..

* * *

Пусть одиночество мое сегодня —
Как масляный фонарик у шахтера
В руке, натруженной от угля и кирки,

Который он над головою поднял,
Чтоб осветить сырого коридора
Уступы, скважины и бугорки.

Свети же, одиночество, свети же!
В моем пути подземном мне не нужен
Ни друг, ни женщина! Один досель

И впредь один, путем, который выжжен
Раскатами обвалов за спиною,
Отчаяньем погибших предо мною, —

Скребусь туда, где пребывает Цель!

* * *

Вниз уводят восемь ступеней.
Дверь скрежещущая. Над ней,
На цепи — качай его, звонарь! —
Колокол отчаянья — фонарь.

Влево, вправо вылинявший свет,
Точно маятника *да и нет...*
Сочетавшиеся свет и звук,
Взмахи дирижирующих рук.

Никнет месяц. Месяц явно рыж
От железа этих ржавых крыш.
Ночь прислушивается. Дома —
Как тысячелистые тома.

Как на полках книги дремлют в ряд,
Четырехэтажные стоят.
Неужели вам, бездарный день,
В них еще заглядывать не лень!

Вот рассвета первые ростки.
Неба побелевшие виски.
Восемь ступеней, как восемь льдин.
Восемь. И болливый кокаин!

Застегну до ворота пальто.
Брошусь в пробегающий авто.
И, шофера отстраняя прочь,
Догоню спасительницу-ночь.

НАД МОРЕМ

... Душит мгла из шорохов и свиста,
Поднимая теплоту до плеч,
И на плащ, шуршавший шелковисто,
Почему усталым не прилечь?

Вот ты — вся. За тканью, под рукою, —
Мускулов округлое тепло...

Водопадом радости к покою,
Словно лодку, сердце повлекло.

Снова стало видно, слышно стало:
Звон травы, фонарик рыбака...
Снова море шорохом усталым
Говорит, что полночь глубока.

На рассвете дрожь щекочет кожу,
И свернуться хочется в клубок;
На рассвете снится теплый кожух
Дедушкин, уютен и клубок,

Или — сумка (утром сны — о детском)
И цветные в ней карандаши...
На рассвете сны мои не бегство ль
В прошлое стареющей души?

Вот отец, собрав на переносы
Складки лба, взглянул на шалуна,
И бровей его седоволосье —
Страшно молвить — как у колдуна!

Ты проснешься раньше. И, на локоть
Опершись, — в твоих глазах испуг, —
Поглядишь: из мглы голубоокой
Выплывает алый полукруг.

И, от ночи на земле продрогнув,
Сонной лени разомкнув кольцо,
Взглянешь ты внимательно и строго
На худое милое лицо...

И, упав, чтоб телом греться возле,
Вновь сомкнешь томление и лень.
А восток уже над морем разлил
Золотой и розоватый день...

* * *

Лечь, как ложится камень
На верстовом пути,
И обрасти веками,
В землю до плеч уйти.

Слушать, уставя челюсть
В травы тропы живой, —
Люди шагают через
Каменный череп твой.

Знать, впереди и эти
Лягут: за рядом ряд...
Вот твой удел, Бессмертье,
Высшая из наград!

ИЗ ПОТЕРЯННОЙ ПОЭМЫ

... Двойную тяжесть мы с тобой несем,
Нам каждый день, как крепость, отдан с боем,
И рассказать, поведать обо всем
Немыслимо, пожалуй, нам обоим.

У каждого есть некая черта,
И за нее друг друга мы не пустим;
Она встает как некий Гибралтар,
И лишь за ней — нестиснутое устье,

Где подлинность. И там позор и страх,
И там, и там... — не слушай, голубица! —
Там полночью тоскуют у костра
Убийца черный и самоубийца.

Они молчат. Смотрят на блеск огня.
Так смотрят совы — кругло, неотводно...
А где-то плачет, не дождавшись дня,
Двум выродкам на поруганье отдан,
Ребенок-сердце...

МЫ СВЯТО ВЕРИМ В ТЕБЯ, РОССИЯ

Христос Воскресе! — Сквозь все тревоги
И все лишенья — сияет свет,
И пусть тернисты еще дороги,
Но вере в счастье не скажем: «Нет»!

Христос Воскресе! — Года лихие
Промчат бесследно и навсегда.
Мы вновь увидим поля России
И скажем жизни воскресшей: «Да»!

Христос Воскресе! — Пусть вьются тучи
И ночь над нами мрачна, как бред,
Но бодро верим мы в жребий лучший
И дням грядущим не скажем: «Нет»!

Христос Воскресе! — Из ночи звездной
Нам стяг Российский несут года, —
Мы невредимо пройдем над бездной
И смело скажем надежде: «Да»!

Христос Воскресе! — Над темным бредом
Советских подлых, проклятых лет —
Пройдем мы к русским, святым победам
И всем отпавшим ответим: «Нет»!

Христос Воскресе! — Лихие, злые
Умчат години, падут года.
Мы свято верим в тебя, Россия,
Твоей победе гремим мы: «Да»!

ПОДВИГ

Обозный люд, ленив и беззаботен,
Разбрелся по халупам и дворам.
Всё небо в тучах. Маленький Сахотин
В дожде, в ветру... и с ним по временам

Гул долетает канонады тяжкий...
В оконных рамах дребезжит стекло.
А вот штандарт. И у штандарта с шашкой
Стоит казак. И шашка — наголо.

Но что за крики, что за топот странный,
Чужих коней стремительная рысь?
К оружию!.. Немецкие уланы
В несчастное местечко ворвались!

Они неслись, как буревая туча.
Кто даст отпор? Победа им легка...
Обоз захвачен, и плачевна участь
Штандарта беззаботного полка!

Ужели враг его святыню отнял?
Погибла честь, и рок неумолим?
Но в это время забайкальский сотник
С разведки шел. Лишь девять сабель с ним.

— За мной, орлята! — Ринулись казаки, —
Так в грудь тел врезается ядро.
И все трофеи, не приняв атаки,
Им возвратил немецкий эскадрон.

Святой Георгий грудь героя тронул,
И белый крестик засиял на ней.
Но *кто* герой истории моей,
Кто этот сотник? *Атаман Семенов*.

БЕДНОСТИ

Требуй, Бедность, выкупа любого
Из твоих когтей, —
Отбирай из самого святого,
Что всего святей!

Отнимай, как победитель грубый,
Всё и навсегда:
Приказания твои — как трубы
Страшного Суда!

Вымогай заимодавцем грозным,
Ставь на правези!
Чахлым недугом туберкулезным
К койке привяжи!

Наклоняй негнущуюся спину,
Бей кнутом по ней;
Укажи холопство дворянину
Голубых кровей!

Вкладывай топор тяжеловесный
В руки батраку;
Шествуй вместе с девушкой чудесной
В спальню к старику...

Что еще? С покорностью какую
К алтарю припасть?
Не себя ли собственной рукою
Пред тобой закласть?

О Богиня, грозным повеленьям
Внемлет всё кругом:
Пред тобою все мы — на колени
И о землю лбом!

ЗА ОКЕАН

Т. А.

Из русской беженки возвысясь
До звания гражданки чужой,
Из русской девушки став *миссис*,
Американкой и женой,

Вы всё же, думаю, в полете,
В тревоге поисков еще...
Ну, как, Тамара, вы живете,
Как день восходит и течет?

В труде, в тоске, в заботном плене,
В любви семейственной, простой,
И часто ль душу вдохновенья
Сжигает пламень золотой?

Уж по-английски, не по-русски
Стихи у вас, сказали мне,
И вы уже не в скромной блузке,
Как я вас помню в Харбине.

Но так-то именно и надо,
Надменность юности права:
Глаза у вас стального взгляда,
Стальная ваша синева!

Как удивительно — есть люди,
Чей лик несешь через года,
Но встречи с коими не будет
На этом свете никогда.

И, неким скованный союзом
В просторах сущих и былых, —
Молюсь о вас российским музам
И песню требую у них!

И, если к сердцу эти звуки,
Их скрытая, большая высь,
Над океаном наши руки
В рукопожатии сошлись!

* * *

Сегодня я выскажу вам
Самые сокровенные мысли,
Которые раньше прятал,
Как неприличную фотографию
Прячет гимназист.

Как он, замирая от сладострастия,
Отдается ей, запершись в клозете,
Так и я вытаскиваю эти слова
Из конуры моего одиночества.

Послушайте,
На чем основано
Ваше презрение ко всему,
Что не изъявляет желания
Гладить вас по шерстке?

Вы умны? — Нисколько.
Вы талантливы? — Ровно настолько,
Чтобы писать стихи,
За которые платят
По пяти центов за строчку.

Пожалуйста, не улыбайтесь!
Это не шутка
И даже
Не желание оскорбить,
Это много больнее
И называется — истиной.

Кроме того, вы блудник:
Вы не пропускаете мимо ни одной женщины
Без того, чтобы не сказать ей глазами,
Что всегда готовы к прелюбодеянию,
Как револьвер к выстрелу.

Малейшая неудача
Приводит вас в отчаяние,
Но подлинное несчастье
Не ощущается вами,
Как землетрясение не ощущается клопом.

И все-таки,
Человек высоких вдохновений,
Я испытываю к вам
Родственную — накрепчайшую! — любовь,
Которая мучит меня,
Как мучит порядочного человека
Связь с недостойной женщиной.

Да, вероятно,
Я когда-нибудь убью вас,
Как добродетельная жена
Убивает мужа,
Изменившего ей с проституткой.

И что же,
Ваше внимательное и любезное лицо,
Лицо сорокалетнего мужчины,
Продолжает улыбаться?
Вы слушаете меня,
Как слушают старую, надоевшую жену,
Как институтские глупости
Некрасивой женщины!

Я отклоняю дверцу зеркального шкафа.
Ибо, если невозможен развод,
Лучше уметь
Не замечать друг друга.

Отправляйтесь жить своею жизнью,
Как я живу своею.
До новой встречи в уличающей плоскости
Первого зеркала!

ПИСЬМО

Листик, вырванный из тетрадки,
В самодельном конверте сером,
Но от весточки этой краткой
Веет бодростью и весельем.

В твердых буквах, в чернилах рыжих,
По канве разлиновки детской,
Мысль свою не писал, а выжег
Мой приятель, поэт советский:

«День встает, напряжен и меток,
Жизнь напориста и резва,
Впрочем, в смысле свиных котлеток
Нас счастливыми не назвать.

Всё же, если и все мы тощи,
На стерляжьем пуху пальто,
Легче жилистые наши мощи
Ветру жизни носить зато!..»

Перечтешь и, с душою сверив,
Вздрогнешь, как от дурного сна:
Что, коль в этом гнилом конверте,
Боже, *подлинная* весна?

Что тогда? Тяжелей и горше
Не срываются с якорей.
Злая смерть, налети, как коршун,
Но скорее, скорей... Скорей!

* * *

Ходил поэт и думал: я хороший,
Талантливый, большой, меня бы им беречь!
И хлюпал по воде разорванной калошей
И жался в плащ углами острых плеч.

Глаза слезят от голода и яда,
В клыках зубов чернеет яма рта.
Уже вокруг колючая ограда
И позади последняя черта.

И умер он, беззлобный и беспутный,
Ночных теней веселым пастухом.
Друзья ночей, вору и проститутки,
Не грустят о спутнике ночном.

Лишь море в мол из розового мрака
Плеснет волны заголубевший лед
Да мокрая бездомная собака
Овоет смерть собачью и уйдет.

ТЕНЬ

Весь выцветший, весь выгоревший. В этот
Весенний день на призрака похож,
На призрака, что перманентно вхож
К избравшим отвращение как метод,

Как линию — наикратчайший путь
Ухода из действительности, — тело
Он просквозил в кипевшую толпу,
И та от тени этой потускнела.

Он рифмовал как школьник. Исключенья
Из правил позабытого значенья,

И, как через бумагу транспарант,
Костяк его сквозил сквозь призрак тела,
И над толпой затихшей шелестело
Пугливое: *российский эмигрант*.

ПРИЗРАКИ

Как недоверчиво и косо
Из облаков глядит звезда!
Тайфун крупинками дождя
По глянцевитым лужам бросил.

Как разбежалась фонарей
Испуганная волчья стая!
Подстерегает у дверей
Вот эта тишина пустая.

Дома приземисты и злы,
В них люди сумрачны и строги.
Тоски линиялые узлы
Загромоздили все пороги.

Мы постарели все. Уже
Мы телом так отяжелели.
По обязательной меже
Давно плетемся еле-еле.

И вдруг из этой тишины,
Из морозящей едкой пыли,
Приниженности лишены,
Два голоса внезапно всплыли.

Солдатской песенки слова,
Что нами в молодости пета...
И откачнулась голова,
Как от внезапной вспышки света.

«Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать».
Солдатская песня

Гремят шаги, звенят штыки,
Горят глаза, смеются лица:
Идут российские полки,
И над дорогой пыль клубится.

Поток шинелей ровно-сер...
«Эх, взвейтесь, соколы, орлами!»
Усатый унтер-офицер
Пронес суворовское знамя.

Неудержим могучий шквал
Потока этого людского.
Вот на коне прогрохотал
Гигант Паоло Трубецкого.

Куда империя стремится
Своих бойцов, к какой победе?
Но мгла черна, как динамит,
Изнемогая, полночь бредит...

Лишь в тучах тлеет синева,
Лишь ночь всё злей и неизвестней...
О, ядовитые слова
Родной простой солдатской песни!

Ужель навеки, навсегда?..
Пронизывающая сталь вопроса!
Китайский город. Ночь. Звезда.
Тайфун крупинками дождя
По глянцевитым лужам бросил.

СОСТЯЗАНИЕ БОГОВ

(Глава из «Превращений» Овидия)

Две тысячи упавших лет —
Ведь это там, где зрели мифы!..
...Жил замечательный поэт.
В изгнании умер он. И скифы
Сожгли его достойный прах.
...Не будь же, милый дух, в обиде,
Что речь твоя в чужих устах...
Теперь же говорит Овидий.

Властитель Фракии Мидас,
Оставив город свой веселый,
В лесные дебри навсегда
Ушел, и у подножья Тмола,
Горы с вершиной снеговой,
Живет, как Пан, соседом Пана,
Свирели ласковой его
Внимая ночью осиянной.

Бог козлоногий восхищал
Царя-отшельника игрою.
Из-за зеленого плюща
Он наблюдал за ним порою.
И видел, как нагих дриад
И нимф с росинками на коже
Свирельный легкокрылый яд
Вел к богу хитрому на ложе.

Раз, возгордясь успехом, Пан
Из той глуши, из мглы зеленой,
Собрав на влажный мох полян
Любовниц, вызвал Аполлона
На состязанье — был влюблен
В свое искусство бог коровий, —
И принял вызов Аполлон,
Хотя сурово сдвинул брови.

Арбитром призван старый Тмол,
Бог той горы, где всё случилось,
Он своевременно пришел,
Как в нем лишь надобность явилась.
В венке дубовом лоб. Со щек
Свисали желуди монистой:
Был Тмол и дряхл, и одинок,
И запах шел от бога мшистый.

И боле старый, чем гора,
Он заявил (уж все сидели):
«Судья готов, начать пора!»
И из пастушеской свирели
Пан звуки сладкие исторг,
Козлиной шкурой опоясан,
Повергнув песенкой в восторг
Царя-отшельника Мидаса.

Пан кончил. Божества лесов
И Тмол подняли взоры к небу:
Из туч блеснуло колесо
Блестящей колесницы Феба.
Парнасским лавром волоса
Украсил бог. И в пурпур Тира
(Зарозовели небеса!)
Его окрашена порфира.

Бог лиру левою рукой
Держал. В другой — смычок лучистый.
По самой позе мог любой
Признать в нем мастера, артиста.

Смычком по струнам он повел,
Взглянув на землю благосклонно.
Был очарован старый Тмол
Игрою Феба-Аполлона.

Игры такой, он объявил,
Еще не слыхивали в мире,
Венок победы присудил
Почтенный Тмол не флейте – лире.
Все согласились. В этот миг
Из темных чаш, где он скрывался,
Вдруг выскочил Мидас-старик
И на арбитра раскричался:

«Лицеприятен приговор,
Несправедлив ты, демон старый!»
Тмол обращает кроткий взор
На пришлеца, что в гневе яром
Готов браниться без конца,
И говорит, смеясь глазами:
«Какой же ты судья певцам,
О царь с ослиными ушами!»

Мидас касается рукой
Ушей, робея догадаться.
О боги, ужас, стыд какой –
Они в шерсти и шевелятся!..
Сияя смехом, мощно всплыл
К чертогам неба бог делосский:
Навек бессмертный наградил
Метой ослиной разум плоский!

Вопит Мидас: «Позор, беда!..
Как я наказан, дурень старый!»
И скрыл он уши навсегда
Богатой пурпурной тиарой.
Но мстит жестоко Аполлон
Тупицам, сыновьям бесславной
Бездарности, – и сделал он
Скрываемую глупость – явной.

Прислужник-раб, что подрезал
Царю волосы мечом, случайно
Про уши длинные прознал,
И близится необычайный
Финал... Боялся жалкий раб
Доверить тайну царской дворне,
На язычок же был он слаб, —
Общеизвестны рабы корни!

И сделал так он: у ручья
Он вырыл ямку; в ночь глухую
Склонился к ней, в нее шепча
Про тайну царскую лихую.
Поднялся шелковый тростник,
И через год он стае птичьей
Поведал то, что царь-старик
Берег, как дева клад девичий.

Так сын Латоны Аполлон
Был отомщен в своей обиде,
О том поведал нам сквозь сон
Тысячелетний — сам Овидий.
И царь Мидас — он лишь клише,
Что вечной краскою не стынет...
Читатель, мало ли ушей
Ослиных видим и поныне?

НОВОГОДНИЕ ВИРШИ

Говорит редактор важно:
«Новогодний бы стишок!»
За перо берусь отважно:
Раз в году — велик грешок!

Новогодние бокалы,
Гром музыки, серпантин,
Блеск какой-то дивной залы...
Много ль зал таких, Харбин?

Ничего!.. Валяю дальше...
Подает тебе коктейль
Дочка бывшей генеральши...
Рифмы: трель, капель, форель...

Трель так трель. Узывны скрипки.
Декольте и веера.
Тосты. Томные улыбки.
Чье-то пьяное «ура»...

С новым счастьем! С Годом Новым!
Пожеланий не жалея.
Но, как год назад, с Серовым
Гнется та же Манжелей.

Да, всё то же, то же, то же,
Как и десять лет назад.
Те же слуги, те же рожи,
То же пиво и салат.

Жизнь ушла, как светоч малый —
Как далеко до него!..
С новым счастьем? Что ж, пожалуй,
Если верите в него.

С НОВЫМ ГОДОМ!..

— С Новым Годом! — глаза в глаза.
— С новым счастьем! — уста в уста.
Жизнь проста.

День за днем и за годом год.
А за ними века ползут.
Так в медлительный ледоход
Льды идут.

Участь наша — в реке времен
Таять так же, как эти льды:
Исчезать от своей беды.

Лишь движения тихий звон,
Звон медлительный похорон.
Да ладья. На ладье — Харон.

Но об этом не думай, друг,
Эти мысли — как злой недуг,
Как заломленность в муке рук.

Ведь у нас есть с тобой вино, —
Пусть обманывает нас оно.
Вот стакан... у стакана дно.

Пей до дна! Не твоя вина,
Что судьба без вина темна.

— С Новым Годом! — глаза в глаза.
— С новым счастьем! — вся сладость уст.
Что гремит впереди? Гроза?..
— Пусть!

* * *

Я люблю, поднявшись рано,
В глубине поймать сазана,
Но зачем ты мне, сазан?
Возвращу тебе свободу,
В голубую брошу воду,
Взвейся, солнцем осиян...

Без добычи сердце радо,
И без доблестей отрада —
Вышина и тишина
Голубой сторожкой рани,
И душа, подобно лани,
Струнно настрожена.

Где границы этой дали?
Голубые дымки встали
И уведят дальше даль,
За просторы за большие, —
До тебя, моя Россия,
До тебя, моя печаль!

Но и ты, печаль, напевна,
Но и ты, печаль, царевна, —
Всё на свете — пустяки.
Термос. Чай горячий с ромом.
Эта лодка стала домом.
Лодка — дом. Душа — стихи.

«ТЫ» И «ВЫ»

Вода и небо. Море и песок.
Как музыкален плеск волны ленивой,
Струящейся на шелковый песок,
Аквамариновой, неторопливой!..
Но почему стал томным голосок?
Что ищите, печальная, вдали вы?
Песок и море. Полдень так высок.
Кого ты ждешь на берегу, Верок?

Быть может, парус — тот, что вдалеке
Повис крылом, сияющим в лазури, —
Примчит тебе, забывшейся в тоске,
Сердечные, живительные бури?
Они пойдут мальчишеской фигуре
И энергичной маленькой руке...
Но лобик твой надменно бровки хмурит:
Все эти *бури* — только признак... дури.

О'кэй, не спорю. Бури — чепуха.
Куда приятней безмятежность штиля.
О бурях я сболтнул лишь для стиха,
Для старой рифмы и еще для стиля:
Поэт всегда немножко простофиля...
Вы усмехаетесь с надменным: «Ха!»
И я смущен... Простор, за милей миля,
Вам шепчет имя нежное Эмиля...

Кто сей счастливец? Он меня поверг
В свирепую, отчаянную зависть...
Он всех достоинств пышный фейерверк?
Он вас влюбил, не благородством ль нравясь
Своих манер, и мир для вас померк?
Вот где тоски стремительная завязь?
Но ваш ответ все домыслы отверг:
«Эмиль в Шанхае... Он — француз и клерк».

От ног поспешно отряхну прах, —
Поэту, мне предпочитают клерка?..
Чудовище хотел я петь в стихах...
Вы не Верок — вы просто злая Верка,

И вам теперь совсем иная мерка,
Увы и ах... Увы, увы и ах!..
Взлети, тайфун, пади и исковеркай
Вот этот пляж, где дремлет изуверка!..

Но нет тайфуна... Море и песок,
Всё музыкальней плеск волны ленивой...
Упала прядь на золотой висок,
С ней ветерок играет шаловливый,
Он разбирает каждый волосок,
Как ласковый любовник терпеливый...
Песок и море. Полдень так высок.
— Я все-таки люблю тебя, Верок!

В НОВОГОДНЕЕ ПЛАВАНЬЕ

От январской пристани опять
Отплываем в плаванье годичное.
Сильно ль будет лодочку качать,
Завывать ветрина будет зычно ли?

Сильно ль будет встряхивать, влача
В бури эмигрантскую посудину?
И о тихой пристани мечтать
Не напрасно ли опять все будем мы?

Ничего, усталые гребцы, —
Что поделать, если плыть нам велено!
Перед вами не во все ль концы
Дали бесконечные расстелены!..

Море зарубежья пересечь —
Не поляну перейти цветочную.
Чтобы свой кораблик уберечь,
Смелыми нам надо быть и точными!

Смелыми и гордыми еще:
Горя мы великого избранники!..
Не подламывайся же, плечо, —
Мы ничьи не пленники, не данники!

Стар наш парус и скрипит штурвал,
Двадцать лет уже не видно берега...
Так Колумб когда-то тосковал —
К каравеллам приплыла Америка!

И поет дозорный в тишине —
Не поет, послушай, друг мой, стонет как
И глядит, не плещется ль в волне
Веточки береговой зелененькой?

СНЫ

Ночью молодость снилась. Давнишний
Летний полдень. Стакан молока.
Лепестки доцветающей вишни
И легчайшие облака.

И матроска. На белой матроске,
Словно жилки сквозь кожу руки,
Ярче неба синели полосы
И какие-то якорьки.

Я проснулся. Упорно, упрямо
Стали сами слагаться стихи,
А из ночи, глубокой, как яма,
Отпевали меня петухи.

Но рождалась большая свобода
В бодром тиканьи бедных часов:
Одного ли терзает невзгода
И один ли я к смерти готов?

Где-то в белых больницах, в притонах,
В черных камерах страшной Чека —
Столько вздохов, молений и стонов,
И над всем роковая рука.

У меня же веселая участь
Всех поэтов, собратьев моих, —
Ни о чем не томясь и не мучась,
Видеть сны и записывать их.

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Во дворе, перед навесом,
Дров накинута гора;
Горьковато пахнет лесом
Их шершавая кора.

У крылечка, под окошком,
Грузно — выравнены в ряд —
Пять больших мешков с картошкой
Толстосумами стоят.

Ах, запасливая осень,
По приказу твоему
Мы к жилью избыток сносим,
Одеваем дверь в кошму.

Чу, сосед стучит, как дятел,
Звонко тренькает стекло, —
Он окно законопатил,
Бережет *свое* тепло.

Не боясь грядущих схваток
С наступающей зимой,
Как прекрасен ты, Достаток,
Полнокровный недруг мой!

Ах, расчетливый и трезвый
Бородатый скопидом,
Почему дар песни резвой
Не считаешь ты трудом?..

Он с презрительностью смелой
Рассмеется от души:
«Ты всё пела?.. Это дело!
Так пойдн-ка, попляши!..»

Слух к стихам ему неведом,
К стихотворцу он суров...
Не тягаться мне с соседом
Ни картошкой, ни обедом,
Ни горой шершавых дров!

ПОСТРОЕЧНИКИ

Бороды прокурены,
Невеселый взгляд;
На скамьях у Чурина
Старики сидят.

Годы бодрость вымели
И лишили сил...
Но скажи, не ими ли
Строен город был...

Этот вот — не надо ли
Справочку одну? —
Рельсами укладывал
Насыпь к Харбину.

Тот, что носом в бороду
Точно схимник врос,
Вел когда-то к городу
Первый паровоз.

А вон той развалиной
Тут давным-давно
Первое повалено
Для жилья бревно.

И в болотной сырости —
Холодна, темна!.. —
Городу б не вырасти
Без того бревна...

Хлябь, трясина, прорва та,
Край и наг, и дик!
Вспоминают Хорвата
И еще других.

Тех, чьи лица в спальне
На стене висят,
Что на старом маленьком
Кладбище лежат.

Что пришли с лопатой,
С киркой, с топором,
С жертвою богатою,
С дружеством, с добром!..

И полоска узкая
Прорубила край,
И то дело русское
Не позабывай!

...Старики замшелые
На скамье чужой...
Головы все белые,
Все семьи одной.

С каждым годом менее
Милых стариков, —
Вихрь опустошения
Между их рядов.

Нет Иван Васильича,
Окунева нет!..
Кто ж от рака вылечит
В шестьдесят пять лет?

Спросишь — и нахмуренно,
Голосом тоски:
«Унесли за Чурина!» —
Скажут старики.

НАША ВЕСНА

Еще с Хингана ветер свеж,
Но остро в падах пахнет прелью,
И жизнерадостный мятеж
Дрозды затеяли над елью.

Шуршит вода, и точно медь —
По вечерам заката космы,
По вечерам ревет медведь
И сонно сплетничают сосны.

А в деревнях, у детворы
Раскосой с ленточками в косах
Вновь по-весеннему остры
Глаза, кусающие осы.

У пожилых, степенных манз
Идет беседа о посеве,
И свиньи черные у фанз
Ложатся мордами на север.

Земля ворчит, ворчит зерно,
Набухшее в ее утробе.
Всё по утрам озарено
Сухую синевою с Гоби.

И скоро бык, маньчжурский бык,
Сбирая воронье и галочь,
Опустит смоляной кадык
Над пашней, чавкающей алчно.

МОЛОДАЯ ВЕСНА

От натопленных комнат,
От дымящей плиты,
От людей, что не помнят,
Что такое цветы;

От вражды и от дружбы,
От упреков супруг,
От бесслужбы и службы,
От рычащих вокруг

Обязательств, квитанций,
Увлекавших ко дну,
Словно в музыку, в танцы, —
В молодую весну!

Лед уходит на север,
Закипают ключи,
На зеленом посеве
Важно ходят грачи.

Льды чернеют, сгорая,
Стужа — в черных гробах.
О бамбуковом рае
Размечтался рыбак,

О трепещущей снасти,
Об извивах волны, —
Каждый выудит счастье
Из разливов весны!

Даже старый и хилый,
С хриплым кашлем в груди...
Всех их, Боже, помилуй
И весной награди.

А без этой награды
Жизнь темна и тесна;
Все ломает преграды
Молодая весна,

Сокрушает запруды,
Мост кладет через ров,
И без этого чуда
Мир Твой слишком суров.

КАРПАТЫ

Карпатские горы, гранитное темя,
Орлов и героев приют,
Где доблестно бьется славянское племя
За жизнь и свободу свою!

Где десять врагов на единого воя,
Как встарь назывался боец,
Где битва кидает рукой огневою
На каждого славы венец.

Где, прежде чем кануть, боец пораженный
На рану ответит огнем,
Где рядом с мужьями сражаются жены
И дочери — рядом с отцом!

К Карпатам славянские думы и взоры,
К вершинам сияющим их:
Карпатские горы, высокие горы,
Не выдайте братьев моих!

Смыкайте ущелья, грозите лавиной —
Каменя на дерзкие лбы!..
Пока только вы — цитадель славянина,
Поднявшего глыбу борьбы.

Иначе... но нет *никакого* иначе:
С гранитных устоев Карпат,
Народом-героем решительно начат,
Гудит всеславянский набат.

Не черный ли ворон прокаркал: «Кар... паты!»
Пусть хищник и алчен, и зол —
Взлетайте, неситесь навстречу, орлята:
За вами — Двуглавый Орел!

ДЫМЫ

Час восхода нелюдимый,
Перламутровая тишь,
И куда ни поглядишь —
Всюду дымы, дымы, дымы
Над Везувиями крыш!

Как медлительны и прямы
Величавые столпы.
Розовеющие лбы
Их обращены упрямо
К солнцу: первый луч добыть.

И не странность ли большая:
Уголь черен, жесток, груб,
Но из этих грязных труб
Он, белейший, вылетает
Как дыханье чистых губ!

Я молитвенные очи
Поднимаю к высоте,
Я смотрю на дымы те
После страшной, тяжкой ночи, —
Ужас в ямной темноте!

Знаю, черная лопата,
Волосатая рука
Грозного Истопника
В печь меня швырнет когда-то.
И как белый дым — в зарю
Легковейно воспарю!

В КРЕМЛЕ

Глядят бывшего лики
В изгнаннический плен:
Гудит Иван Великий
Над высью древних стен.

И мощно меди волны
И бронзовая трель
Летят в сырую полночь,
В слезящийся апрель.

На паперти, в проходе,
Старик зажег свечу,
И свет по камню бродит,
Одев кирпич в парчу.

Под сводами собора
Блестит сырой асфальт,
И слышен возглас хора
И в нем высокий альт.

И в ладанной завесе,
За каменным ребром,
Звенит *Христос Воскресе*
Чистейшим серебром!

И вынесен народом,
В сверканьях золотых, —
Иду я с крестным ходом,
Родной среди родных!

И сыростью за ворот
Вползает ночь слегка,
И опрокинут город
В тебе, Москва-река.

И переулки глухи
Вокруг ночной реки...
Домой несут старухи
Святые узелки.

Нет злых и нет неправых,
У всех блаженный вид,
А на Кремлевских главах
Уже заря горит.

Гудит, Иван Великий,
Твой бронзовый разбег...

Незыблемые лики
Ушедшего навек!

* * *

Оправленный на гребнях в серебро,
Прибой о камни шаркает негромко.
Морская ширь звенит под зноем емко,
Раскалено гранитное ребро.

И ты — со мной. Ты — белая, ты — рядом,
Но я лица к тебе не обращаю:
Ты заскользишь по зазвеневшим грядам,
Ты ускользнешь по синему хрящу.

Но ты — моя! И дуновенье бриза,
И плач волны на каменном мысу,
Всё это — так! Всё это только риза,
В которой я, любя, тебя несу!

СЛЕПЕЦ

По улице, где мечутся авто
И каждый дом – как раскаленный ящик,
Внимания не обратит никто
На возглас меди, жалко дребезжащий,
Что издает слепца-китайца гонг:
Дзинь-донг, дзинь-донг!

Как призрак, в полдень вышедший из склепа,
В чужой толпе он медленно идет,
И бельма глаз его открыты слепо,
Незрячие, устремлены вперед.
У пояса миниатюрный гонг:
Дзинь-донг, дзинь-донг!

И шелестом безмолвия и мрака
Шуршит одежды обветшалый шелк.
Слепца ведет ушастая собака –
В облезлой шерсти, настоящий волк...
Она рычит, ее торопит гонг:
Дзинь-донг, дзинь-донг!

Лениво расступается толпа
И в две струи смыкается за парой:
Перед слепцом свободная тропа
На шаркающих плитах тротуара.
Слепец идет. И вздрагивает гонг:
Дзинь-донг, дзинь-донг!

А гордо поднятая голова –
Как выступ скал, где ночью ветры бьются...
Слепец, быть может, слушает слова,
Которые поет ему Конфуций,
И древний ритм отзванивает гонг:
Дзинь-донг, дзинь-донг!

И кажется, незрячий видит то,
Что расцветает в этом небе бледном
Над городом с надменными авто,
С их суетой и перекликом медным.
И, замирая, отвечает гонг:
Дзинь-донг, дзинь-донг!

В ЗАКАТНЫЙ ЧАС

Сияет вечер благостностью кроткой.
Седой тальник. Бугор. И на бугре
Костер и перевернутая лодка,
И чайник закипает на костре.

От комаров обороняясь дымом, —
Речь русская слышна издалека, —
Здесь, на просторе этом нелюдимом
Ночуют три веселых рыбака.

Разложены рыбацкие доспехи,
Плащи, котомки брошены в ковчег,
И воткнутые удочки — как вежи,
И круговая булькает бутель.

И кажется — опять былое с нами.
Где это мы в вечерний этот час?
Быть может, вновь на Иртыше, на Каме,
Опять на милой Родине сейчас?

Иль эта многоводная река —
Былинный Волхов, древняя Ока?

Краса чужбины, горы, степи, реки,
Нам не уйти от Родины навеки,
И как бы вам ни виться, ни блистать —
Мы край родной всё будем вспоминать!

Но сладок ваш простор, покой, уют, —
Вам наша благодарность за приют!

В СЕНТЯБРЕ

Сквозящий солнцем редкий березняк
Весь золотист, а клен в багряной тоге.
Где птичий щебет, милая возня?
В листве опавшей утопают ноги.

Глубокой дремой задремал лесок,
В прозрачности остекленевшей тонет.
Сентябрьский полдень ярок и высок,
Он царственен — ничто его не тронет!

Ни шороха, ни взмаха ветерка,
Пустыня бесконечного покоя.
Не движется зеркальная река,
Томит ее сиянье неживое.

И всё вокруг уже не жизнь, а след
Ее угасших одухотворений,
Ведь в этой *нарисованности* нет
Главнейшего из прежнего — движенья!

И лишь вдали, как призрак наяву,
То появясь, то за стволами кроясь,
Бросая дым клубами в синеву,
По насыпи гремит товарный поезд.

Пролетный гость далекой суеты,
Не нужен твой громоподобный грохот, —
Здесь только огорченные мечты
Да радость облегчающего вздоха.

Превыше солнца, в глубине пустой
За синевой, за звездными путями,
Как властелин, как победитель злой,
Смерть шествует, неся косу, как знамя!

В ВАГОНЕ

I

Вагонная тряска... Попутчик
С веселым лицом молодым —
Какой-то пехотный поручик,
Что едет к пенатам своим.
И он изъясняется книжно,
От жестов манерных не прочь,
А в окна легла неподвижно
Российская черная ночь!
В вагонах студенты, кадеты —
Всей юности нашей родник!
Со станции, в форму одетый,
Несет кипяток проводник.
И воздух в вагоне особый,
Его лихорадочно дрожь, —
На святки в родные трущобы
Спешит из Москвы молодежь.

II

Печален фонарь полустанка, —
Какое безлюдие тут!..
И снова колес перебранка,
И снова вагоны бегут.
Не более часа пробега,
Но где ты, столица-краса?
Уже, ошестинясь из снега,
Ее заслонили леса.
И ритма иного, глухого
Вздывается в сердце укор,
Как некое древнее слово,
Всем новшествам наперекор!
Не голос ли, в миф заточенный,
Не прашуров ли голоса?..
...У девушки этой ученой
Совсем печенежьи глаза!
Что книжка и речи о Блоке, —
Глаза говорят не о том!
И в сердце, как рана, глубокий,
Я чувствую древний разлом.

III

Не думать, не чувствовать лучше, —
Опасен Сочельника мрак!..
Желаете чаю, поручик?
А к чаю депревский коньяк.
Огромной тревоги истома,
Томящий и сладостный страх.
Пожалуй мы, русские, дома
Лишь в этих пустынных полях!
Вагоны несутся, качают,
Беседа сердечна, легка,
Но вот уж в окно набегают
Огни моего городка.
Прощанье, вагонная спешка,
И всё словно в некой игре.
Прощайте, моя печенежка,
До встречи в Москве, в январе!
Немножко и больно, и сладко, —
Мгновенья светлы и остры,
И вот уж смешная лошадка
Везет меня в домик сестры.

IV

Былое, ты кажешься сказкой,
И пусть его светоч погас —
С какой животворною лаской
Оно наплывает на нас.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Вечер, ночь ли — длится, длится
Странный час! Вокруг огней
Отрастают всё длинней
Золотистые ресницы.

Нынче в них живая дрожь, —
Не печаль ли в ней сегодня?
Как таинственно хорош
Этот вечер новогодний!

День не хочет край земной
Покидать, чтоб кануть где-то.
В небе отблеск слюдяной —
Поцелуй прощальный это!

И замедленно идет
Время к полночи суровой, —
Умирает Старый Год,
Но еще не явлен Новый.

И на этом рубеже,
На таинственнейшей грани,
Все сердца — настороже
Опасений, упований.

Никнут отблески зари,
Гасит Год последний лучик,
И сияют фонари
Всё мохнатей, всё колючей.

СТИХИ В ПИСЬМЕ

С Новым Годом!.. Как большие льдины
Из предельных стран, издалека,

Проплывают горькие години
Мимо беженского островка,

Мимо нас, что с каждым новым годом
Всё старей, — седеет борода!..
Сколько их прошло неспешным ходом
Лишь затем, чтоб кануть навсегда!

И с песчаной отмели пустынной
Мы следим за ходом этих льдин.
День проходит бесконечно длинный,
Дни идут, и каждый — как один!

Смотрим мы в темнеющие дали —
Не примчит ли, обагрён в закат,
За людьми, что ждать уже устали,
Белокрылый, радостный фрегат?

Где он, где он, голос капитана?
Скоро ль встречи долгожданный час?..
Хорошо уплыть в такие страны,
Где еще не разлюбили нас!

Но враждебна нам судьба-злодейка, —
Нет фрегата!.. К берегам пустым
Лишь подходит черная ладейка
За тобой, за мною, за другим...

ЯНУСУ

Раз в году пишу стихотворенье
В честь твою, Новорожденный год, —
Это словно жертвоприношенье,
Ограждающее от невзгод.

Древний Янус, не тебе ли в Риме
Выпекали на меду пирог,
Перед истуканами твоими
Томный Нерон благовонья жег!

Сквозь века к нам власть твоя домчала, —
Ты сегодня на устах у всех,
Божество вступленья и начала,
Начинанья каждого успех!

Пусть у нас твое забыто имя,
Всё ж к тебе, величественный Ян,
С горькими обидами своими
Вновь взывает столько россиян!

Каждый год в стихах и прозе жалкой,
Где смешались истина и ложь,
Шепчем мы, как старая гадалка,
Всё о том, что ты нам принесешь.

Не о том ли, что с твоим приходом,
С Новым годом, посетившим нас, —
Разрешенья беженской невзгоды
Наступает долгожданный час!

Так прими ж стихотворенье, Янус,
Лучше я сложить его не смог...
И уж больше не води нас за нос,
Превосходный, но двуликий бог!

ВСЁ РАВНО

Всё равно осталось жизни мало,
Всё равно от всех твоих оград,
Если их судьба не доломала,
Завтра только щепки полетят!

Ты, и я, и третий, и четвертый —
Сколько нас, одних примерно лет! —
Все мы только горсточка из мертвой
Редкостной коллекции монет.

Нас хранит страстишка нумизмата —
Зелень меди с чернью серебра, —
Но чеканка стерта и измята,
Ничего на нас не разобрать!

Но и пусть следы былого слепы:
Без седин и без морщин на лбу
Нам бы давний показался слепок
Страшной маской, сделанной в гробу.

Мы — как тени над житейским морем,
Мы — как лук без стрел и тетивы,
Мы еще шумим, еще мы спорим,
Но уже давным-давно мертвы.

Наш удел — покорность, примиренье,
Ибо даже в этом, в этом вот
Облегчающем стихотвореньи
Только синь вечерняя поет.

МОСКВА ПАСХАЛЬНАЯ...

В тихих звонах отошла Страстная,
Истекает и субботний день.
На Москву нисходит голубая,
Как бы ускользящая тень.

Но алеет и темнеет запад,
Реют, рдеют вечера цвета,
И уже медвежьей теплой лапой
Заползает в город темнота.

Взмахи ветра влажны и упруги,
Так весенне-ласковы, легки.
Гаснет вечер, и трамваев дуги
Быстрые роняют огоньки.

Суета повсюду. В магазинах
Говорливый, суетливый люд.
Важные посылные в корзинах
Туберозы нежные несут.

Чтоб они над белоснежной пасхой
И над коренастым куличом
Засияли бы весенней лаской,
Засветились розовым огнем.

Всё готово, чтобы встретить праздник,
Ухитрились всюду мы поспеть, —
В каждом доме обонянье дразнит
Вкусная, кокетливая снедь.

Яйца блещут яркими цветами,
Золотится всюду «Х» и «В», —
Хорошо предпраздничными днями
Было в белокаменной Москве!

Ночь нисходит, но Москва не дремлет,
Лишь больные в эту ночь уснут.
И не ухо, даже сердце внемлет
Трепету мелькающих минут!

Чуть, чуть, чуть — и канет день вчерашний,
Как секунды трепетно бегут!..
И уже в Кремле с Тайницкой башни
Рявкает в честь Праздника салют.

И взлетят ракеты. И все сорок
Сороков ответно загудят,
И становится похожим город
На какой-то дедовский посад!

На осколок Руси стародавней,
Вновь воскресшей через триста лет...
Этот домик, хлопающий ставней, —
Ведь таких давно нигде уж нет!

Тишина арбатских переулков,
Сивцев Вражек, Балчуг, — и опять
Перед прошлым, воскрешенным гулко,
Век покорно должен отступить.

Две эпохи ночь бесстрастно весит,
Ясен ток двух неслиянных струй.
И повсюду под «Христос Воскресе»
Слышен троекратный поцелуй.

Ночь спешит в сияющем потоке,
Величайшей радостью горя,
И уже сияет на востоке
Кроткая Воскресная заря.

КАК НА РОССИЮ НЕПОХОЖЕ

Объятый дымкою лиловой
Гор убегает караван.
Над ним – серебряноголовый
Прекрасный витязь Фудзи-сан.

И дышит всё вокруг покоем,
Прозрачен воздух, как слюда!
А рядом с грохотом и воем
Летят, грохочут поезда.

И в небесах гудит пропеллер,
Но нежно женщины страны
Поют теперь, как прежде пели,
Святые песни старины.

И опускают томно вежды,
И улыбаются легко,
И красочные их одежды
Благоухают далеко.

На мотыльков они похожи,
На экзотичные цветы,
И возле них так странно ожил
Певучий, сладкий мир мечты!

И как хорош поклон их чинный,
Привет улыбок золотых,
Когда спокойные мужчины
Проходят гордо мимо них.

Спокойствие и сила веет
Из глаз мужских, упорных глаз...
Значенья полный, тяжелеет
Насыщенный вечерний час.

И месяц встал над тучей хмурой,
Примчавшейся издалека,
И точно в лепестках сакуры –
Вся в блесках близкая река.

И парк ночью жизнью ожил,
Полночный час легко вошел...
Как на Россию непохоже,
Но как чудесно хорошо!

МУЖЕСТВА ТРЕБУЕТ ГОД...

(Из Овидия)

Муза моя, возврати мне сегодня свободу —
Зоркость верни мне мою, творческих сил благодать,
Чтобы, как истый квирит, мог бы я к Новому году
Стройностью песни моей чистую жертву воздать!
Бодрости требуют все. Мало товара такого
На самодельных ларях бедных слагателей строк,
И недостойно звучит их легковесное слово —
Не переступит оно за сокровенный порог!
Бодрость завязанных глаз? Бодрость таскаемых за нос?
Бодрость безмозглых телят в их задираньи хвостов?
Ты, наступающий Год, ты, о божественный Янус,
Нет, ты не примешь таких, чернью хвалимых, стихов!
Мужества требует год: не настоящее слово —
Бодрость, его столько мусолило губ!
Еле живое оно, еле живое, готово
В труп превратиться совсем, если уж ныне не труп.
Мужества требует год, в яростных битвах зачатый,
Сжатых до боли зубов, глаз, устремленных вперед.
С самых зловещих пещер сорваны дерзко печати,
Буря ж еще впереди в землетрясениях грядет!
Как уцелеем, друзья, в битве мы этой железной,
Если наш остров, примчав, буря с устоев сорвет?
Плакать позорно. Советы давать бесполезно.
Пусть даже гибель — *мужества* требует год!

МИШКА-ВОРИШКА

Танюше Серебровой

В лесу гуляет Миша,
Коричневый медведь, —
Играя, дуб колышет,
А то начнет реветь.

Глаза сверкают дико,
Гудит лесная ширь...

Таежный он владыка,
Таежный богатырь!

Но раз в зеленом гуле,
Когда к берлоге брел,
Нашел Топтыгин улей
Золотокрылых пчел.

Разбойничьи замашки
Годятся ли теперь?
Ведь пчелы — что букашки,
А он огромный зверь!

Ему ль пчелы бояться?..
К дуплу медведь идет:
Придется постараться
Достать душистый мед!

Но пчелы хоть и малы,
Но в улье их — полки:
Подняли разом жала
И бросились в штыки!

Одну задавишь лапой —
Другая на носу.
От Мишиного храпа
Кусты дрожат в лесу.

«Сдаюсь! — кричит Мишутка. —
Не буду меду брать!..»
Ведь улей-то не шутка, —
Придется удирать!

Рассказ на этом месте
Я кончить предпочел:
Малы, слабы, да *вместе* —
Вот в этом сила пчел!

ТАЙФУН

Я живу под самой крышей,
Там, где вихри гнезда вьют,
Я живу высоко — выше
Только голуби живут.

И окно мое на запад,
Чтобы в час, который ал,
Луч прощальный, луч внезапный
В нем ответно закипал,

Чтоб оно, уже живое,
Поднимало свой прицел —
Башенкой сторожевою
В осажденной крепостце.

Лишь поэты с музой вместе
Поднимаются туда.
Для других, скажу по чести,
Слишком лестница крута.

Винт железный слишком узок,
Слишком звонка тишина.
Здесь кряхтеньем ваших музык
Музыка не пленена.

Не гитара, не виолончель,
А Тайфун, косматый тур,
С ораторией тяжелых
Кровельных клавиатур.

Он летит, шафранокрылый,
Шею вытянув во тьму.
Я, как атом той же силы,
Резонирую ему:

— Крашеной жести дрязги,
Пыли свистящей вьюн...
Это — не слышишь разве? —
Пробует клюв Тайфун.

Это в пустыне Гоби
Он сорвался с цепей.
Это он спрыгнул в злобе,
Всяческих злоб слепей.

Ветви деревьев — в жесте
Прыгающих с перил.
Визг озверевшей жести,
Шелест шафранных крыл.

Бомбардировка крыши,
Стриженных скверов бунт.
Посланный миру свыше,
Ястребом пал Тайфун.

Прячутся в норы мыши,
Молния мглу зажгла.

Над барабаном крыши,
Над пустотой жерла —
Выше, выше, выше,
Став на упор крыла.

МУХА

Рассказ в стихах

В осень, стонавшую глухо,
К себе призывая жалость,
Ко мне прилетела муха
И жить у меня осталась.

Почистила нос, согрелась,
Судьбы оценила милость,
Вспорхнула, куда-то делась,
А к вечеру вновь явилась.

Садилась у лампы, мирно
Дремала, брюшко чесала,
И скоро ручной и смирной
Домашнею муха стала.

Ну что же, я думал, ладно,
Животным моим домашним
Живи, коль тебе отраднo,
Питайся куском вчерашним.

У этих есть мать-старуха,
Жена ли, а то собака,
Со мною же будет муха,
Мне с ней веселей, однако.

Но шляются всё же гости
В бродяжью мою разруху

И вздрагивают от злости,
Ручную увидев муху.

Ах, чешутся их ладони,
Их тянет к уничтоженью,
И самые растихони
Не сдерживают движенья

Убить – это так приятно,
В том сладкая капля яда,
Но руки кладу обратно,
Но я говорю: не надо.

«Но муха ж! – толпа сердилась. –
Он мух приручает, накось!
Ты что же, скажи на милость,
Не знаешь, что мухи – пакость?»

Грязнее они, чем обувь,
В них хворей таятся силы:
Разносят они микробов,
В их теле кишат бациллы».

Но, кротко смеясь глазами,
Я так отрезвлял их разом:
«Залетные гости, сами
Да разве ж вы не зараза?»

Пусть, скажем, от вас не слабит,
Не корчит от вас утробы,
Но тупости, злобы, ябед
Разносите вы микробов!»

Вставали, рычали глухо –
Связались, мол, с сумасшедшим,
А я, защитивший муху,
Вослед хохотал ушедшим.

«Безумец!» – змеились слухи,
К другому волок их каждый.
Но муха? А черта ль в мухе?
Она умерла однажды.

БОЖЬЯ ЕЛКА

Говорила богомолка,
Утешая мать мою:
«В этот день бывает елка
И у Господа в раю.

Сам Он звезды зажигает
На концах ее ветвей,
Светел-месяц опускает
Он низехонько над ней.

Сам Он собственной рукою
Весит сласти на виду,
Да у елки той и хвоя
Не горька, а на меду!

Кличет деток Он любимых, —
Хорошо ребятам с Ним!..
Ангелочков-херувимов,
Словно птичек, дарит им.

А за трапезою скатерть
Ризой солнечной горит.
Пресвятая Богоматерь
Всех оделит, усладит!

Что твой мальчик взят на небо —
Ты не плачь и не горюй:
Как святому, тот же жребий
Для безгрешного в раю!»

СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ

Отступать! — и замолчали пушки,
Барabanщик-пулемет умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отошел фанаторийский полк.

В это утро перебило лучших
Офицеров. Командир сражен.
И совсем молоденький поручик
Наш, четвертый, принял батальон.

А при батальоне было зная,
И молил поручик в грозный час,
Чтобы Небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.

Но уж слева дрогнули и справа —
Враг наваливался, как медведь,
И защите знамени — со славой
Оставалось только умереть.

И тогда — клянусь, немало взоров
Тот навек запечатлело миг! —
Сам генералиссимус Суворов
У седого знамени возник.

Был он худ, был с пудреной косицей,
Со звездой был его мундир.
Крикнул он: «За мной, фанаторийцы!
С Богом, батальонный командир!»

И обжег приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовет!
Мчались слева, подбегали справа,
Чтоб, сомкнувшись, ринуться вперед!

Ярости удара штыкового
Враг не снес; мы ураганно шли,
Только командира молодого
Мертвым мы в деревню принесли...

И у гроба — это вспомнит каждый
Летописец жизни полковой —
Сам Суворов плакал: ночью *дважды*
Часовые видели его.

ИНАЯ ЛЮБОВЬ

Хорошо ли мы живем иль худо,
Но в пределах узкостей земных, —
В наши дни не залетает чудо
На поющих крыльях золотых.

Дважды два всегда для нас четыре,
Измерений неуклонно — три,
И наш мирик в безграничном мире
Звездочкой тускнеющей горит.

Чем и как судьбу свою ни мерьте,
К одному придете вновь и вновь:
В два кнута от дня рожденья к смерти
Нас торопят голод и любовь.

Но весною, души сблизив с небом,
На минуту задержав свой бег,
Вспомним мы, что не единым хлебом
Жил гонимый к смерти человек,

И что есть Любовь совсем иная —
Шире наших маленьких орбит, —
Что Она приходит, обнимая
Всё, что в муке немощей скорбит.

Раз в году огромные просторы
Открывает для сердец Она, —
Словно кто-то поднимает шторы
И распахивает ширь окна.

А за ним — овеянная маем
Даль полей, и ручеек, и лес,
И тогда мы только вспоминаем,
Что Христос — Воскрес.

АНТИЧНЫЙ МОТИВ

Цезарь на Форуме статуи ставит любимым,
Виллы любовнице строит надменный богач...
Мне ль состязаться, милая, с царственным Римом,
Если Фортуна мне не дарует удач!

Даже ничтожным, той гладиаторской силой,
Что восхищает наших надменных матрон,
Мне не увлечь и не порадовать милой,
Ибо я музой горьких раздумий пленен.

Что ж я ликую? Ах, обрывая беседу
В час, когда пир к шумному близок концу,
Ты обернешься и не ответишь соседу,
Чтоб улыбнуться нежной улыбкой певцу.

БЕЗ РОЗ

В граненый ствол скользнула пуля —
Заряд старательно забит —
Сто лет назад в тот день июля,
Когда был Лермонтов убит.

Кто посягнул?.. Не франт заморский,
А тоже русский офицер;
Его в гостиных Пятигорска
Ласкали, ставили в пример.

Но кавалером не из лучших,
За дерзость сослан на Кавказ,
Считался маленький поручик
С тяжелым взглядом темных глаз.

Его стихи казались вздором
И слишком речь была резка:
Чернь оправдала дружным хором
Смерть у подножья Машука.

И вот опять леса, поляны;
Деревни русские ползут:
К несчастной бабушке, в Тарханы,
Поэта мертвого везут.

Не так ли в сивые метели
Дорогой зимней, столбовой,
И сани с Пушкиным летели
И обгоняли волчий вой?

Свистел ямщик. Фельдъегерь хмуро
Смотрел вперед и дул в кулак...
Так началась литература
И слава создавалась так!

И мы сказать, пожалуй, вправе
(Без злобы, Боже упаси!),
Что розы путь поэтов к славе
Не устилали на Руси.

ГУМИЛЕВ

И как сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага!

Прекрасен строгий образ Гумилева!..
Он в те года сияюще возник,
Когда какой-то иссякал родник
И дряблым, бледным становилось слово.
И голосом трубы военной и суровой
Его призыв воспрянул в этот миг,
И, к небесам подъятый, тонкий лик
Овеян был блистаньем силы новой.

О, этот очерк крепко сжатых губ!..
А в эти дни, не веря нашей яви,
Блок забывал о доблести и славе
И к чертовщине влекся Сологуб.
Был страшен мир, где безмогильный труп
Вставал и шел своей тропею навьей,
А небеса уже закат кровавил,
Вздывая ночь с уступа на уступ.

Мы провалились в грозную войну,
Как в вырытую кем-то яму волчью,
Мы стали жить испуганно и молча,
В молчание повергнув всю страну,
И, задыхаясь, ринулись ко дну...
Лишь красный факел озарял окрестность.
Как нетопырь, порхала неизвестность,
Будившая набатом тишину.

Один лишь голос серебром звенел,
И не был он никем перекликаем,
Все мы его и в наши дни узнаем,
Зане его не заглушил расстрел.

Да, как бы резко залп ни прогремел,
Каким бы ни был он зловещим лаем —
Мы все-таки еще ему внимаем,
Пусть сонм годин над нами прошумел!

Прекрасен грозный образ Гумилева!
Как Лермонтов, он тоже офицер.
А вы теперь наказаны сурово,
Вы, сеятели басен и химер!
... Грохочут танки. Вихорь битвы — сер,
И вспыхивает в нем огонь багровый...
Но где оно, водительное слово,
Победно поднимающее всех?

И где они, где те певцы иные,
Что заменили спящего мертво?
Золотое сердце России
Мерно билось в груди его.

* * *

Воскресенье. Кружку пива
С пены белою каймой
Девушка с лицом красивым
Принесет на столик мой.

Как всегда, учтиво спросит,
Как неделю поживал.
И сосед мне скажет: «Прозит!»,
Поднимая свой бокал.

И движением учтивым
Кружку подниму и я,
Золотым, янтарным пивом
Жажду вечную поя.

Что же, если тяжела нам
Жизнь не нашею виной —
Мерь ее, сосед, стаканом
Или кружкою пивной!

И когда с четвертым «прозит»
Вспыхнут в сердце огоньки,

Мой сосед меня попросит
Почитать ему стихи.

Всё отлично: вечер, пиво,
Рядом теплоюшийся свет
Глаз красивых и учтивый,
Понимающий сосед.

СНЕЖНОЕ УТРО

Совсем не так: не пух, не пудра...
Оно мне кажется иным —
Фарфоровое это утро
Серебряное с голубым.

Безмерна статика покоя,
Но снится, чувствуется мне,
Что скрыто нечто роковое
В звенящей этой тишине.

Она зовет условным знаком
За низводящую черту, —
Так воздух втягивает вакуум
В зияющую пустоту.

Стихает боль моей тревоги,
Душа ущерба лишена,
А на фарфоровой дороге
Фарфоровая тишина.

И всё острее нетерпенье
Слиянья полного с путем
Блаженного исчезновенья
В серебряном и голубом —

Полета к высям небывалым,
Чтоб, может быть, упасть светло
(Уже серебряным кристаллом)
На чье-то жалкое стекло.

Или, устав блуждать в пустыне,
Крылья покорные сложить,
Чтоб скользнуть с небес, как иней,
И ветви ив отяготить.

Но слаще всех причуд поэта —
Быть просто радостно-живым
В фарфоровое утро это
Серебряное с голубым!..

СТАРАЯ РИФМА

Есть два слова: счастье и участие.
Мастер их не станет рифмовать,
Но разгонят всякое ненастье
Эти позабытые слова.

И поэты школы удаленной
Заставляли их звучать в строфе:
Пушкин, Тютчев, в красоту влюбленный,
В нежности непревзойденный Фет.

Потому что в годы золотые,
В давние хорошие года,
Много было радости в России,
И она давалась без труда.

Но пришли эпохи роковые,
Стала жизнь безмерно тяжела,
Обеднела радостью Россия,
Нищенскою жизнью зажила.

И уже пустопорожним звуком
Рифма счастья прилетела к нам —
Хмурым недоверчивостью внукам,
К их жилью, открытому ветрам.

Нет ни счастья нам и ни участия...
Но хочу я рифму обновить:
Все-таки и к нам приходит счастье,
Если мы сумеем полюбить!

Милая, твоя высока милость,
Милая! — чуть слышно, чуть дыша:
Это — счастье, это озарилась
Розовым сиянием душа!..

ПРЕДВЕСЕННЕЕ

Всё розоватей, дымней
Над городом утра...
Последний месяц зимний,
Пришла твоя пора!

И пусть морозы люты —
Не унываем мы:
Последние минуты
Настали для зимы!

День удлинился явно —
В седьмом часу светло.
Гулять по солнцу славно —
Совсем, совсем тепло!

И пусть еще несмело,
Как вкрадчивая трель,
Но робкая звенела
Нам первая капель.

И солнце бьет в оконце,
Лик в тучах не таит,
И радостно на солнце
Стрекочут воробьи.

Пусть их восторг непрочен,
Пусть ночь всё холодна,
Но где-то близко очень
Хоронится весна.

Пусть мы у Реомюра
Качаем головой —
Конец для стужи хмурой
Уже не за горой.

И — конькобежцев горе,
Ворчат дровяники! —
Идет тепло, и вскоре
Растают все катки.

И хорошеет город;
Везут на арбах лед;
И скоро, очень скоро
В Харбин весна придет!

Пускай деревья голы
И на полях печаль,
Но Масляной веселой
Закончится февраль.

РУССКАЯ, ШИРОКАЯ...

На столе большом, широком
Как хорош был блин с припеком
Из сметочков иль яйца!

Прямо в рот со сковородки
Да под чарку доброй водки, —
Повторяем без конца!

А с икоркою зернистой
Под сметаной снежно-чистой, —
Масла сколько хочешь лей!

Иль под килечку-малютку,
С теплотою по желудку
Животворнейших лучей.

Хороши минуты эти!..
Даже сплетники и дети
Затихали в этот час.

Только слышишь: «Дай горячих,
Подавай-ка настоящих,
Аппетит терзает нас!»

Томно охает соседка —
Перед нею под салфеткой
Горка новая блинов...

«Ем четырнадцатый, дядя!..» —
«Не считай ты, Бога ради, —
Соблюдай завет отцов!»

Где-то там, у печи жаркой,
Замоталась кухарка,
Сковородником гремит.

«Ничего, наддай, Марфуша, —
Будет что и нам покушать!» —
Куманек ей говорит.

Сколь желанен кум-пожарный
В день, блинами благодарный:
«Накормлю ужо, дружок!»

Потому что из столовой
Кто-то, голосом суровый,
Новых требует блинов.

Но уж гость о сне тоскует —
Отойти на боковую,
Похрапеть слегка, готов,

Чтоб потом усестся в санки,
В бубенцовой перебранке
Покататься, погулять...

Где же дни — о други! — эти?
Только два десятилетия
Отделяет нас от них.

Только двадцать два лишь года,
Как под шумом непогоды
Шум их радостный затих!

СТАРЫЙ ЗНАКОМЕЦ

I

Все оделись, стол накрыли
И к Заутрене ушли.
Остается бой (в Василья
Переделанный из Ли)
Ли Тун-чен, старик отличный
Из далекого Чифу;
Не случайно, Вася, нынче
Ты попал в мою строфу!

Много лет в семействе этом
Служишь, в дружбе не лукав,
И не буду я поэтом,
О тебе не написав.

II

Марь-Иванна, губы крася,
Строгий делает наказ:
«Не усни, голубчик Вася,
Подожди, конечно, нас!»
Петр Петрович смотрит кротко,
Но и он наказ дает:
«Ты поставь графинчик с водкой
Обязательно на лед!»
Голос Коли, голос Али,
Голос бонны – миссис Райт:
«Чтобы нас не обокрали:
Никому не отпирай!»

III

Все ушли. Василий тушит
Ярких лампочек огни.
Сеттер Джим, развесив уши,
Сонно следует за ним.
Всё в порядке, всё спокойно,
Но – борись, не засыпай!
Чу, ударил медью стройной
Первый русский ламатай.
Вася вздрогнул, смотрит строго,
За цветы к окну полез;
Вася знает – русский Бога
В эту ночь опять воскрес.

IV

Васин бог иного сорта,
Он в лучах иных зарниц:
Вася крепко верит в черта
И в таинственность лисиц.
Но пред образом лампада –
Словно звездочка небес;
Сердце Васи очень радо,
Если русский Бог воскрес.

Побратал крепчайшей сковкой
Васю с русскими Харбин;
Вася... крестится неловко
На пылающий рубин!

V

Огонек уединенно
Озаряет кроткий лик.
Ночь колышется от звона
И за домом, и вдали.
Ночь гремит о высшем чуде,
Ночь о радости гремит...
«Русский есть хороший люди!» —
Вася твердо говорит.
Почему? И некий отзвук
Из глубин души истек:
«Потому что у ламозы
Бог как люди: добрый Бог».

VI

Русским гулом город ожил,
В медном гимне изнемог,
Но звенит уже в прихожей
Электрический звонок.
Петр Петрович, Марь-Иванна,
Миссис Райт и молодежь, —
Ликованьем осиянна
Взоров праздничная дрожь.
Что их так могло растрогать,
Как не эта ночь чудес?..
А они уже с порога:
«Васенька, Христос Воскрес!»

НА СУНГАРИ

Из старой тетради

Диоген, дремавший в бочке,
Был счастливым до конца...
Не для лишней только строчки
Вспоминаю мудреца.

Но, имея папиросы
И полтинник на обед,
О тебе, мудрец курносый,
Нежно думает поэт.

Относясь с презрением к веку,
Я дичаю у воды.
Молодому человеку
Даже в бочке нет нужды!

Обхожусь без бочки даже,
Ибо, трусики надев,
Целый день лежу на пляже
Возле дам и милых дев.

Нет тоски и нет вопросов,
День плывет в лазурном сне...
Сам аттический философ
Позавидовал бы мне!..

Желтая катит река
Волны свои всё дальше.
Гладит ладонь ветерка
Влажное тело купальщиц.

Праздничный полдень высок —
Солнечный, яростный, строгий, —
И обжигает песок
Влагой омытые ноги.

Сонно ведут по реке
Волны стеклянные грядки...
А у тебя на виске
Вьются упрямые прядки.

Сладко и больно вдвоем,
Боже, как страшно и просто!..
Что же, дружок, поплывем
До Сунгарийского моста.

В воздухе этом, таком янтарном,
На золотистой кошме песка,
Кажется чем-то элементарным
Всё, что нашептывала тоска.

Самое слово здесь как-то лживо,
Кажется звуком оно пустым;
Как этот камень, как эта ива,
Каждому хочется быть простым.

Стоит ли думать о том, что было,
Или о том, что идет, грозя.
Сердце, которое полюбило,
Не полюбить нельзя!

РЕМЕСЛО ПОЭТА

Говорят о ремесле поэта,
Но сегодня, коль на то пошло,
Обещаю доказать, что это
Ремесло — совсем не *ремесло*.

И у нас имеется заказчик,
И для нас не безразличен сбыт,
Даже ты, инструментальный ящик,
В довершенье сходства не забыт.

Иногда и мы снимаем мерку,
Как сапожник, получив заказ.
Что же остается на поверку,
Где же обещанье? — Но сейчас

Метод наложения применим
Точек совпадающих, и вот —
Обнаружен угол отклоненья:
Контур с контуром не совпадет;

В чем же дело? Вспыльчивый, как порох,
Взвыл заказчик, принимая труд:
«Мне стихотворение не впору,
Эти рифмы беспощадно жмут;
Здесь же шире на эпоху целую, —
Мне ль, крупнице, в бездны этих сит!»

Ремесло прошепчет: *Переделаю!*
Творчество прикажет: *Нет, носи!*

СТАРЫЙ ДОМ

Крысы покидали дом недаром,
Не напрасно пес ночами выл, —
Старый дом давно был под ударом
Враждовавших сил.

Дом вспылал, охваченный пожаром,
И окрестность озарил.

Заметались люди, завопили,
Поднятые из-под одеял,
Плачущих младенцев потащили,
Каждый драгоценности хватал.

А иные — устремленность к высям
Красоты, познания и любви —
Уносили книги, связки писем,
Ноты, сочинения свои.

Лишь один из тысячи вопящих
В миг, когда уже громада вся
Запылала, как сосновый ящик,
Вышел, ничего не унося.

Ибо знал, что не спасают крохи,
Что, сжигая старый дом дотла,
Роковая молния эпохи
Всех равно на гибель обрекла.

ВОЗМЕЗДИЕ

Я потерял тебя давным-давно,
Давным-давно была последней встреча.
Навек твое захлопнулось окно,
Но незабвенный не забылся вечер.

Где ты теперь, потерянная мной, —
Улыбка, нежность, золотистый волос?
Ведь до сих пор я слышу за собой
Печально призывающий твой голос.

И я тревожно оглянусь назад, —
Невольное срывается движенье...
Но позади — холодные глаза
С надменною усмешкой удивленья.

Не в жмурки ли играешь ты со мной,
Нежнейший призрак, ставший беспощадным?
Не мстишь ли мне, что этот путь земной
Сомнительным вручал я Ариаднам?

Но мной самим твоя прервалась нить, —
Мгновение непоправимо злое...
До самой смерти сердцу будет мстить
Мое неугасимое былое!

ВСТРЕЧИ

У автобусной стоянки,
В магазинной перебранке,
В самой гуще жизни грубой
Или вне ее, в тиши

Настороженной и гулкой
Инвалида-переулка,
Где под медленной стогою
Листьев золото шуршит, —

Словом, где бы ни бродил я,
Где бы я ни проходил бы,
Всё одну я в осень эту
Вижу женщину вдали —

То с очерченностью ясной,
То за дымкою ненастной,
Словно в облаке, немного
Отделенном от земли.

И по шубке старомодной,
По осанке благородной,
По походке, по движенью
Черной сумочки в руке —

Узнаю ее мгновенно
И бросаюсь неизменно
К милой, к ней, неторопливо
Проходящей вдалеке.

Но глаза блеснут другие,
Не родные, а чужие,
И опять я убеждаюсь,
Что она – совсем не та,

Да и как же быть ей *тою*,
Если крышкой гробовую
Та, о ком теперь тоскую,
Четверть века заперта!

БРОНЗОВЫЙ ВОИН

(Перед античной статуэткой)

Ты знаками отличий удостоен –
Ты в поножах, шлем у тебя пернат.
По имени тебя, суровый воин,
Перед когортой называл легат.

Откуда ты? Из царственного Рима
Иль с острова, где умер добрый Пан,
Или весна твоя была хранима
Лесною глушью заальпийских стран?

Но и сейчас еще совсем ты молод –
Открытый взор отвагой озарен,
Карникулой тяжелый локоть золот...
В какую ты красавицу влюблен?

Иль ты еще любви не вверен следу,
Лишь ратной славе отдаешь мечты
И лишь одну жестокою Победу
Преследуешь неумолимо ты?

Да, ты за ней бежишь неумолимо:
Ведь первый ты вступил в прекрасный храм,
Когда гаран врата Иерусалима
Разбил, как скорлупу, напополам!

И ты упал тогда окровавлённый,
Ты два часа лежал на плитах, нем,
И Тит возвел тебя в центурионы
И подарил пернатый этот шлем.

Потом – *трибун* – начальником когорты
Ты понесешь священного орла.
В иной стране сражений воздух спертый
Уже твой крик пронзает, как стрела...

И далее... ужель преторианцем
Увидеть мне тебя в годах иных,
И на матрон с искусственным румянцем
Ты сменишь маркитанток полевых?

Изнеженность позорна для солдата
(И для поэта пагубна она!),
Ему нужней костер, рука собрата
Да иногда еще глоток вина.

Пусть будет так: тебя хранил Создатель
От мерзости, но от меча не спас,
И образ твой запечатлел ваятель,
Чтоб в этой бронзе он дошел до нас.

Хвала тебе, солдат, отважный воин
Тысячелетий и веков седых,
Твой прах истлел, но бронзы удостоен,
А гордый дух живет в сердцах иных!

ДЕД-МОРОЗ

Маленькому Игорю

Ты послушай, шалунишка славный,
Кто такой наш дедушка Мороз...
Это – *имя*: литерой заглавной
Старика почтил великоросс.

С уваженьем относиться надо
К старику, когда под Рождество

Он скрипит пимами за оградой
И трещат деревья вокруг него.

Седобровый, пусть седобородый,
Он — румян и молодо-глазаст;
Он из той, из кряжистой породы,
Что уже не дожила до нас.

Сверстник он богатырям былинным,
Друг Микуле, кроткому Илье, —
Он и к нашим подошел годинам
По своей сугробной колее.

Под началом у него метели,
Змеи вьюг, слепящие глаза, —
Обвивают белые кудели,
Обнимает белая гроза!..

С дней еще татарщины, с Батяя,
Тропы он заветные берег —
Хоронил в лесах скиты святыя,
Не давал, не отворял дорог.

Выходил нежданно из-за ели,
Обнимал, укладывал в сугроб...
Многие навек околоченили
На узлах неразрешенных троп!

И, покликнув быстролетным вьюгам,
Уходил в их стелющийся дым...
...Был он нашим стародавним другом
И теперь остался он таким!

Лес зимою дивно изукрашен —
Елочки в тяжелом серебре...
И Мороз, наш дедушка, не страшен
Краснощекой русской детворе.

Он таких, как ты, сердечно любит,
В праздники захаживал к таким,
Если ж нынче у тебя не будет,
Значит, занят чем-нибудь иным...

ТРАЛЬЩИК «КИТОБОЙ»

Это – не напыщенная ода,
Обойдемся без фанфар и флейт!
...Осень девятнадцатого года.
Копенгаген. Безмятежный рейд.

Грозная союзная эскадра,
Как вполне насытившийся зверь,
Отдыхает... Нос надменно задран
У любого мичмана теперь.

И, с волною невысокой споря,
С черной лентой дыма за трубой –
Из-за мола каменного, с моря
Входит в гавань тральщик «Китобой».

Ты откуда вынырнул, бродяга?..
Зоркий Цейсс ответит на вопрос:
Синий крест Андреевского флага
Разглядел с дредноута матрос...

Полегла в развалинах Россия,
Нет над ней державного венца,
И с презреньем корабли большие
Смотрят на малютку-пришлеца.

Станный гость! Куда его дорога,
Можно ли на рейд его пустить?
И сигнал приказывает строго:
«Стать на якорь. Русский флаг спустить».

Якорь отдан. Но, простой и строгий,
Синий крест сияет с полотна;
Суматоха боевой тревоги
У орудий тральщика видна.

И уже над зыбью голубою
Мчит ответ на дерзость, на сигнал:
«Флаг не будет спущен. Точка. К бою
Приготовьтесь!» – Вздрогнул адмирал.

Он не мог не оценить отпора!
Потопить их в несколько минут
Или?.. Нет, к громадине линкора
Адмиральский катер подают!

Понеслись. И экипаж гиганта
Видел, как, взойдя на «Китобой»,
Заклучил в объятия лейтенанта
Пристыженный адмирал седой.

Вот и всё. И пусть столетья лягут,
Но Россия не забудет, как
Не спустил Андреевского флага
Удалой моряк!

В ГОСТЯХ У ПОЛКОВНИКА

Люблю февраль, когда прибавит дня
Уже живее греющее солнце,
Когда капель запрыгает, звеня,
И где-то звякнет в жестяное донце.

День мощно раздвигает берега
И, увлекая сладострастным зовом,
Серебряными делает снега,
А небо исступленно-бирюзовым.

Торопит он не упустить его
Сиянья, трепетания и звона, —
Он так хорош! И, друг мой, отчего
Сегодня нам не посетить затона?

Так за реку! К полковнику, к дружку,
Громившему противника на Белой.
По голубому льду, по бережку,
В поселок сонный и оледенелый.

Вся в инее пустыня тихих мест.
Мы щуримся: играет солнце в жмурки.
«Приветствую!» — сияет белый крест
На старенькой полковничьей тужурке.

Он рад ли нам? О да, полковник рад,
На этот счет не может быть двух мнений.
Он курит трубку. Гости говорят:
«Мы с водочкой, с хозяина — пельмени».

Усядемся. Под первых рюмок звяк,
Еще холодной поднятых рукою,
Начнет полковник: «Помню, точно так
В татарской деревеньке под Уфю

Собрались мы», — и потечет рассказ,
За ним другой, — не может быть иначе,
Ведь память осветилась и зажглась
В клетушке этой отепленной дачи.

И как поют, как весело звучат
Событья восемнадцатого года,
Когда с азартом молодых волчат
Мы отгрызались от тебя, невзгода.

Когда ремни искателей побед
Отягощали желтые подсумки, —
И вот теперь, через пятнадцать лет,
За эти годы подымаем рюмки.

Вздохнуть ли здесь, что «не было судьбы»,
Что навсегда для нас закрылись дали?
Но ведь живет поэзия борьбы,
Которой увлеченно мы дышали.

Мы только ль в прошлом, только ли в былом?
Нет, всё еще звучит стальная лира:
Вот в старике с Георгьевским крестом
Вновь зоркого я вижу командира.

Он обнажает шашку и клинок,
Единым взмахом поднимает цепи.
Я слышу крик, я слышу топот ног
По отбеленной заморозком степи.

И вражеское грозно поднялось
Навстречу атакующему знамя...
«Я лично Адмиралу преподнес
Его потом», — подсказывает память.

И умолкает командир полка,
И слышен ветра делается шорох,
И облик Адмирала Колчака
(Иль тень его) всплывает в наших взорах.

Где времени губительный таран?
Не дышим ли мы боевой свободой?
И только ли сибирский ветеран
Жив вихрем восемнадцатого года?

Нет! Всё еще ты, боевой рожок,
Звучишь, звучишь, зовешь призывной трелью,
Не потому ль, что пулевой ожог
Мозжит в кости перед ночной метелью?

О, сколько дум и чувств! Передо мной
Какие память зажигает свечи!
А за окном, над ледяной рекой
Багряный, синий догорает вечер.

Прощаемся. Из этих тихих мест
Нам до дому неблизкая дорога.
Знак доблести — Победоносца крест —
Приветливо сияет нам с порога.

Заря чуть тлеет. Шепчет тишина
О пережитом, неизбывно близком,
А за мостом огромная луна
Восходит медным щитовидным диском.

В ВАГОНЕ

Рассказ в стихах

В вагоне опускают полки,
Совсем, совсем светло в окне,
Но целый день пустой и долгий
Еще нестись на север мне.

В вагоне людно, но сурово
Мне одиночество нести:
За целый день по-русски слова
Я не смогу произнести.

Гляжу в окно — на бег равнины,
На золотой ее пожар,
И ем лениво мандарины —
Твоей заботливости дар.

Встает медлительное солнце,
Снегам сиянье возвратив,
И золотит очки ниппонца,
Сидящего насупротив.

Его и девочку с ним рядом —
Светила лучезарный взор
Любовно дарит алым взглядом
И ускользает в коридор.

И оба жмурятся. Сурово
Отец ворчит — мешает свет.
А до меня, глухонемого,
Им никакого дела нет.

Скользит по мне, как *по пустому*,
Их взгляд, подобный мотыльку,
И скучно мне, совсем чужому,
Внимать чужому языку.

И вдруг (от солнца, от движенья,
От этих даже лиц чужих)
Я слышу в сердце пробужденье
Чувств утверждающих, живых.

И как толчок — подсказ сознанию,
Что не напрасно я лечу,
Что где-то теплит ожиданье
Свою бессонную свечу.

Что сердце чье-то четко числит
Поспешный маятника стук,
Что мы уже сплетаем мысли
О нашей встрече, милый друг!

Мне надо радости ответной:
Хотя б улыбки луч один
Мне как-то вызвать незаметно!..
И я последний мандарин,

Приняв почтительную позу,
Кладу девчонке на пальто.
«Пожалуйста, прошу вас... *дозоо*».
И мне в ответ: «Аригато!»

Она смеется и глазами —
На папеньку. Вот и отец
Заулыбался вместе с нами.
И отчуждению — конец!

О ДЕТСКОЙ МОЛИТВЕ

Мы молимся в битве,
В болезни, под гнетом бессилья,
А детской молитве
Дарованы легкие крылья;
Мы просим и плачем,
А там говорят как о должном, —
И как же иначе
Твердить о таком невозможном,
Как в осень о лете,
О лете еще небывалом,
А то о предмете
Таким умирительно малом,
Как встреча с лошадкой
На утренней ранней прогулке,
И даже о сладкой,
Посыпанной сахаром булке.
Нужны ли поклоны?
И так, для других незаметно,
С высокой иконы
Господь улыбнулся ответно.

И, сном онемелый,
Увидит счастливый ребенок,
Как ангельски-белый
К нему подойдет жеребенок
И станет ласкаться,
Доверчив, игрив и послушен...

Легко догадаться,
Что будет по-дружески скушан

Тот с кремовым слоем
Пирог золотистый, воздушный,
Который обоим
Предложит Хозяин радушный
Высокого рая,
Цветов и лужаек зеленых.

И, мать умилая,
Во сне улыбнется ребенок.
Вы скажете: «Снится!
Мелькнуло на миг и погасло!»
Вам лучше бы — ситца,
Картошки, бобового масла;
Ведь вам для утробы,
Для вашей вещуньи угрюмой:
Еще и еще бы —
И бочкой, и возом, и суммой!

И бьете поклоны,
И даже обедня пропета.
Но с темной иконы,
Увы, не дожидаться ответа!

Да, снится, конечно,
Но только Господь, а не ситцы,
И разве не вечно
Поэты и дети — *сновидцы!*

НАЧАЛО КНИГИ

Живущие в грохоте зычном
Еще небывалой эпохи,
Дробящей бетонные глыбы,
Разящей и плавящей медь, —

О комнатном, маленьком, личном,
О горе, о взоре, о вздохе,
О вздоре на всяческий выбор
Мы право имеем ли петь?

Изыяты из общего строя,
Под некой стеклянною банкой,
Живем в ограниченном круге,
Ничтожной судьбы соловьи,

Не видя всплывшего боя,
Не слыша гремящего танка,
На дудочке, глупой подруге,
Выводим мы песни свои.

Но всё же не хмурься, потомок,
Когда, посторонней заботой
Направленный к пыли газетной,
Отыщешь и эту тетрадь, —

Пусть робкий мой голос негромок,
Но все-таки верною нотой
Мне в этой глуши безответной
Порой удавалось звучать.

ПУШКИНСКИЙ МОТИВ

Румяный критик мой,
насмешник толстопузый...

Пушкин

Поэтам часто говорят с укором:
«Вот Пушкин — да, вот это был поэт!»
И этим как бы называют вздором
Их честный труд уже немалых лет.

Он так надменен, критик толстопузый!
Привычные слова ему легки,
Хотя из всех князей российской музыки
Он помнит только полторы строки.

И вечен он. Бессмертье уготовил
Ему властитель подземельных сил:
Он Лермонтова Пушкиным злословил,
А Пушкина Державиным корил!

Приват-доцентик, адвокатик тусклый,
Он, шамкающий в критике мертво,
И против Блока напрягает мускул,
Чтоб в сатаниста превратить его!

Убрать курилку? Нет, зачем — не надо!
Пусть живет, пускай чадит, злодей:
Он за собою гонит только стадо,
Процеживая сквозь него *людей*.

Уйдемте прочь, уйдемте, не перечая!
Но знайте все, послушные ему,
Что он, в лице Булгарина и Греча,
Жизнь Пушкина окутал в смерть и тьму,

Что хвалит он его — не понимая:
Он имя, драгоценное векам,
Кощунственно, как палку, поднимает,
Чтоб тупо колотить по черепам!

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ

Памяти строителей Харбина

I

Жизнь новый город строила, и с ним
Возникло рядом кладбище. Законно
За жизнью смерть шагает неуклонно,
Чтобы жилось просторнее живым.

Но явно жизнь с обилием своим
Опережает факел похоронный, —
И, сетью улиц тесно окруженный,
Погост стал как бы садом городским.

И это кладбище теперь недаром
Взросший город называет *старым* —
Там братские могилы, там с угла

Глядит на запад из-под веток вяза
Печальный бюст, два бронзовые глаза
Задумчивая тень обволокла.

II

А ночью там мерцают огоньки,
Горят неугасимые лампы,
Их алые и голубые взгляды
Доброжелательны, ясны, легки.

Отделены от городской реки
Чертой тяжелой каменной огады,
Они на жизнь взирают без досады,
Без зависти, томленья и тоски.

И, не смущаясь их соседством скучным,
Жизнь рядом следует... то равнодушным
Солдатом в грубых толстых башмаках,

То стайкой кули с говором болтливым,
То мною, пешеходом молчаливым,
С тревогой и заботою в глазах.

III

Я прохожу и думаю о тех,
Сложивших здесь и гордость, и печали,
Что знаками первоначальных вех
На улицы пустыню размечали.

Они кирку и молот поднимали,
Прекрасен был их плодотворный век —
Он доказал, что русский человек
Везде силен, куда б его ни слали!

И это кладбище волнует нас
Воспоминаньями: в заветный час
Его мы видим — монумент былого.

И, может быть, для этого горят
Глаза могил. Об этом лишь молчат
Огни и алого, и голубого.

ГЕРАНЬ

Средь жизни, грустью сумерек объятай,
Поэт — ее хранитель и глашатай.
Б. Пастернак

Вот послушай: осенью неранней
(Стали к утру стекла замерзать)
Мне вазон поставили герани
И сказали: надо поливать.

Что ж, извольте. Как-то справясь с ленью,
Ни один не пропуская срок,
Я трудился — и привык к растению,
Захудалый полюбил цветок.

Ах, зима! Вставало, заходило
Где-то солнце, но в мое окно,
В серый сумрак комнаты унылой
Не кидало ни луча оно.

И, к цветку приставлен, точно нянька,
Видел я в холодной тишине,
Что хиреет бедная геранька,
На зиму порученная мне.

Все-таки жалел я свой заморыш,
Всё, что мог, я делал для него,
И моя заботливость, как сторож,
Только крепче берегла его.

И чудесно дело обернулось
По весне, когда февральским днем
Солнышко впервые дотянулось
До цветка внимательным лучом.

Раз и два — всё чаще это было,
Всё теплее медлил взор луча,
И, пожалуй, это походило
На визит веселого врача, —

Он входил и уходил: немало,
Видно, хворых было от зимы,
Но уже больному легче стало,
Оба вдруг повеселели мы.

На цветке, недавно полутолом,
Засияла новая листва, —
Скоро стал он пышным и веселым,
Полным молодого торжества.

Все листочки (не чудесно ль это?)
Повернулись лапками к окну —
К роднику спасающего света,
Голубую льющему волну.

И с веселым удовлетвореньем
Я глядел на это торжество,
Царственно вознагражден растением,
Молодою красотой его.

И горжусь я, что зимою черствой,
Оставляя книгу и тетрадь,
Не щадил ни лени, ни упорства,
Чтобы жизнь растенья отстоять.

Послужил и делом я и словом,
Милой жизни отдавая дань,
И, быть может, на суде Христовом
Мне зачтется эта вот герань.

ДВАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА

Из зеленой воды поднималась рука золотая,
Устремлялась вперед, увлекая плечо за собой,
И скрывалась, плеснув; и тогда появлялась другая
И за первой гналась, занесенная над головой.

Как русалка смеясь, ты за поручни трапа схватилась,
Возбужденно дыша, поднялась по ступеням легко,
На ладони мои голубая вода заструилась,
Золотая вода с твоего голубого трико.

Ты сказала: «Ну вот... завтра утром. Придете проститься?
И хотите ли вы, чтоб писала я вам иногда?
Впрочем, вечер велик... С вами лодка... И может случиться,
Что последняя ночь не отпустит меня никуда».

Я ответил: «О нет! Ни прощания у парохода,
Ни открыток с чужих и неведомых мне островов,
Что напрасно таить? Нам обоим нужнее свобода;
Чтобы вас сохранить, я навеки проститься готов».

«Хорошо!» — И легко я пожал загорелую руку,
И ладейка моя закачалась на синей волне.
Так бестрепетно мы обрекали себя на разлуку,
До сих пор этот час горькой музыкой слышится мне.

И, кивнув головой, ты исчезла в стеклянной кабине,
Где английская речь, где кому-то визжал граммофон.
Море млело в заре. Над его безмятежной пустыней,
Темно-синей уже, опаленно синел небосклон.

Очерк яхты чернел, уплывал, умалялся печально.
Я всё ждал, сторожил, не появится ль твой силуэт,
А за лодкой моей, за кормою, звеневшей хрустально,
Расплываясь, бежал золотой и сияющий след.

Он пылал, он горел — так случается часто в июле,
С легких весел моих падал жидкий огонь голубой,
Друг для друга тогда мы с тобой навсегда потонули
В нарастающей тьме ночи огненной и колдовской.

Но как мужественно это пение мудрой печали,
С ней и жить хорошо, с нею будет легко умирать.
А иначе случись, мы бы счастливы были едва ли,
Да и этих стихов никогда бы мне не написать!

ПЬЯНЫЙ ВИЗИТЕР

У твоей звоню я двери,
В снежных хлопьях весь.
Заблудившийся, я верю,
Что еще ты здесь.

Что любимый голос встретит,
Голос стольких клятв,
Что всю душу мне осветит
Засиявший взгляд.

Что опять отдамся взгляду,
Счастью моему,
И войду, и рядом сяду,
Крепко обниму.

Ожиданья срок огромный,
Тяжесть мигов-гирь...
Почему за дверью темной
Не твои шаги?

Кто глумится, брызнув светом
В щель дыры дверной,
Говорит, что «в доме этом
Нет давно такой»?

Знаю, знаю! Снова бреду
Отданный во власть,
Я хочу хотя бы к следу
Милому припасть.

Ах, не так ли пес отсталый
Ищет милых ног?
Хоть на срок пустите малый
Через ваш порог!

Запах счастья, зов единый
Я в душе таю,
Потерявший господина,
Госпожу свою!

И, единственный из множеств,
Изо всех — один,
Он рассеяться не может
В пустырях годин.

Прочь с дороги! В вашем склепе
Сонм моих потерь!
Но с железным лязгом цепи
Пасть смыкает дверь.

«Сумасшедший или пьяный!» —
Говорят за ней,
И пылает круг багряный
В голове моей.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Был яркий полдень. Обжигало
Морозом непокрытый лоб.
Медлительно толпа шагала.
Серебряный качался гроб.

Звучал высокий голос в хоре,
Взлетал и, улетаая, гас, —
Так чистый плач вносило горе
В последний расставанья час.

Затихла улица тревожно,
Настороженно замерла, —
В любое сердце осторожно
Входила острая игла.

Как раскаленное железо,
Терзал вопрос сердца людей:
Зачем жестоко перерезан
Цветущий стебель юных дней?

Печать тоски была на лицах,
И был мороз, и полдень был...
И ветер смерти на ресницах
У женщин слезы леденил...

ЧАСОВЩИК

Зимний день светил в окошке скупо.
Я издрог — пришел издалека.
...Лобзик, сверла, верстачок и лупа, —
Оловянный глаз часовщика.

Мучила какая-то забота,
Тягостью большой обременя.
Жаловался я, а он работал,
Слушая внимательно меня.

А потом, расстроенный рассказом,
В огорченные мои глаза
Заглянул своим стеклянным глазом
И, качая головой, сказал:

«Вы в скитаньях — маленькие дети,
Нам бы вечный сетовать черед,
Ибо скоро два тысячелетья,
Как рассеян избранный народ.

Обмелело, расплескалось море,
Но всё так же солоно оно:
Наше горе — это ваше горе,
Лишь тысячелетнее оно.

И в трущобах всякого изгнания
С нищетой лохмотьев и прорех —
Слышен голос древнего рыдания
С тростниковых вавилонских рек».

И умолк. И на металл направил
Острие скрипящего резца...
Был лобастый, как апостол Павел,
Часовщик с глазами мудреца.

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ

Как говорит внимательный анализ,
За четверть века беженской судьбы
(Не без печали и не без борьбы)
От многого мы всё же отказались.

Но веру нашу свято мы храним,
Мы прадедовский бережем обычай,
И мы потерь не сделали добычей
То, что считаем русским и святым.

Хотя бы взять печальные недели
Вот этого Великого поста:
Мы снова у подножия Креста.
Постимся мы... говеем, отговели.

Чем нам трудней, тем крепче вера в нас.
И в этом, думается, наша сила:
Как древних предков, нас благословила
Твоя рука, Нерукотворный Спас!

С какою бы гримасою суровой
Грядущий день ни выходил из тьмы,
Но русской вере не изменим мы
И не забудем языка родного!

ЖЕНА ГУСАРА

Говорит она, что ей тридцать лет,
Но, конечно, ей много больше.
Первый муж ее был лихой корнет —
Он изрублен на Стыри в Польше.

И она бедна, и больна она,
И не любит второго мужа.
Если есть вино, так, пьяным-пьяна,
Она песней о прошлом тужит.

Это песнь о тех, кто всегда удал —
И в любви, и в бою, и в чаре.
Первый муж ее часто ей певал
О лихом молодом гусаре.

И оставил он дорогой жене
Эту песнь о себе на память,
И она ее и тебе, и мне
Запевает, блеснув глазами.

Но уж голос хрипл у нее, больной,
И мне кажется в ночь хмельную,
Будто сам мертвец за ее спиной
Воет песню свою полковую.

И уж скоро он на коне лихом
За любимой примчит подругой,
И следы коня на пути ночном
Захлестнет голубая вьюга.

И умчит она, удалыцу верна,
От проклятой нужды-болезни.
Так в последний раз пропоет струна
Молодецкой гусарской песни.

Верность есть в любви, верность есть в бою,
Нет у Бога прекрасней дара.
В ледяной земле спит в чужом краю
Молодая жена гусара.

О СТАРОМ МАСТЕРЕ

Не рыцарь, неловкий латник,
Поднявший меча тягло...
О, сколько их в битве братней
В веках позади легло!

Не он, заблестев кистями,
К губам поднимал трубу, —
Железным доспехом стянут,
Он верил и нес судьбу.

Огонь, и стрела, и плаха!..
К сиянью зорь и звезд
Гремел он, не зная страха,
И был молчалив и прост.

И всё же он сделал много —
Он тайну, сгибаясь, нес.
И скажет улыбка Бога:
«О, добрый каменотес!»

И вихрем его поднимет
К тропам золотых планет,
А там, высоко над ними, —
Ни жизни, ни смерти нет.

ОТ ДРУГА

Светлой памяти А.З. Бельшева-Полякова

Возле печки обветшалай
С черною трубой,
Где я игрывал, бывало,
В домино с тобой;

Где любил ты, ясноглазый,
Серебристо-сед,
Уходить в свои рассказы
Невозвратных лет;

Где мурлыкал котик белый
 Подле старых ног,
Где... так горько опустело
 Без тебя, дружок!

Но к холму твоей могилы
 Я приду не раз:
Дружбе верен я, мой милый, —
 Смерть не делит нас!

Вспомнив днем пасхальным, ясным
 Дедовскую Русь, —
Я с тобой яичком красным
 Похристосуюсь...

ТИХИЕ РАДОСТИ

Засунгарийские просторы,
Река и степь — пейзаж простой...
Плывем; плывут навстречу створы:
Четвертый, пятый и шестой.
Вот длинный Арестантский остров,
Кто арестован был на нем?
Расшифровать уже не просто
Его название... Плывем!
Восьмой (о створе речь, конечно),
Озер Петровских узкий вход, —
И нос ладьи остроконечный
Сюда наметил поворот.
Вода низка, но всё же впустит
Пройти в него, — гребли не зря.
Вот «наше место» — темный кустик,
Где мы бросаем якоря.

Уж солнышко над горизонтом
Свой алый поднимает шар.
И как над боем, как над фронтом —
На облаках горит пожар.
Но до красот природы дела
Сейчас нам нет: ведь *самый клев!*
Леса тончайше просвистела,
Гряди, гряди, змееголов!

Гряди, карась!.. Сазан едва ли
В Петровском озере живет.
И поплавочки замелькали,
И вот один из них — *ведет*.
«Ну, подсекай же!» — Ах, как сладко
Почуять рыбу на крючке!
«Как будто сом у вас?» — «Касатка!» —
Вы отвечаете в тоске.
Но это так бывало прежде,
Касаткой брезговали мы, —
На карасей была надежда,
Что нам касатка, что сомы?
Теперь не то, — уж по-иному
Влечет удильщиков вода:
Улов несем в подарок *дому*:
«Касатка? Дай ее сюда!»
Жена, бывало, недовольна:
«Опять касатки, караси!»
Такой прием пугал невольню,
Любого рыбака спроси.
Жене подай омлет, котлетку,
Но те минули времена,
Не так глядит в рыбачью сетку
Теперь капризная жена.
И, разрешив ее загадку
И рыбу выложивши в таз,
Она за каждую касатку
Теперь в уста целует вас.
И чистить рыбу ей не скучно
(Хоть рыбий запах ей претил),
Она ликует страстно, звучно,
И муж-рыбак — ей очень мил.

Но что до женских нам истерик,
До шумной дамской кутерьмы...
Уж полдень!.. Лодочки на берег
Теперь вытаскиваем мы.
Костер, чаек... и Антипаса
Чудесный, веселящий дар
Из двухбутыльного запаса
С собой привозим мы всегда.
Всё хорошо и всё отлично, —
Мы мирный разговор ведем:

Вот у Володи сом *приличный*,
У Коли же *сорвался* сом.
Пособолезной и поахай,
Не подвирай: сосед неглуп!
«Но что же делать с черепахой!» —
«Из черепахи сварим суп!»

Час сна, а там опять на лодки...
День чудный... Ветер точно бриз,
А там уже и вечер кроткий
Над тихим озером повис.
Неторопливы наши сборы,
Но Фриц копается, как крот.
И вот плывут навстречу створы,
Навстречу створам мчится флот.
Уж город искрится далекий,
Зажглись вечерние огни...
И кто-то говорит о Блоке,
О том, как странны наши дни.
И веет тишиной большою,
И — так капризна сердца нить —
Мы, отдохнувшие душою,
Еще неделю можем жить.

НОВАЯ РИФМА

Ты упорен, мастеру ты равен,
Но порой, удачной рифме рад,
Ты не веришь, что еще Державин
Обронил ее сто лет назад.

Не грусти, что не твоя находка,
Что другим открыт был новый звук, —
Это ты прими не только кротко,
Но благоговейно, милый друг!

В звуковые замкнуты повторы,
Мы в плену звучаний навсегда, —
Все мы к небу поднимаем взоры,
Но для нас — одна на нем звезда!

И нам, взоры на едином сплетшим,
Может быть, и радость только в том,
Чтобы вдруг узнать себя в ушедшем,
Канувшем навеки, но живом.

И поверить радостно и свято
(Так идут на пытку и на крест),
Что в тебе узнает кто-то брата
Далеко от этих лет и мест.

Что, когда пройдут десятилетия
(Верь, столетья, если ты силен!),
Правнуков неисчислимых дети
Скажут нежно: мы одно, что он!

Смертно всё, что расцветает тучно,
Миг живет, чтобы оставить мир,
Но бессмертна мудрая созвучность,
Скрытая в переключаньи лир.

Всё иное лучше ненавидеть,
Пусть оно скорее гасит след...
Потому и близок нам Овидий
И Державин, бронзовый поэт.

НЕНАСТЬЕ

Золотая маньчжурская осень, —
Кто писал про ее красоту?
Даже скверною рифмою *просинь*
Я сегодня ее не почту.

Дождь — без просыпу. Без перерыва
Тучи серое тянут сукно,
И поникший подсолнух тоскливо
В ослезенное смотрит окно.

Ищет песик с обиженной мордой
Через грязь относительный брод.
Жирный гусь, приосанившись гордо,
Что-то наглое небу орет.

Ах вы, гуси, спасители Рима,
Ах вы, лапчатые мои,
Как осенняя мгла нелюдима,
Как мертво у крыльца и скамьи!

Весь ты в сырости, в плесени, мирик
Мертвых грез и живучей тоски,
И слагает нахохленный лирик
Непогожие эти стихи.

Хоть бы буря!.. с ломающим вяза
Ветром-тигром, с кровавой судьбой,
Только не был бы голос мой связан
Безнадежностью этой тупой.

У ЧУЖОГО ОКНА

У приятеля свет в окне —
У него и жена, и гости...
Не укрыться ль к нему и мне
От осенней тоски и злости?

Но ведь, в сущности, я ничто
Для него, а гостям, пожалуй,
Помешаю играть в лото
По какой-то копейке малой.

Есть для некоторых закон
Неслиянности. Вместе с ними,
Побродягами, обречен
Я путями блуждать ночными!

А ведь были ж в моем былом
И жена, и лото, и кошка,
И маячило огоньком
В чью-то ночь и мое окошко.

И такая меня тоска
Разрывала тогда на части,
Что на удочки рыбака
Променял я всё это счастье.

И теперь я свободен, как
Ветер, веющий взмах за взмахом,
И любой мне не страшен мрак,
И смеюсь я над всяким страхом.

И когда мне беззубым ртом
Смерть предскажет судьба-гадалка, —
В этом мире, уже пустом,
Ничего мне не будет жалко!..

ПОЛГОДА

Памяти А.З. Бельшева-Полякова

Вот полгода как мы расстались,
И заботою женских рук
Сколько раз уж цветы менялись
На могиле твоей, мой друг.

Что тебе рассказать, мой милый?..
В вечеряющей тишине
Я грустил над твоей могилой,
Ты во сне приходил ко мне...

И беседовал я с тобою,
И когда просыпался вдруг,
Мне казалось, что надо мною
Окрыленный промчался друг.

Ах, не знаю!.. Но даже если
Ты теперь только светлый дух,
Я тебя вижу в старом кресле,
Речь спокойную ловит слух.

И от печи железной жарко,
И поет на коленях кот,
И в рассказах твоих так ярко
Жизнь угасшая восстает.

Вот и ты, как и все на свете,
В некий сумрачный час угас,
Но как в прошлые дни — и в эти
Где-то близко ты возле нас.

Тихо листьями золотыми
Сыплет осень из щедрых рук,
И с речами совсем простыми
Я к тебе обращаюсь, друг.

Ведь *жива* нам твоя могила,
И мы верить светло хотим,
Что тебе интересно, милый,
Как живем мы, о чем грустим.

Дни бегут, но не ярче зорька
За печальным встает окном.
Часто женщина плачет горько
Над могильным твоим холмом.

Я и пил, и писал... Рыбачил,
Летний твой обиход любя,
И бывал я на той же даче,
Только не было там тебя.

И, твои вспоминая речи,
Думал я, не крушась судьбой:
Уж не так далеко до встречи,
До свидания нам с тобой!

АЗИЯ И ЕВРОПА

Как двух сестер задумал их Господь
На голубом, на справедливом небе:
Едина человеческая плоть,
Но разны лики и различен жребий.

Одна, прикрыв кольчугой мрамор плеч,
Красавица с лицом патрицианки,
Надменную сестре цедила речь
И строила дредноуты и танки.

Другую же пленял спокойный труд,
Янтарь зерна и ветка спелых ягод,
Мечтательно завечеревший пруд
С таким красивым отраженьем пагод.

И в горький плен сестру взяла сестра:
Преодолев просторы и пустыни,
Она ее заставила с утра
И до утра — влечить ярмо рабыни.

Всё, чем цвели поля ее земли,
Всё, чем природа наградила щедро, —
Всё это увозили корабли,
Поля ограбив и ограбив недра.

Года, години!... И вздохнул Господь
На голубом, на справедливом небе:
Пусть лики разны, но едина плоть, —
Несправедлив поработенья жребий.

И в ту сестру, что ниц уже легла
В пределе тяжкого долготерпенья,
Вонзается небесная стрела —
Мысль о свободе, об освобожденье.

Так детонатор вызывает взрыв,
Так молния раскалывает сосны,
И вздыбливает Азию порыв
Освободительный, победоносный!

И новая в истории война,
Озарена одной высокой целью —
Дробит, ожесточения полна,
Насилья цитадель за цитаделью.

СТАРЫЕ ПОГОНЫ

Сохранились у меня погоны —
Только по две звездочки на них,
И всего один просвет червлёный
На моих погонах золотых.

И печально память мне лепечет,
Лишь на них я невзначай взгляну:
Их носили молодые плечи,
Защищавшие свою страну.

Засыпали их землей гранаты,
Поливали частые дожди.
В перебежках видели солдаты
Золотой галун их — впереди!

На него из зарослей полыни
Пулемет прицел свой наводил,
Но везде — за Вислой, на Волыни
Бог меня от гибели хранил.

К тем погонам — *что* от них осталось,
Им лишь горечь памяти нести! —
На ходу стреляя, цепь смыкалась,
Чтоб удар последний нанести.

И *ура* взрывалось исступленно,
И в руке подрагивал наган, —
Эти почерневшие погоны
Опрокидывали врага!

Довелось им видеть небо Польши,
Под старинным Ярославом быть.
Почему ж не удалось им больше
Звездочек серебряных добыть?

Эх, весна семнадцатого года,
Гул июля, октября картечь!..
Посрывала красная свобода
Все погоны с офицерских плеч.

С ярим воем «Золотопогонник!»
За мальчишкой погналась беда.
Была в битве, догнала в погоне
Нас пятиконечная звезда!

Уж по телу резались погоны,
Забивались звездочки в плечо...
Разве пленных офицеров стоны
В нашем сердце не звучат еще?

Чести знак, возложенный на плечи,
Я пронес сквозь грозную борьбу,
Но, с врагом не избегая встречи,
Я не сам избрал себе судьбу.

Жизнью правят мощные законы,
Место в битве указывает рок...
Я люблю вас, старые погоны,
Я в изгнаны крепко вас берег!

Говорят, опять погоны в силе —
Доблести испытанный рычаг!..
Ну, а те, что прежде их носили
На своих изрубленных плечах?

Что поделать — тех давно убили.
Не отпели. Не похоронили:
Сгнили так!..

Память длит рассказ неугомонно.
Полно, память, — день давно погас...
Эти потемневшие погоны
Все-таки оправдывают нас!

СТАРИК

В газете и то и это,
Гремит на столбцах война,
Но нет, старику газета
Не этим совсем нужна.

И, щурясь в очки, упорно
Он тычет глаза в одно —
Что сверху каймою черной
Печально обведено.

И ахнет, и быстро стянет
Очки; перекрестит лоб...
«Иван-то Иваныч... Ваня!..
Да можно ль подумать, чтоб...»

Еще не прошло недели
(Теперь каково семье!),
Как рядом они сидели
У Чурина на скамье.

И чувствует — всё пустынной
Становится вокруг него.
И холод, подобно льдине,
Коснется души его.

ЗУБРЫ

Жили зубры в Беловежской пуше
(Нет трущобы сумрачней и гуше!),
Жили зубры, считанные звери,
И к свободе не искали двери.

Берегли объездчицы заботы
Их для императорской охоты,
Для высокой рыцарской забавы,
Для потехи царской и для славы.

В год какой-то, скажем, предпоследний,
Приглашен был и король соседний
Пострелять по зубрам, порезвиться,
Меткостью, отвагой отличиться.

От сторожки до другой сторожки,
Лаем, криком поднятый из лёжки,
Первый зверь пошел неторопливо,
Сановитый и широкогивый.

Он не с гневом, а с тупой досадой
Шел туда, где, скрытые засадой,
Ждали зубра широченной груди
Затаившие дыханье люди.

Величав и царственно-спокоен,
Высочайшей пули удостоен,
Пал он наземь (и другие пали),
И стрелков согбенно поздравляли.

В домике охотничьем красивом
Наполнялись кружки желтым пивом,
И бокалом пенисто-янтарным
Царь прощался с гостем благодарным.

Но они в последний раз так пили —
Императоры в войну вступили,
А солдатам в изморозь и слякоть
О себе, а не о зубрах плакать.

Солдатишка славно пообедал,
Царской дичи котелок отведал,
И последний зубр широколобый
На поляну вышел из чащобы.

Он в земле копытом яму выбил —
Знать, чутье предсказывало гибель:
Царской воли жертва и забава,
Он теперь на жизнь утратил право!

РАССКАЗ ОБ ОСАЖДЕННЫХ

Гезов («Е» произносите мягко)
Осадили гордые испанцы
В крепости приморской в Нидерландах;
Гибель ожидала протестантов.

Скоро съели все они запасы;
Голубей ловили, убивали
В голубятнях, крысами питались;
Отощали гезы, изнурились!

Близко к стенам подошли испанцы,
Издевались, требовали сдачи
Или же со льстивыми речами
Жирною бараниной дразнили,
Обещая накормить и шпаги
Всем оставить, лишь бы только сдались.

Но стреляли гезы по нахалам;
Сам Вильгельм Оранский Молчаливый
Улыбался на удачный выстрел,
Отощав не меньше, чем другие.

Но нашелся между гезов пришлый
Человек с далеких Пиренеев;
Он повел тогда дурные речи,
Говоря, что если бы испанцы

Даже лгали, обещая шпаги
Им оставить, всё же перед смертью
Досыта, пожалуй, всех накормят;
Если ж делать выбор, то, конечно,
Смерть с набитым пузом — веселее.

Хмурились защитники, однако
Слушали те речи без обрыва;
И дошла та болтовня до слуха
Герцога Оранского однажды.
И собрал на площади он гезов
И с таким к ним обратился словом:
«Тем, кто хочет сдаться, не перечу,
И ворота я для них открою:
Пусть уходят хоть сейчас к испанцам;
Жизнь есть дар, ниспосланный от Бога,
И хранить ее обязан каждый —
В этом нет и не было плохого;
Но иной не переносит рабства,
Руку он не лижет по-собачьи,
Что́ его на цепь раба сажает,
Смерть в бою предпочитая рабству;
В этом всё мое к вам обращенье:
Кто со мной на вылазку согласен,
Пусть за мною с площади уходит;
Остальных я обещаю честно
Отпустить немедленно к испанцам».

Герцог кончил и шагнул направо,
К бастионам, к пушкам замолчавшим;
И за ним последовали гезы,
А на тихой площади остался
Лишь один болтливый пиренец —
Болтунишка был шпионом Альбы.

В эту ночь, сломав кольцо осады,
На свободу вырвались гезы
И в лесу, на первом же биваке,
Из обозов взятое испанских,
Жарили чудеснейшее мясо.

И, насытясь, гезы говорили,
Что хотя и прозван Молчаливым

Их любимый вождь, Оранский герцог,
Но когда понадобится — слово
Может он сказать других не хуже!

Эту повесть в очень грустный вечер
Рассказал мне боевой товарищ:
Враг тогда грозил нам беспощадный,
Хитрый враг, нам обещавший много,
Лишь бы мы оружие сложили.

Но товарищ, рассказав о гезах,
Мне напомнил, что с цепями рабства
Невозможно наслаждаться жизнью,
Жизнь раба позорна и страшна!

И, вздохнув, мы вышли из закрытья;
Поднималось розовое солнце;
Мчался ветер; начинался бой.

КАК ПАРОХОД ОТ ПРИСТАНИ

В эту ночь,
Как пароход от пристани,
Тяжко нагруженный, —
Отойдет
К вечности,
 к немотствующей истине
Близкий нам
Сорок Четвертый Год.

Воет медь гудка
 тоскою ранящей.
Капитан
 сединами оброс.
Где-то в трюме
 найден пристанище
Для надежд и опаленных грез.

Там стихи и стоны,
 там и жалобы,

Любая встреча — робость и обман.
Прохожий руку опустил в карман,
Отходит дальше, сгорблен и смущен, —
Меня, бродяги, испугался он.
Взглянул угрюмо, отвернулся — и
Расходимся, как в море корабли.

Не бойся, глупый, не грабитель я,
Быть может, сам давно ограблен я,
Я пуст, как это темное шоссе,
Как полночь бездыханная, как все!
Бреду один, болтая пустяки,
Но всё же получают стихи.

И кто-нибудь стихи мои прочтет,
И родственное что-нибудь найдет:
Немало нас, плетущихся во тьму,
Но впрочем лирика тут ни к чему...
Дойти бы, поскорее дошагать
Мне до дому и с книгою — в кровать!

РАКЕТА

Под всяческой мглой, под панцирем
Железа и кирпича,
Как радиостанция — станции,
Сигнал позывной стуча, —
Вот так же (поверьте этому
Как слову, не как словцу!)
Поэт говорит с поэтами,
Внимает творец творцу.
Рассеянные в пространстве,
Чтоб звездами в нем висеть,
Мы — точки радиостанций,
Одна мировая сеть.
И часто, тревожно радуясь,
Я слышу, снижая лёт:
Ее раскаленный радиус
Сквозь сердце мое поет.
Хоть боль нестерпима — вытерплю!
Ведь это, со мною слит,
Быть может, поэт с Юпитера
О вечности говорит.

А то, что из сердца вырою
С тоской и таким трудом,
Быть может, умчит на Сириус
И в сердце сверкнет другом.
Развертыванье метафоры?
Размах паранойи? – Нет,
Всё это докажут авторы
Не очень далеких лет
С параграфами, примерами,
И вывод – в строку одну.
А это – ракета первая,
Отправленная на Луну!

ГОД

Памяти А.З. Бельшева-Полякова

Год прошел. Вновь над твоей могилой
Облака весенние плывут,
И опять звенит, звенит кадило
И о вечной памяти поют.

Дремлешь ты, а жизнь в весеннем росте
Поднимает травку у скамьи...
И к тебе опять собрались в гости
Все друзья, все близкие твои.

И, конечно, ты душою с нами,
Даже ты не дремлешь, не молчишь:
Ты своими милыми стихами
С памятника с нами говоришь.

Он рукою любящей поставлен,
В строгих урнах – зелень и цветы...
Памятью живущих не оставлен –
Не забыт и не покинут ты.

Год прошел, не остудив нимало
Теплоты и верности в сердцах,
И опять, как прежде, как бывало,
Мы, Андрюша, у тебя в гостях!

ВОЛХВЫ ВИФЛЕЕМА

Шел караван верблюдов по пустыне,
Их бубенцы звенели, как всегда.
Закат угас. На тверди темно-синей
Всходила небывалая звезда.

И было всё таинственно и дивно —
Особая спускалась тишина...
И в этот миг, как некий звук призывный,
Вдруг где-то арфы дрогнула струна.

Как будто дождь серебряной капли
Стал ниспадать на стынувший песок:
То, пролетая, ангелы запели,
Переступив высокий свой порог.

И был прекрасен хор сереброкрылый,
Он облаком пронесся и исчез.
И, разгораясь, светочем всходила
Звезда на синем бархате небес.

И было всё настороженно-немо,
Погас вдали последний отблеск крыл,
И на огни, на кедры Вифлеема
Вожатый караван поворотил.

Из мглы горы сиял пещеры вырез,
Чуть слышалось мычание волов,
И в звездном свете сказочно струились
Серебряные бороды волхвов.

КЕША И ГОША

В. Кибардину

В городе волжском два друга жили,
В лапту играли, в школу ходили,
И оба были в дни той весны
В одну гимназисточку влюблены.

А город хвостищем своим нелепым
Война захлестнула, и над совдепом
Кумач, угрожая отцам бедой,
Своей пятипалой хлестал звездой.

А тут еще переэкзаменовки!..
Не краше ли старые взять винтовки
И с ними, со стайкой других ребят,
В какой-то лохматый вступить отряд.

И вот — на вокзале. И вот у Жени
Для Кеши и Гоши букет сирени,
И вот от «ура», от последних ласк
Ребят отрывает вагонный лязг.

Граната, подвешенная на пояс,
Куда-то ползущий ослепший поезд,
И с кружкой, подсунутой чьей-то рукой,
Впервые в гортани ожог спиртовой.

Плечистее Гоша, глазастее Кеша,
Сердца боевою забавой теша, —
Всегда на виду и всегда впереди,
И хвалит их взводный с крестом на груди.

И Кеша, и Гоша любимы отрядом,
В бою, у костра ли — всегда они рядом:
И школа, и Женя, и этот поход —
Их крепко спаял восемнадцатый год!

Уже под Уралом, в скалистых откосах,
Отряд напоролся на красных матросов,
И Кеша упал с перебитой ногой,
Но друг не оставил его дорогой.

Увы, не уходят с тяжелою ношей,
Достались матросам и Кеша, и Гоша,
И маузер кто-то, бессмысленно-зол,
На мальчика раненого навел.

Но Гоша, кольцо разрывая охвата,
Собой заслонил сотоварища-брата
И крикнул: «Меня, если хочешь, убей,
Но Кешу... но раненого — не смей!»

И вздрогнул от первой стремительной боли —
Матросы штыками его закололи,
А друг был отбит и, поведали мне,
Безногий, живет до сих пор в Харбине.

Да светится память подростка, героя
Безвестного, давнего, малого боя,
Сумевшего в зверский, в бессмысленный миг
Высоко поднять *человеческий* лик!

* * *

Пели добровольцы. Пыльные теплушки
Ринулись на запад в стукоте колес.
С бронзовой платформы выглянули пушки.
Натиск и победа или под откос.

Вот и Камышлово. Красных отогнали.
К Екатеринбург у нас помчит заря:
Там наш Император. Мы уже мечтали
Об освобожденьи Русского Царя.

Сократились версты, – меньше перегона
Оставалось мчаться до тебя, Урал.
На его предгорьях, на холмах зеленых
Молодой, успешный бой отгрохотал.

И опять победа. Загоняем туже
Красные отряды в тесное кольцо.
Почему ж нет песен, братья, почему же
У гонца из штаба мертвое лицо,

Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге – никни головою –
Мучеником умер кроткий Государь.

Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайном поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.

Вышел седоусый офицер. Большие
Поднял руки к небу, обратился к нам:
«Да, Царя не стало, но жива Россия,
Родина Россия остается нам».

И к победам новым он призвал солдата,
За хребтом Уральским вздыбилась война.
С каждой годовщиной удаленней дата;
Чем она далече, тем страшней она.

РАССКАЗ О КАЗНЕННОМ РЕПОРТЕРЕ

А.В. Петрову

Репортер Джон Гарвей, приговоренный к смерти за убийство миллионера Оскара Томпсона, садясь на электрический стул, оправил складки своих франтовских брюк.

Из американской газеты

I

Не дуралей, не ротозей,
Всегда в работе — жар,
Он раньше всех своих друзей
Являлся на пожар.

Любил кино, автомобиль,
Строку упорно гнал, —
Он, право, честным малым был,
И вдруг такой финал!

И молод Джо — лишь двадцать лет
Исполнится ужю,
А у кого невесты нет
Из тех, кто юн, как Джо?

II

Оскар Томпсон, миллионер
(Поклоны и почет),
Любил сигары, майонез
И девушек еще.

По вечерам, когда гудок
Клубил свой медный крик, —
На перекрестке, как бульдог,
Тридцатисильный «Бюик».

Невеста Джо — гудок отвыл —
Шла в золотой туман,

Когда ей Томпсон предложил
Мотор и ресторан.

Вскипела бэби: «*Дуралей,*
Да как могли вы сметь!»
Но мрачно вырос перед ней
Дородный полисмен.

Томпсона знают там и тут:
Мотор, сигара, жест.
Когда к Томпсону *пристают,*
Капрал ответит: *Yes!*

Отказыряв, внимал капрал
Не бэби, а ему...
Уводит Мэри до утра
В позорную тюрьму!

III

Джо пальцы бешено бросал
На ундервуд, пиша.
До крови губы он кусал,
В крови его душа.

Ведь юный Джо, я говорю,
Закон и Бога чтит.
Листок он дал секретарю:
«*Прочти, скорей прочти!..*»

Но тот мгновенно помертвел
И выронил перо.
Без слов хрипел минуты две
Золотозубый рот.

Глаза от ужаса слезя,
Взглянул, как на чуму:
«*Какая ложь! Нельзя, нельзя!..*
И в руки не возьму!»

IV

Но Джо к издателю идет,
Наморщив жестко лоб.
(В стеклянном кабинете тот
Сидел, как в банке клоп.)

И вот зачавкал круглый рот
Скрипучей половиц:
*«Томпсон — прибежище сирот,
Опора для вдовиц...*

*На десять тысяч дал реклам
Томпсон... И даст еще.
Вы дуралей иль просто вам
Желателен расчет!»*

*«О мистер, — вздох, — поймите, — вздох, —
Она невеста мне!..» —
«Так, значит, был ваш выбор плох,
Иных решений нет!»*

V

Был молод Джо — лишь двадцать лет
Исполнится ужо, —
И этот день, как злая плеть,
Хлестнул по сердцу Джо.

Был прежде мир криклив, но прост,
Как негритянский джесс,
Но рухнул вдруг висячий мост,
Под ним же бездна... Yes!

Скребла тоска, и в голове
Царапался наждак.
Купил Джо черный револьвер
И стал Томпсона ждать.

Метнулась дверь. Сигара, жест,
Гудка поспешный альт.
Пенсне звенит совсем как жесть,
Разбившись об асфальт.

И схвачен Джо... Угрюм, сутул,
Как статуя тоски.
И посадили Джо на стул
На электрический!..

VI

*Тюремный священник заболел. Заменена
Опытность — чувствительностью случайного патера.
Внутренность камеры. Джо
Поднимается с кровати.
Начальник тюрьмы предлагает ему стакан вина.*

Кто из жизни в смерть перекинет мост?
Но тюремщик прям, но тюремщик прост.
В позумент обшит у него рукав.
Позумент всегда в этой жизни прав.

*«Эта чарочка — милосердья пай.
Пей. За мной ступай».*

Путь из жизни в смерть — пятьдесят шагов,
За твоей спиной, мальчик, дробь зубов.

*«Вы святой отец? Вам, гляжу, свежо», —
И ему стакан протянул свой Джо.*

И сказал-пропел, окарин нежней:
«Вам оно нужней!»

И надменен, прям, обмахнув виски,
Сел дружок на стул электрический:
Не упал мешком и не просто сел —
Складки брюк, как франт, подтянуть успел.

Был покой в очах, был покой в плечах.
«Опускай рычаг!»

VII

А накануне репортер
Из тех, что часто бьют,
К нему пробрался, точно вор,
Царапнуть интервью.

Но Джо, несчастный человек,
Уже сошел с ума —
Он всех своих былых коллег
Изматерил весьма.

И написали господа,
Крахмальные зобы,
Что Джо преступником всегда
Закоренелым был...

* * *

Разве жизнь бывает тесна
У распахнутого окна,
За которым цветет весна, —

Если ветер в лицо плеснул,
Если слышен приборя гул,
Если город внизу уснул.

Если тополь уже в цвету,
Если вновь вспоминаешь ту,
За которой блуждал в порту,

Если дом на горе высок,
Если город — Владивосток,
Это памяти лепесток!..

Море — ласковый бриллиант,
Облака, паруса шаланд,
Побережья лиловый кант.

Не сбежать ли опять с горы
Для отыгранной той игры,
От которой глаза мокры?

Ах, какие всё пустяки!..
Но стучат и стучат стихи,
Так мучительны и легки, —

Словно маятник молотком, —
Об одном, об одном, об одном:
Не Россия ли за окном?

Не последний ли взор ее,
Не последнее ль острие
В сердце беженское мое?

Затворилось навек окно,
Занавесил его давно, —
Без окна и в душе темно...

Запыленная жизнь тесна,
Запыленная жизнь душна
Без распахнутого окна!

АУКЦИОН

Проходит год хромающей походкой,
Клоня рукой плечо поводыря.
Ребенок-день глядит светло и кротко, —
Его предел — вечерняя заря.

И чем слепее поступь года —
Пусть веселей поет поводырек,
Пока его не бросит непогода
Протоптанной дороги поперек.

Со сгибов ручек свешивались грифы,
Швырнув дракону бронзовый браслет.
Как вкрадчиво читал иероглифы
Переводивший их востоковед!

И, ознобив на загудевшей меди
Полуприкрытый шелком локоток,
Американка, крашенная леди,
Сказала: «Да!» — и стукнул молоток.

* * *

Неужели не осилю смерти,
Потную от ужаса беду,
И она мне голову отвертит,
Словно негритенок — какаду.

Из силка не рвется, не летится,
Сердце пусто замерло в тоске...
Для чего ж ты выучила, птица,
Десять слов на глупом языке?

Ну, скажи движеньем омертвелым,
Что в жаркое вовсе не годна,
Что дано изведать крыльям белым
Небо до лазоревого дна.

Или, крикнув исступленно-тонко,
Выплюни рубиновую кровь,
Чтобы изумленно негритенка
Надломилась бронзовая бровь.

Чтобы сжались медленные пальцы,
Чтобы сам он яростью помог —
Да! — покинуть огненной скиталице
Белый окровавленный комок.

НАЧАЛО ПРАВДЫ

У последних дней, последней из тех застав,
Где начало трав
И начало правд.

Марина Цветаева

Докачает, дотрясет, дотянет
Городской автобус. Посмотри:
Железнодорожными путями
Перерезанные пустыри.

Ворон тяжело крыльями промашет,
Спотыкаясь слепо на ветру.
Посмотри, похожи на монашек
Привиденья закоптелых труб.

Как гудка протяжна панихида,
Как рыдают медные уста,
И какая горькая обида
В содроганьях пыльного куста,

В рыжей травке, худосочно слабой,
В черных ямах с зеленью воды,
Где живут жиреющие жабы
С желтыми глазами из слюды.

Кончено, подведены итоги:
Если больше нечему сгорать,
Вот сюда приволокут нас ноги
Бессловесно, подло умирать.

Будешь хрипло отходить во мраке,
Чтобы хмурый сторож поутру
Рядом с трупом бешеной собаки
Отыскал и твой угрюмый труп.

О, просторы городских окраин,
Нищету давящая пята, —
Вас не должен нищий неприкаянный
Гибелью своей оклеветать!

Вы манили, звали, уводили,
И не вы ль виновны, что тоской
Повседневной ядовитой пыли
Отравил нас сумрак городской.

Поезд прогрохочет, как гекзамер
Одиссеи. На него с бугра
Дети смотрят жадными глазами,
Пыльных одуванчиков набрав.

И вдовец с сироткой синеглазой
Не сюда ль из города придет,
Чтобы слушать гулкие рассказы
Ветра про свободу и полет.

И поверит... И опять подтянет
Волю, как судно на якоря,
Вкрадчиво приласканный когтями,
Железнодорожными путями
Перерезанного пустыря.

ПОЭМЫ

ТИХВИН

Повесть

Посвящается П. Любарскому

Глава I

I

Маленький ленивый городок,
Снежный, синеватый и лукавый,
Под ногой свежо хрустит ледок,
В высоте златятся свечи-главы,
И плывет на волнах красной лавы
Солнышко — корабль усталый — в док.
Отзвонили. Женский монастырь
За рекой волнами затихает.
Собрались собаки на пустырь;
Жмутся, вьются, ни одна не лает,
И ползет с Заречья нежилая
Тишина — осенний нетопырь.
Засветились окна. Силуэт
Сдернул занавеску на окошко.
Вздогнул луч, вонзив в сугроб стилет.
Прошмыгнула зябнущая кошка,
А метель скользит сороконожкой
И порывом звякает в стекле.
Я иду с вокзала. Петроград
Бросил поезд в зимние просторы...
Вон огни вагонные горят
Сквозь стекло, задернутое в шторы,
Но уже иные в сердце шпоры,
А во рту мороз — как виноград.
Скрип полозьев. Обувь просквозив,
Холод жжет неопытные пальцы,
Но — конец, приют уже вблизи:
Скоро в тихом бабушкином зальце,
Где в углу, как призрак, дремлют пяльцы,
Буду пить какао тетки Зи...

II

Утром солнце в замерзших стеклах
Водит танцы игруний-искр.
Печку, гремя, затопила Фекла,
Выбросив вьюшки копченый диск.
Холод рубашки приятно зябок,
Дрожкую бодрость когтит мураш.
Мускул бицепса, как крепкий яблок, —
Что же под вечер, коль так с утра?
Даже вода, где ланцеты льдинок,
Кажется нежно зовушей в бред.
Отблески солнца и блеск ботинок
Радуют ровно в осьмнадцать лет.
Булка и масло. Скрипящий творог.
Скромный племянник, крепыш бутуз.
Мир осязаем, он прост и дорог,
Сердце же — дерзкий козырный туз...
Ешь, словно пишешь (уписан коржик),
Губы танцуют, в глазах усмех.
Каждая радость здесь как-то тверже:
Всё для тебя, если сам для всех.

III

В переулке тишина мороза,
Белый, ровный, безмятежный блеск,
А на небе золотая роза
Или Спас на белом корабле.
Скатанный метелью, не раскатан,
Лег пушисто путь к монастырю,
Что, прижавшись к розовому скату,
Смотрит на вечернюю зарю.
Не ему несु свое веселье,
Твердость щек и кровь озябших губ,
Пробираясь межсугробной щелью
К флигелю, зарытому в снегу.

IV

В сенях приятный запах ветчины,
Согретых шуб и пирога с капустой.
В столовой им сейчас увлечены,
И потому пока в гостиной пусто...

Стремительно отброшены драпри.
«Конечно, вы! Я знала, знала очень:
Вчера о вас держала я пари».
Сверкнувший взор на миг сосредоточен
В моих глазах — и быстрый взмах ресниц...
В столовую, уже надев личину,
Вступаешь ты походкой баловниц,
Танцующих старинный танец чинный.
Там папенька, веселый казначей,
Уже пять раз заглядывавший в стопку,
Предложит мне великолепных шей
И вышибет ударом ловким пробку.
Он говорил: «Помещик и гусар,
На этот лад подобен будь индейцам».
(Его сожрал какой-то комиссар,
Назвав тупым и злым белогвардейцем.)

Глава II

I

У меня был в городе дружок,
Послушник монаха Питирима:
Волоса он подрезал в кружок
И мечтал о катакомбах Рима.
В длинной рясе, бледный и худой,
Он, таясь, лепил «богов» из глины
И талант свой называл бедой,
Искушеньем — замысел орлиный.
Но стихи (тогда явился Блок)
Завладели робостью монашей,
И, ревнуя иноческий срок,
Опускал он взоры перед Клашей.

II

Когда он лепил — пальцы
Блуждали по глине, как смычки по струнам,
И в маленьком зальце —
Как в замке казалось нам.
Казалось, монах оттуда,
Где прожил огромно лет,

Принес золотое чудо:
Улыбку, печаль, привет.
И в глине (в унылом тесте,
Как в грубо кошмарных снах)
Рыдал о светлой невесте
Худой молодой монах.
И в комнате, тихой очень,
Такой голубой сейчас,
Размерен, суров и точен,
Шел творчески строгий час.
Кончал. Вытирал монашек
О мокрую ткань ладонь,
А там, на доске для шашек,
Сверкал голубой огонь.
И, в сердце взглянувши чисто, —
О, как этот взор звучал! —
Отрок с руками артиста
Клал уставной начал.

III

И когда трезвонили к вечерне,
Руку он мне торопливо тряс.
Но была походка всё неверней
Под полами вздрагивавших ряс.
Послушник в конической скуфейке
Уходил и там, в монастыре,
Принимал свечу от скромной швейки
Перед Спасом в старом серебре.
А потом в своей убогой келье,
Лишь старик уснет, угомонясь,
Он вступал в высокое ущелье,
Как в свой замок следовавший князь.
Музыка, плывущие напевы
Заскользивших в памяти стихов
И светящий властный образ Девы
В остриях утонченных грехов.
Разговор о городе-гиганте,
О свободе смелых и простых
И мечты о радостном таланте
В ореоле радуг золотых.

Глава III

I

Теперь всё это давний случай,
Десятилетье протекло, —
Где ты теперь, жива ли, Кло?
Но образ твой из струн созвучий,
Как лунный диск над дымной тучей,
Встает, светя в мое стекло.
Ты так мила. Любила Блока,
Мечтала вдаль, грустя светло,
И ты не Клавдия, ты Кло,
Ты прилетела издалёка,
Где паруса под визгом блока
Срывают пены белой кло.
О радость — целовать без думы,
Любить, жалеть, жестоко взять,
Что будешь муж, отец и зять,
Что будешь сонный и угрюмый
В гроссбухах вычеты и суммы
В итогах бисером вязать.
Мой сладкий Кло, смешной котенок,
Каких не знали мы затей.
(Теперь... ты мать своих детей!)
Твой аромат был сладко тонок,
Он шел от юбок, от гребенок,
От острых, в крапинках, ногтей.
Те память дни пронесит близко,
Иду в былое, в тайный лаз.
Ведь счастье только для пролаз,
А ты, мой сон, не одалиска,
Ты — Клаша, Клаша-гимназистка,
И перешла в последний класс.

Глава IV

I

Когда наметало снега
До самых почти сеней,
Как сладко лететь с разбега
С горы под прыжки саней.

Как облако, паром мерин,
Лишь слышен тяжелый храп,
Но размах его умерен
Под сенью сосновых лап.
У леса, где встали сани,
Где выше звезды слеза,
Вновь просят уста касаний
И взоров хотят глаза.
И смех твой прекрасен, детка,
В вечерний хрустальный час,
И сыплет, качаясь, ветка
Свой розовый снег на нас.
И к городу снова мчатся,
И чувствовать тонкий плен,
Коленями вновь касаться
Согретых твоих колен.
А колокол, словно било,
Гудит, хрустали дробя...
И надо же, надо было,
Чтоб он полюбил тебя!

II

Что поделать, Кло – простая барышня,
А ее папаша – казначей.
От реки, где ива и боярышник,
Не уходит далеко ручей.
А монашек, Васенька-ваятель,
Как его мы звали меж собой,
Знал уже, ее послал Создатель,
Называя девушку – судьбой.
Что ж, любовь для сильных путь веселый,
Хорошо, когда любовь проста,
Но есть странной жизни новоселы,
Их любовь – страдания Христа.
Девушке не умной и не глупой
Эта страсть была как острие,
Быть любимой свято – слишком скупо
Радовало, бедную, ее.
А монашек был уже безумен,
Он пугал избранницу свою...
Почему тогда отец игумен
Не швырнул его в епитимью!

III

Когда в голубое окно
Лучи наклоненные влиты
И стелет лучи полотно
На своды и темные плиты,
Когда, зажигая фонарь,
Безумие хмурое бредит
И в ночь посылает звонарь
Тяжелые возгласы меди, —
Монашек покинул кровать
И петлю швырнул на стропило.
Душа не могла оторвать
Тот образ, который любила.
И черная ряса его
Под трупа фарфоровым взглядом
Висела печально, мертво
На гвоздике рядом.

IV

Прекрасный, смешной и больной,
Святой — говорили иные,
Он крылья пронес надо мной
И канул в поля ледяные.
Что девушка? Разве она
Источник щемящих событий.
Над кем тяготеет луна —
Вовек не уйдут от судьбы те...
Великих обманов исток,
Сквозных отражений светило,
А сердце глядит на восток,
Пока его смерть не смутила.
И умер. И город потряс
Своей исступленной кончиной.
Под шорох влекущихся ряс
Был брошен без пенья и чина.

Глава V

I

Бедная нахмуренная Кло.
Все кричали: вот его убийца.

От людских упреков, как стекло,
Может наше сердце раздробиться.
Прячась днем, а вечером у нас
Ты рыдала, детски сжавши руки.
Сколько дней не ведала ты сна,
Сколько дней проплакала от муки.
Эта смерть тебя приподняла
И качнула в сторону иную,
И прошила страшная игла
В детском сердце полосу стальную.
Жизнь прошла — годами затекла —
И в песке безмолвия зарыта,
Но сегодня память извлекла
Этот хлам угаснувшего быта.
Снова в сердце стойкий холодок,
И опять — измученный, неправый —
Я влюблен в старинный городок,
Снежный, синеватый и лукавый.
Слушаю призыв монастыря,
Силуэты вижу в желтых окнах,
И алеет зимняя заря
В облаках на розовых волокнах...

ДЬЯВОЛИЦА

I

В коричневый свой обезьяний мех,
Застегнутый почти у подбородка,
Вы прячете и горечи, и смех,
Изломанная женщина-уродка.

Изгиб бедра упрямо нарочит,
Клише судьбы — в кивке полувопроса.
Вы понимаете — ваш вид кричит
От тувель до подрезанного кросса.

И все-таки, когда ваш силуэт
Из света в ночь умчат метельно сани,
Острей иных очарований нет
И хочешь слов, улыбок и касаний.

Идут года, и светопись морщин
С висков у глаз уже рисует маску...
И все-таки швырнет в глаза мужчин
Развратную и дерзкую гримаску.

Раз пьяный друг сквозь зубы бросил «Тварь!»
И снес, дрожа, удар твоей отместки:
Твоя душа упряма и мертва,
А ногти отточены в стамески.

И образ твой не потому ль томит,
Что ты всегда у выступа обрыва,
Что ты всегда таишь, как динамит,
Возможность неожиданного взрыва.

Здесь тело истомилось от тоски,
Там дух погиб над творческим захватом.
В какой-то миг они, роднясь, близки,
Клубясь тоской, как дымом синеватым.

II

Украд веселость в алкоголе,
Ломает смех черты лица,
Но сердце, сжатое в уколе,
Уже стремится удар конца.

И в истерическом припадке,
Себя швыряя поперек,
Кричишь, что веришь в мир лампадки
И в очистительный урок.

Ты говоришь, что где-то мама,
Что есть сестра и честный зять,
А мы молчим и ждем упрямо,
Чтоб успокоенную взять.

И после капель сладко-жгучих,
Когда и плач, и голос тих,
Ты вдруг поймешь, что нету лучших,
Что нет хороших и плохих.

И замирает возмущенье,
И каменеет тишина.
Прими и ты свое крещение,
Пойми, что ты обречена.

III

Раскинув ноги, голым животом
Белеешь ты на страшном ложе том,
Где корчилась и изнывала похоть.

А старичок, склонившись на кровать,
Спешит штиблет скорей расшнуровать —
Торопится и дряхло будет охать.

Потом в пивной, где синеватый газ
Подвел углы у потемневших глаз,
Ты будешь пить и слушать гул Арбата.

И, кокаином нос запороша,
Ты подождешь, пока твоя душа
Не станет сумрачной, заостренно-горбатой.

И мертвыми покажутся все лица,
И скажешь ты, хрипя, как дьяволица:
«Не вы, не вы, а он со мной живет!

Он крадется, оборотясь женщиной,
И трижды в день под новою личиной
Мне оголяет груди и живот...»

И, вся кипя, метнешься на бульвар,
В ночной мороз, клубя из горла пар,
И будешь дьявола искать в толпе прохожих...

Глядеть в глаза, заглядывать в лицо,
Неся в душе железное кольцо,
Ища Его, встречая лишь похожих...

IV

Я знаю, ты скажешь: «Еще бы!»
О, спутник с движеньями льва,

Страшнее трясин и чашобы
Закутанный в полночь бульвар.

Скамьи, за скелетом киоска
Песчаного круга кольцо,
И луч электрический плоский
Ладонью ударил в лицо.

Но дальше, в слепой закоулок,
Где самое страшное — быть,
Где ветер протяжен и гулок,
Где хлесткая снежная пыль.

Ты думаешь, пусто? Но ближе
Решетки гусиный плетень,
Где сумрак затянет, залижет
К стволу прислоненную тень.

Бездонна столичная полночь.
Ее утомленная речь
Вздымает бессонные волны,
Чтоб где-то высоко сберечь.

И то, что зовется судьбою,
Тоскою пронзает сердца,
Как будто Архангел с трубою
Вознесся над кровлей дворца.

V

Вспылали стриженные тополи,
Ветвей развеяв волоса.
Вороны крыльями захлопали
И полетели в небеса.

А те, кто ждали, взяты пламенем,
В свирепом огненном бреду
Прошли вперед, за дымным знаменем
И обнажались на ходу.

Худые, жирные... с отвислыми
Грудями, бившими о грудь,
Они руками-коромыслами
Гребли в огне безумный путь.

И дети, рты открыв, в испарине
Бежали между и крича,
Свою мечту о добром барине
Бросая к следу палача.

Мороз уплыл. Скользящей ростопью
Потек с ветвей слезливый всхлип,
И Он прошел тигровой поступью
В аллею запывавших лип.

И шабаша пройдет урочный час так...
Упавшую, возьмут ее в участок
И, слушая царапающий вой,
Не ведая, что Дьявол бродит следом,
И бабий крик считая пьяным бредом,
Ее жестоко бьет городской.

ДЕКАБРИСТЫ

1

Вы помните призыв Карамзина:
«Чувствительность, ищи для сердца пищи!»
А до него великая война,
Восстанье на Урале и Радищев.
Помещики сквозь полнокровный сплин
В своем рабе почувствовали брата.
Гвардеец, слабовольный дворянин,
Влюбленный в Робеспьера и Марата.
Так карты жизни путает судьба,
Так рвет поток весной ложбину шлюза..
Событий огнекрылая труба
И золотая Пушкинская муза!

2

На Западе багрово-золотом
Тяжелой тучи выгибались плечи.
Над городом, построенным Петром,
Лиловой дымью расплескался вечер.
Шла оттепель. Напоминало март
Сырых и влажных сумерек раздумье.
А над дворцом опущенный штандарт
Кричал о том, что император умер.
Тринадцатое истекало. Сон
Окутал улиц темные овраги,
И стиснутый в казармах гарнизон
Наутро приготовился к присяге.

3

Рылеев, лихорадивший всю ночь,
Из тьмы рассвета дрожек стук услыша,
Поцеловав проснувшуюся дочь,
Перекрестив жену, – сутуло вышел.
У Трубецких в натопленной людской
Шептались девки: «Поднят до рассвета,
С семьей простившись, младший Трубецкой
Потребовал палаш и пистолеты...»
Светало. Плохо спавший Николай
У зеркала серебряного брился
И голосом, напоминавшим лай,
Кричал на адъютанта и сердился.

4

Он император. Новая гроза
Взойдет на звонкий мрамор пьедестала.
И выпуклые наглые глаза
Впервые нынче словно из металла.
А там, в приемной, комкая плюмаж,
Шептал гонец с лицом белей бумаги,
Что возмущен гвардейский экипаж
И дерзко отказался от присяги.
Забегали, предчувствуя беду

За годы угнетенья и разврата,
И в голосах: «Мятежники идут!»
Из двери вышел бледный император.

5

Чиновница, не снявшая чепца,
За мужем побежала за ворота,
Ведь мимо оснеженного крыльца
Мятежным шагом проходила рота.
Лабазник закрестился, на дворе
Гостином зашушукался с собратом.
И строилось декабрьское карэ
На площади перед пустым сенатом.
Уже дрожит восторгом мятежа
Мастеровщина... Не победа ль это?
Каховский, нервничая и дрожа,
Три раза выстрелил из пистолета.

6

Еще бы миг – и не было б царя,
Плетей и крепостного лихолетья,
И ты, четырнадцатое декабря,
Иначе бы построило столетье.
Уже рвануло вихрями борьбы
В народ бесправный, к силам непочатым,
Но цепи исторической судьбы
Не по плечу мечтательным барчатам.
Уже гудел и рос поток людской,
Уже насильник, труся, прятал спину,
Но даже ты, диктатор Трубецкой,
Товаришей на площади покинул!

7

И в этот миг, когда глаза горят
И каждый раб становится солдатом
И рвется в бой, – они... они стоят!
Стоят и ждут перед пустым сенатом!
И чувствует поднявший меч борьбы,
Что будет бой мечты его суровой,
Что вздыбят степь могильные горбы,
Что станут реки красными от крови.

И сколько близких канет под топор,
И сколько трупов закачают роши,
И потому он опускает взор
И, как предатель, покидает площадь.

8

Они стоят. И их враги стоят.
Но громыкает тяжело батарея,
И офицер, в жерло забив снаряд,
Глядит на императора...
— Скорее,
Скорей в штыки! Они — один исход,
Иль правы растопчинские остроты:
«В Париже прет в дворяне санкюлот,
У нас дворяне лезут в санкюлоты».
И император понял: «Дураки!»
И, ощущая злость нечеловечью,
Он крикнул батарее (передки
Уже давно отъехали): «Картечью!»

9

И пушки отскочили. На лету
Подхвачены, накатывались снова,
И били в человеческую густоту,
И, отлетая, рывкали сурово.
И это всё...
Зловеще тишина
Бесправия стучалась год от году.
И ты, порабощенная страна,
Не получила от дворян свободу.
В аллее дней, блестящ и одинок,
День отгорел бесславно и тревожно.
И, салютуя деспоту, клинок
Ты, дворянин, покорно бросил в ножны.

10

И виселицы встали. Но не зря
Монарх-палач на площади их строил;
От них до грозных пушек Октября
Одна тропа... И слава вам, герои!

Явились вы, опередивши час,
И деспот вас обрек на смерть и пытку,
Но чуждый вам и победивший класс
Приветствует отважную попытку.
По сумрачному, злему рубежу
Сверкнул декабрь ракетой огнистой,
И, столько лет взывая к мятежу,
Стране как лозунг было: «Декабристы!»

1925

ПСИЦА

I

Догоняя поезд, ухнет пушка,
Перекатят эхо гор горбы.
Катит санитарная теплушка,
Мчатся телеграфные столбы.

По верхушкам елок дым, как пена,
Стукота торопит: у-ди-рай!
К эшелону самого Жанена
Прицепился подпоручик Грай.

Сколько ни канючил, льстясь холопом,
Брыкались французы: «Non... mais pas!»
Подкатил теплушку, чик форкопом,
Уж теперь не бросят до депа.

Комендантша шепчет: «Милый душка,
Я на всё согласна, мой шалун!»
Катит санитарная теплушка,
Только проскочить бы ей Тулун.

Зашатались тени. Гул. Просонье.
Голосов колесных речитатив.
Скоро атаманье золотопогонье,
Лишь бы не споткнуться до Читы!

Комендант расползся басом круглым,
Спотыкаясь храпом в сон и бред.
На вагонной стенке – белой – углем
Зашатался женский силуэт.

Белокурый локон льнет, как стружка,
Подпоручик весел, всё забыл,
Катит санитарная теплушка,
Мчатся телеграфные столбы.

2

Партизанья стайка, в чаще кроясь,
Заморозив за ночь четверых,
Выползла к разъезду встретить поезд,
Вызвездила в лапах топоры.

Бороды в сосулях. В клочьях лопоть:
Не потащишь вычинить жене.
Падает, не всхлипнув, крюк форкопа:
«Может быть, в теплушке сам Жанен!»

Поезд свистнул дальше. Подпоручик
Думает, целуя: «Знать, маневр».
Беленькая шейка, глазки, ручки...
Запоздал тревогой вздрогнуть нерв.

Ворвались. Сверлящий взгляд, как верша.
Револьвер в сопатку. Раз – два – три...
– Золотопогонник. – Ротный фершал!
– Подавай бумагу! – На, смотри!

– Что така за баба? – Та ж сестрица.
До больницы тащим старика.
– Нечего лечиться: нам стодится,
На штанине офицерский кант!

Ничего не скажешь, ясно – мосты,
Перечеркнут список послужной.

Поголял и пожил, и не ныть же
Перед задохнувшейся женой.

Опрокинут пулей. Молча роясь,
Мужики кругом стоят гурьбой.
А у семафора бронепоезд
Засветил прожектор голубой.

3

Чертыхнулась пушка, гулом края,
За-та-та-та-тах-тал пулемет,
Но достались белым только трое,
И на каждом пули есть клеймо.

Подобрали – пленных взяв – теплушку,
Офицеру – спирту, даме – бром.
Барыня по-детски плакала в подушку,
И мотало версты за окном.

Рассветало тускло, мутно, тупо,
Грай молчал, забывши все слова,
А на дальней лавке важно труп
Серая покачивалась голова.

Кадровый полковник, это ль финиш,
Брюки бы другие, жив, глядишь!..
– Я теперь сиротка, ты не кинешь?
И тянулись руки, как камыш.

Поезд, заливаясь силным лаем,
Громыкнул на стрелках, тут – депо.
Засвистали, встали, и – бутаем –
Паровоз отцеплен: водопой!

Командир «Стального» чертом к даме.
Он в былом изящный кирасир.
– Если вам угодно, вы их – сами,
Словом, в вашей власти... Та: «Мерси!»

Как цветок подносят, подал кольца:
– Лично, за супруга!.. И пошли.

Грай подумал сонно: «И за польта,
Две шинелки, язви, унесли».

4

Мужики толкались на перроне,
По горбатым спинам бил приклад.
Барыня оружия не уронит,
Подведенных не опустит глаз.

— Палец на гашетку. Это мушка.
Поднимайте выше, целясь в лоб...
Дыбом санитарная теплушка,
Навзничь телеграфный столб!

Где за водокачкой куст и бочка,
Меховые боты топит в снег.
Кошкою подкралась. Встала. Точка.
Бородатый рухнул человек.

Подползла к другому, как гадюка,
Но глаза мужчины взглядом бьют.
Дрогнул локоточек. «Плохо, сука.
Промахнулась, псица, мать твою!»

Рухнул, опрокинут шашкой Грая,
Чмокая по снегу черным ртом.
Млели офицеры: «Ишь какая!»
Называли барышню молодцом.

Мечутся колеса четко, дробно,
Стукота торопит: у-ди-рай!
Женщину в теплушке нежно обнял
Юный подпоручик Васька Грай.

Догоняя поезд, ухнет пушка,
Перекатят эхо гор горбы.
Катит санитарная теплушка,
Мчатся телеграфные столбы.

ЧЕРЕЗ ОКЕАН

В 1922 году, в дни эвакуации Приморья остатками дальневосточной Белой Армии, несколько кадет, раздобыв крошечный парусно-моторный бот «Рязань», решили плыть на нем в Америку. Капитаном судна был избран случайно встреченный в порту боцман. Судно благополучно прибыло к берегам Северной Америки, установив рекорд наименьшего тоннажа для трансокеанского рейса. Как сообщает молва, жители города, в гавани которого кадеты бросили якорь, вынесли «Рязань» на берег и на руках, под звуки оркестров, пронесли по улицам.

I

Складка досады как шнур на лбу;
Капитан опустил трубу:
«В этих широтах, где шквалом бьет
Левиафанов, — рыбачий бот?!»

Лево руля положил штурвал,
Вахтенный тянет сигнальный фал.

Долго ли боту лечь в дрейф?
Кливер прихвачен, фок — с рей,
Заполоскал и упал бизань.
«Русская дрянь! На корме — “Рязань”!»

Рупор к матросским губам прижат,
Мышцы на голой груди дрожат,
И выдувает, как мехом, грудь:
«Эй, вы откуда? Куда ваш путь?»

И переплескивает моряку:
«Из Владивостока в А-ме-ри-ку!»

II

Бот, не поднявший при встрече флага
(Снят революцией этот флаг), —
Кто он для встречного? Лишь бродяга
С жалкой командою из бродяг!

«Русский!» – Не спичечный коробок ли
Эта скорлупка? В ней шесть сердец:
Шесть человек насчитал в бинокли,
Женской толпой зацветя, спардек.

Девичьим губкам поахать любо,
Радостно сердце зажечь огнем.
Легче!.. На боте не флаг яхт-клуба,
Не знаменитый спортсмен на нем!

«Русский!» – От голода и от страха
Прет бесшабашно на рожон.
Нету причины ни петь, ни ахать –
Воздух их родины заражен.

Это суденышко – сыпнотифозный,
С койки своей убежавший в бреду.
Путь его к гибели неосознан:
«Без покаяния пропадут!»

III

Бот на ост, пароход на вест.
Ставь, капитан, на встречном крест;
Жми, капитан, желваки скул:
Будут собою кормить акул.

Васко де Гама и Лаперуз
С морем иную вели игру-с;
Там удальцы, королевский флот,
Это же – русский дырявый бот.

Был капитан, вероятно, прав.
Высверкал радио-телеграф:

«В трех тысячах милях от Сан-Франциско
(Дата) встречен рыбачий бот.
Курс – ост. Невероятность риска
Убеждает в безумьи ведущих его;
Впрочем, бот принадлежит русским,
А им благоразумие свойственно разве?
Июкогама во вторник. Телеграфируйте груз.
Тихоокеанская линия. “Эмпресс оф Азия”¹».

¹ «Empress of Asia» – «Владычица Азии» (англ.).

IV

Не угадаешь, какого ранга
Этот потомок орангутанга;
Ноги расставил, учуяв крен,
Свесились руки до колен.

Морда небритая смотрит храбро,
Воздух со свистом ноздрею забран;
Цепкой о ножичек бряк да бряк,
Боцман Карась – удалой моряк!

Жадной девчонкой в порту обласкан,
Алым цветочком украсит лацкан,
Но из цветочного барахла
Прет, как галушка, мурло хохла.

Он на вопрос, на учтивость герла:
«Где ваша женушка?» – брякнет: «Вмерла!»
Плавал в Шанхай, на Камчатке жил,
Любит хану, и сулю, и джин.

Деньги оставил у хитрой барышни –
Стало быть, снова ступай на парусник.
Тяжко похмелье на берегу.
«Можешь в Америку плыть?» – «Могу!»

Лишь оторваться б! Всяк путь отраден.
«Бот-то, ребяташки, не украден?»
Впрочем, в моменты эвакуации
Мелочами интересоваться ли?

«Выспись да трезвым наутро встань,
По-настоящему капитань!»

V

Боцман лениво идет на ют.
Славно ребята его поют!
Даже не хочется материть –
Верится: выпоют материк!

«Ветер-ветерочек, вей в корму,
Ветер-ветерочек, не штормуй!
Чтобы каждый парус был пузат,
Потому что нам нельзя назад.

Ветер-ветерочек, я — кадет,
Был всегда на палочку надет;
А теперь в смоле холщовый зад,
Но и задом нам нельзя назад.

Ветер-ветерочек, не к добру
Не учил я раньше ал-геб-ру,
А горланил с чехами “наздар”¹,
Вот за это и нельзя назад.

Может, плакать будем мы потом,
Но потом бывает суп с котом,
И, что бы там ни было, пока
Принимай-ка нас, Америка!»

Думает, сплевывая, Карась:
«Ладная банда подобралась!»

VI

Друг, не вчера ли зубрил про катеты
Да про квадраты гипотенуз?
Нынче же, смотришь, придут и схватят те,
Что объявили отцам войну.

Можно ль учиться, когда надтреснут
Старый уклад и метель в дыру?
С курток погоны приказом срезаны,
Дядьки указывают директору.

Проще простого: винтовки нате-ка,
Нате подсумки и груз обойм.
Не перейти ль от игры в солдатики
К братоубийственнойшей из войн?

¹ Да здравствует (*чешск.*).

И перешли. Так уходит скаут
В лагерь, как эти в отряды шли;
Но о любимых лишь bene aut
Nihil¹ — их пять уцелело лишь!

В лагере можно мечтать о доме,
Лес оконтрастит его уют,
Ну, а в тайге ничего нет, кроме
Гнуса. Соловушки не поют.

Нет молочка, и уютам — крышка;
В ночь непогожую — до утра
Закоченеешь, как кочерыжка,
Коль не сумеешь разжечь костра.

Детские души — как лопоть — в ключья!
Зубы молочные раскроша,
Вырастят мальчики зубы волчьи,
Волчьей же сделается душа.

Хмуро дичая от понужая,
Бурым становишься, как медведь.
Здесь обрастешь бородой, мужая,
Или истаешь, чтоб умереть.

Ночью, когда раздвигают сучья
Звезд соглядатайские лучи,
Смело и просто заглянешь с кручи
Сердца в кристальную глубь причин.

Что-то увидишь и в память спрячешь,
Чтобы беречь весь свой век его,
И никогда уже не заплачет
Так улыбнувшийся в непогодь.

В плен ли достанешься, на коленках
Не поползешь — не такая статья:
Сами умели поставить к стенке,
Значит, сумеют и сами статья!

¹ Хорошо или ничего (лат.).

VII

Город и море: куда же дальше нам?
Грузят два крейсера генеральшами.
День пробродили в порту, и вот
Сняли с причалов рыбацкий бот.

С берега море песок сгребало.
Ветер — на девять штормовых баллов —
Взвизгивал, брызгами морося.
Темень. И трубочка Карася.

VIII

Близится. Вот он. Перешагнул.
Так по таящим вершинам ветер
Тянет широкий протяжный гул,
Словно сырые рыбацьи сети.

Плавно поднимет и бросит вниз;
Всхлипнув, скрипуче положит набок.
Лампа качается и карниз
Темной каюты качает как бы.

Будто бы та же кругом тайга,
Та же землянка без зги, без следа.
Тиф. Неустанный напор врага
И голубые лохмотья бреда.

Нет! — То широко идет волна,
Словно щенок за щенком, вприскокку,
И любопытно следит луна
В мертвом движеньи живую точку.

Это на мачте несет «Рязань»
Желтый огонь, золотую искру.
Это зрачок, темноту грызя,
Точку свою из тумана выскреб.

IX

Дни и недели. «Карась, мы где?» —
«В морю». — «Хохлуха, туда ль нас гонишь?» —

«Разве написано на воде?
Прём на восток, и молись иконе!»

Бот по-таежному нелюдим, —
Встречей в тайге не прельстишь бродягу:
Если увидят далекий дым,
Так норовят, чтоб от дыма — тягу.

Может, в Америку плыть нельзя?
Может, в Америке встретят в сабли?
Всё же всё чаще, волной скользя,
Щупал прожектор шальной кораблик.

Пёрли по-жульнически. В кустах
Так пробирается беглый. Кончик
Уха в траве показав, русак
Так удирает от шустрых гончих.

Думалось, встретит «Рязань» ковчег
Этакий мощный и необъятный,
Пересчитает, обложит всех
И заворотит: гуляй обратно!

У Карася, уж на что бывал,
Стала тоска проступать на морде;
Все-таки пёрли и в штиль, и в шквал,
Не помышляющие о рекорде.

Белкой, крутящейся в колесе
Страха, кончают свой путь отважный,
Ибо приблизились к полосе,
Именуемой каботажной.

«Морду набьют, — говорит Карась, —
Даже напиток не будет сроку!»
Всё ж, неизбежности покорясь,
Курс до конца на восток простроган.

Вот и прибрежные острова,
Не изменять же у цели румба!..
И растворяется синева
Пройденных миль над страной Колумба.

Только укрыться и не пытайся:
Всюду подгадит болтун и кляузник.
Вот заметка из какого-то «Таймс»
В переводе на русский паузник:

*«Через океан на 10-тонном боте.
Установлен рекорд на наименьший тоннаж».*
Фотографии: мистер Карась (уже в рединготе!),
Обсосанная ветрами «Рязань» и ее экипаж.

В заметке сказано: «Уклоняясь от встречи
С дозорным миноносцем и принятый за спиртовоза,
Бот не исполнил приказания в дрейф лечь
И был обстрелян, но, к счастью, в воздух.

Из своей скорлупы при осмотре вытряс
Бот шесть человек. До ближайшей гавани
Капитан не пожелал сообщить (славянская хитрость!)
Истинной – рекордсменской – цели плавания.

Итак, приз, равный 30 000 долларов,
За трансокеанский рейс при наименьшем тоннаже
Достанется этим бесшабашным головам».
Затем: интервью – почтительнейшее – с хохлованом нашим.

Х

Говорят, и этому я верю,
Что тот город, где кадет-матрос
Бросил якорь, вынес бот на берег
И по улицам его понес.

И о чем народом крепким пелось,
Что кричалось – выдумать не рвись;
Вероятно, прославлялась смелость
И отваги мужественный риск.

Милые, что ныне с вами стало,
Я не знаю. Вероятно, там
Растворившись, приняли за малость
Славу, улыбнувшуюся вам.

Кончен сказ и требуется вывод;
Подытожить, сердце, не пора ль,
Ибо скажут: расписались вы вот,
Ну и что же? Какова мораль?..

XI

Лбом мы прошибали океаны
Волн летящих и слепой тайги:
В жребий отщепенства окаянный
Заковал нас Рок, а не враги.

Мы плечами поднимали подвиг,
Только сердце было наш домкрат;
Мы не знали, что такое отдых
В раззолоченном венце наград.

Много нас рассеяно по свету,
Отоснившихся уже врагу;
Мы – лишь тема, милая поэту,
Мы – лишь след на тающем снегу.

Победителя, конечно, судят,
Только побежденный не судим,
И в грядущем мы одеты будем
Ореолом славы золотым.

И кричу, строфу восторгом скомкав,
Зоркий, злой и цепкий, как репей:
«Как торнадо, захлестнет потомков
Дерзкий ветер наших эпопей!»

Харбин, 1930

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Главы из поэмы

Как порыжели строки дневника,
Как хрупкие страницы обветшали!
Как будто проползли уже века
И тщательно тетрадь мою обшарили.

Всклокоченный, шарахнувшийся год,
Его июль, закутанный в зарницы...

I

*«Вчера с полком я выступил в поход
С последнего разъезда у границы.*

*Штыков позвякиванье, котелков...
Дыхание людей, идущих рядом.
Туман, как голубое молоко,
С пятном луны, повисшей над отрядом...»*

И перелистываешь, как сны
Припоминаешь... *«Громяхают пушки,
Плохая ночь. Заночевать должны
В покинутой австрийской деревушке...»*

II

Жуя рассыпчатую пастилу,
В защитном сух, с седым ежом прически,
Военачальник наклоняется к столу,
Флажок переставляя на двухверстке.

И где-то вымуштрованный офицер
Разбудит полк, и он на темный запад
Из деревушки в утреннем свинце
Потянет выползающую лапу.

Начдив уснул, определив пути,
Отметив фланги, обозначив стыки,
По телефону приказав идти
В мигающие пушечные блики.

III

Как мы впервые увидели смерть...

Дней через пять, из-за брюхатых яблонь,
На желтой и разрыхленной тесьме
Дороги, изогнувшейся, как сабля,
На крупных
Лоснящихся лошадях
Скакали в красном,
Не предвидя встречи.

Не веря:
«Враг!» —
И всё же не щадя,
Мы замерли,
Вдавив приклады в плечи.

Под залпами возможно ль повернуть
Испуганных коней,
Встававших дыбом?
Ужалив смертью тихую страну,
Мы выбежали к бившим
Кровью
Глыбам
Коней,
Которых опрокинул залп,
И к трупам венгров,
Пылко разодетым...

«Часы!» — солдат испуганно сказал:
Они сияли золотым браслетом.

IV

Втянулся полк в деревню.
Встав вокруг,
На мертвецов,
На бритых лиц застылость,
Солдаты подивились.
Много рук
Вдруг,
По команде точно,
Закрестилось.

Фельдфебель загорланил:
«Дурачье!
Кто это лоб накрещивает медный?
Ведь это — враг!..
Ведь это тело чье?..»
Солдат молчал,
Потел
И,
Безответный,
Косил глаза и норовил удрать.

За ним веселый раздавался гогот.
И тут же воду пили из ведра,
И поминали мать,
А также — Бога.

V

Пришли и окопались. Ночь. Она
Гудела, как под шлемом водолаза.
За просекой желтели два окна,
Похожие на два кошачьих глаза.

Шершаво, сонно скрипнуло крыльцо,
Пугая заворчавшую овчарку.
Тепло и свет. Смеясь, взглянул в лицо
Старик поляк: «А пан не выпьет чарку?»

Я поклонился и присел к столу,
Взглянул на девушку с глазами Мнишек —
Она в передник спрятала иглу, —
На тихих ясноглазых ребятишек,

На старика: живет в лесу, а брит,
Усы, подстриженные по-шляхетски;
На лампочку, которая горит
Как будто в городе, как будто в детской.

VI

А после, при убавленном огне:
«Вот это... На дорогу принесла вам!»
Каким красивым показалось мне,
Как будто бронзовое, — Бронислава!

И снова ночь. Бессонный часовой,
Взглянув в лицо, узнал, посторонился,
Прошелестел глазастой совой
И затонул... Уже туман клубился

Над просекой... И вздрагивала ночь,
Оттаивая заревом над грабом,
И было грабу, видимо, невмочь,
И он ворчал, поскрипывая слабо.

VII

Потом, огнем прижатые к траве,
Отстаивая просеку и тропы,
Мы в огненный втянулись фейерверк
И дымный бой по просеке затопал.

Пылал за нами, разгораясь, дом,
И охала укрывшая дороги
Трущоба гулкая, как ипподром
Кентавров огнегривых, медноногих.

У дома, бушевавшего огнем,
Рыжела яма — острая воронка,
И на краю, в переднике своем,
Дымилась обгорающая Бронка.

VIII

Бежать, бежать, валежником треща,
Потом собраться, шалым от одышки,
И слушать, вздрагивая, трепеща,
Трущобу озаряющие вспышки...

И вновь бежать, затерянным в лесу,
Лицом сметая паутины нити,
Пока не натолкнешься, как на сук,
На окрик: «Кто идет? Остановитесь!»

— Свои! — Позвякиванье котелков,
Тяжелое движение: колонна.
Тумана голубое молоко.
Патронная двуколка. Батальонный.

IX

Трещали дни, как избы деревень,
Как бревна. Скатывались в недели.
Привыкнув спать в земле и на траве,
Мы стали черными и похудели.

Гремел, крутил и нес водоворот:
Любовь и смерть. Проклятья, грохот, вздохи, —
И это всё — четырнадцатый год
Столетия и первый год — эпохи.

Всклокоченный, шарахнувшийся год!

Харбин, 1931

НЕРОНОВ СЕСТЕРЦИЙ

поэма

I

В монетном хламе — в зелени медяшек —
Отысканный приятелем моим,
Он слеп и тускл, но чувствует тяжесть:
На Вашей замшевой ладони — Рим!

О древность! Шепотом мы говорим,
Как будто ждем, о чем он нам расскажет;
Но он молчит, он умер. Он прикажет
В былую жизнь последовать за ним.

Годов опавших шелестящий ворох...
Перешагнем! — Июльский вечер. Форум.
Ленивый плеск стихающей молвы.

В одной из лектик, в пышном паланкине,
Покачиваюсь я — поэт, как ныне, —
И кесаря возлюбленная — Вы.

Глаза у Вас такой же синевы,
Как и теперь, но туалет Ваш — стола;
В улыбке, в повороте головы
Высокомерность мрамора: с престола

Взирают так... Наш экипаж тяжелый
Несут рабы – двенадцать крепких вый...
Поклонников Ослиной Головы
И между ними сыщется кнут свинцовый.

Но Вы не истязательница, нет,
Тем более что иудейский бред
Успел и Вас кольнуть своим стилетом;

Вам непонятна кесаря боязнь,
Но пусть умрут, коль заслужили казнь,
Не женщине же разобраться в этом!

Вы – звездочка... Над римским полусветом
Немало вспыхивает светлячков.
Ваш век – не годы и не год, а лето;
Предначертанье – пурпурный альков

Державного. Но требует стихов
Вечерний пир, и Вы дружны с поэтом,
И пусть, таясь, я грезил не об этом –
Союз наш в прошлом именно таков.

Но о себе – как спутник посторонний.
О Вас пою. – Мечтая о Нероне,
Актея стонет: «Взор прозрачной льда...

Золотокудр, что август в розах сада!»
«Ах, просто рыжий!» – думаю с досадой
И говорю почтительно: «О да!»

Вы названы, и я не без труда
Произношу сияющее имя...
Не потому ли, что с пятью другими
Пять букв его сплелись навсегда?

И все-таки припомните, куда
Нас переулками несли кривыми?
Я вижу Тибр. Как бы в тончайшем дыме
Лежит отяжелевшая вода.

В амфитеатр! Сегодня смертью яркой
Сомнительных виновников пожара
Карают кесарь. До такой гильбы

Я не охотник, да и Вы, пожалуй,
Но этикет обламывает жало
У жалости: *не можете не быть!*

II

В котле амфитеатра душно. Лбы
В испарине, лоснящейся багряно.
Обрызгивают подиум рабы
Водой, благоухающей шафраном.

Туники просмоленные; столбы
Всплывшие!.. Все муки христианам:
Звериный клык, подземный Туллианум,
Красивым девушкам — Фарнезский бык!

С его рогов невинные Дирцеи,
В немой беспомощности цепenea,
Крестообразно на песок падут.

И, озаренный прыгающим светом,
Ценитель кесарь, будучи эстетом,
Подносит к глазу круглый изумруд.

Но на рогах они не все умрут —
Иные развлечения не забыты...
Уже готовят новую игру,
И пять столбов в песок арены врыты.

Сгибают рост, в подземную нору
Спустился кесарь с избранными — львы там, —
И львом, переодетый фаворитом,
Он выбежит на освещенный круг.

Прикованы — глазам своим не верим! —
Пять девушек пред распаленным Зверем;
Их девством насыщается Нерон...

И, как бы поражаем Дорифором,
Вольноотпущенником-актером,
Арену с визгом покидает он.

Овациями Август награжден
(Взглянуть на Вас ужели я не вправе,
Ужели он любим и в этой славе?), —
Вновь в подиум проследовал Нерон.

Он благосклонен, очень утомлен;
Жеманничает и лукавит,
И перед ним душистый мультсум ставит
Прелестный, нарумяненный Фаон.

Легчайший шелк у кесаря на шее,
Дар нежности заботливой Актеи, —
О госпожа, в любви и Вы раба!..

Задрапирован в пурпурную тогу,
Почиет кесарь, уподоблен богу,
И отвисает нижняя губа.

И вновь рычит сигнальная труба —
Охрипла медь недаром в ночь такую!..
Привязывают Перепетую
К рогам быка два бронзовых раба.

Свирепый зверь, арену атакуя,
Стряхнул святую с черного горба,
Она встает, и волосы, как струи,
На грудь и плечи хлынули со лба.

И, ожидая поворота зверя,
Сплетенных рук легчайший обруч взвевя,
Вновь собирает волосы... Народ

Вскочил, ревет: «Бесстрашию — пощада!»
Но жизни ей от кесаря не надо,
Она навстречу вечности идет.

Еще одна — теперь ее черед —
Вступает на обшарканные плиты...

В глазах испуг, смущение, а рот
Полуоткрыт улыбкой позабытой...

И незнакомца-юношу вперед
Бросает жалость. «Дева!» – Взоры слиты.
И через плечи воинов сердитых
Она ему платок свой подает.

И, обручен сияющей невесте,
Преображенный восклицает: «Вместе!»
Душа освобожденная легка...

Открылась озаренная арена,
И, за руку ведя, Потамиена
В бессмертие уводит жениха!

Струится Тибр. Над Тибром ночь тиха,
Она темна, облипшая, как тина.
Амфитеатр... Чу, пенье петуха
С плебейских закоулков Авентина.

Вас похищает свита властелина,
Но Вами пахнут в лектике меха;
В ее раскачке выверенно-длинной
Размер александрийского стиха.

А мертвецов, что взрытый круг устлали,
Теперь крюками волокут в споларий,
Спеша работу кончить до утра,

И нетопырь с царапающим писком
Взвивается над черным обелиском,
Тем самым, что на площади Петра.

III

Предутро. Петушина пора.
Как черный камень, ночь отодвигалась.
Пронзительнейший аквитанский gallus¹
Вскричал у боевого топора.

¹ Галл Vindex, поднявший восстание против кесаря. (Прим. автора.)

Увенчанному смерть – какая жалость!
От слез подушка кесаря мокра.
Такая бесподобная игра
Ужели недоиграной осталась?

И он встает. Солдатский сагум выбран.
Закрыть лицо, бежать на берег Тибра,
Но грязен Тибр... Ваш бог, Ваш Аполлон

Забыл о Вас, предался жалким стонам,
И, грубо увлекаемый Фаоном,
Бежит из дома золотых колонн.

Повисшим седоком отягощен,
Без путеводных факелов, в темноты
Плетется мул... Но далеко еще
Спасение – Коллинские ворота.

Закутал кесарь голову плащом.
Стена казарм, преторианцев роты...
Из караульни выбегает кто-то
С копьем и лучезарный фонарем.

Скорей, скорее!.. Но, испуган трупом,
Мул пятится и оседает крупом,
И узнан кесарь... Падает, бежит,

Срывается к кустарникам колючим,
Но молния запрыгала по тучам
И указывает бегства рубежи!

И даже небо жалко дребезжит,
Подобно кровле нищего жилища...
Актея бедная, у сей межи
Остановись!.. Уже не воин рыщет

В кустарнике – над кесарем дрожит
Рой мертвцов, оставивших кладбища.
Они ползут, взвиваются... Их тыщи,
Зловещих, мстящих, требующих: жизнь!

Но ты не слышишь, ты не хочешь слушать;
Рыдания, ночного ветра глуше,
Терзают сердце, надрывают грудь.

И светлым дымом над мятежным Римом,
За императором, тобой любимым, —
Твоя Голгофа — безнадежный путь!

На суд веков ты хочешь посягнуть,
Вот только бы обрел любимый силу
Сказать: люблю! К избраннице прильнуть
И умереть. И через ту могилу —

Двойную! — сердцу не перешагнуть.
Но где ж ему! Во всем подобен илу,
Прогнивший весь, он умирает гнило:
Сердца не жечь болотному огню!

И, тягостная, непереносима
Минута эта. Мрачный спутник мимо
Несчастливого лица его глядит.

«Освободи!» — вопит его томленье,
И два кинжала, смерть — освобожденье,
Нерону подает Епафродит.

Но даже гибель не освободит
От наказания, от воздаянья:
Бессмертие протягивает длани
Над тем холмом, в котором он зарыт!

Тот холм прочней и выше пирамид —
Гора проклятий до небес достанет,
Но из окаменелостей гремит
Живой ручей Актеиных рыданий:

Подобная кротчайшей голубице, —
Женоубийце, матереубийце
Готовит гроб, от горечи темна;

Над бессердечной вечностью взлетая,
Прелестная язычница-святая,
Не истинной ли святости она?

И отблеском двойным озарена
Тень кесаря. Подумайте, как странно:

Глупец, фигляр, Антихрист, Сатана,
Зловещий Зверь видений Иоанна, —

Любим был нежно, верно, неустанно,
И жалости любовь не лишена:
Так гной болот жалеет вышина,
И лишь такой любви поем: Осанна!

Года, года, как пыль дождя, года...
Взревет труба последнего суда,
Раскроется презренная могила,

И разве мыслимо ответить: нет!
На женских глаз наикротчайший свет,
На шелест сердца: «Я его любила!»

IV

Здесь ставлю точку. Спущено ветрило,
Цепями загремели якоря:
Пророчит осторожная Сивилла
В дальнейшем глубочайшие моря,

А плаванье и так уж утомило —
Истрачен полно творческий заряд...
Вы, улыбаясь, говорите: «Мило!» —
Как о наряде новом говорят.

Еще смущает Вас Перепетуя:
«Иначе бы я назвала святую,
Иным смешное имя заменя...

И почему, с язвительностью некой,
Себя каким-то выведя... Сенекой,
Актеей вы являете меня?»

Бросает пахарь в землю семена,
И своенравно прорастает семя...
История ожившего зерна
Живой любви отражена в поэме.

Неузнанная, робкая, она,
Таясь с предосторожностями всеми,

Как зернышко была погребена, —
Зерно взошло в чужой, далекой теме.

И всё — как в сложной путанице сна:
Реальность в символы отнесена, —
Ведь Вы актеру подарили сердце,

И вот — Нерон. Вы говорите: мечь!
За что ж тогда благоговенье счесть?
Пусть лучше так: всему виной сестерций.

Харбин, 1934

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ

Добро есть сохранение жизни живущим
и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь.

Н.Ф. Федоров

I

Закат дотлеет, и остынет
Песок. Расплакался шакал
И стих. И — ночь. Постасть в пустыне,
Сын Человеческий взалкал.

И в голод, в голос силы некой
Нижайшей — вслушивался Бог.
Изнеможенье *человека*
Враг величайший подстерег.

Без плоти грудь, без взора очи,
Лишь оперенье черных крыл,
И будто сумрак смертной ночи
Из всех могил заговорил:

«Беседа эта тяжела мне,
Но нам ее не отвратить.
Я знаю, скалы, эти камни
Ты можешь в хлебы превратить.

Вочеловечась, тело мучишь
Зачем? Бессмысленно! Зане
Что в человеке ты изучишь,
Что б не известно было мне?

Мы оба рождены Единым,
С тобою мы как день и ночь,
И если ты зовешься Сыном,
То я никто ему, как Дочь.

Но ты томишься, как бродяга,
Во тьме замысливший мятеж...
Пойми, прими меня как благо
И тем томления утешь!»

Шептались шорохи. Пустые
Ущелья стьли. Зверь рычал.
Сияла звездная пустыня.
Сын Человеческий молчал.

П

И снова голос:

«Все усилья
Твои направлены к чему?
Ты человеку даришь крылья,
Ты горний путь сулишь ему?

Не искушай, как Змий у древа!..
Ты не спасешь, но во сто крат
Лишь увеличишь меру гнева
И низведешь на землю ад.

Твои слова истлеют в склепах
Тяжелых золоченых книг,
В застенках извергов свирепых
Твой изуродованный лик

Внесет палач — да светит судьям,
Кровавый освящая суд!
И ты отвратен станешь людям,
И люди от тебя уйдут.

И “Он обманщик! — скажет всякий. —
Он шел, усмешку затая”.
И будет свет един во мраке:
Исчезновение, гибель, Я!»

Та речь, как бич, пустыню сёкла.
Весь мрак гремел и обличал.
Смутились звезды. Звезды меркли.
Сын Человеческий молчал.

III

И вот опять:
 «Взойди на гору.
С ее надменной вышины
Так хорошо открыты взору
Все чудеса твоей страны.

Оставь мятеж. Пребудь евреем.
Люби лишь избранный народ.
И он, Отцом твоим лелеем,
Тебя мессией назовет.

Ты станешь богом, но отчизне,
Народы будешь попирашь.
Ты станешь звать к победам, к жизни,
А я... я буду умерщвлять!»

И голос смолк. Как лязг металла,
Отпрыгнул вскрик от ближних скал.

IV

Над розовым песком светало.
Сын Человеческий сказал:

«Воистину была ты благом,
Как поводья вела слепца,
Но, прозревая с каждым шагом,
Жизнь станет зрячей до конца.

Она своей пойдет дорогой,
Но у тебя на поводу:

Живые ждут живого Бога,
К смерть ненавидящим иду!

И новой Пасхи дам опреснок,
Восстав из гроба поутру:
Как плоть умру, как плоть воскресну
И смертью тебя попру!

Я – путь. Он долгод, но короче
Твоей дороги гробовой...»

И встал. И поднял взор. И очи
Подняли солнце над землей.

И обратился к Делу. Ранний
Живой над озером был ветр.
И шел навстречу первозванный
Андрей и мощный Петр.

ТОТУ

Тропическая поэма

I

Конусы хижин. Жилище вождя
Посередине поляны.
Пахнут неистово после дождя
Травы. Кричат обезьяны.

Тоту – в гостях. Забежала к сестре,
Девьей тоской истомая.
Черная дама на дымном костре
Жарит змеиное мясо...

...Тоту скучает, – и мясо змеи
В ней аппетита не будит.
«Где же, сестрица, пришельцы твои?
Где эти белые люди?»

Жалят москиты. И потным плечом
Дернула черная баба:
«Да отвяжись ты!.. Они за ручьем,
Стан их — в тени баобаба».

Тоту вскочила. Огня горячей
В быстром сверкании пятки...
Вот и околица, вот и ручей,
Вот баобаб и палатки.

Стройный тростник, просыхающий ил,
Веток свисающих лапы...
Только бы дерзкий дурак крокодил
Тоту за ножку не сцапал!

II

Парень — за ним отдыхающий стан,
Кончивший к полдню работу, —
В пробковом шлеме, короткоштан,
Пристально смотрит на Тоту.

Прелесь!.. Но в воду идти для чего:
Схватит чудовище — сгинет!..
Но для нее крокодил — божество:
Слопает — станет богиней.

Впрочем, и тех не провеяло дум —
Шлепают, шлепают ножки!..
Не замочить бы вот только костюм —
Тряпку без всякой застежки.

Тоту уже по колени в воде —
Черная юная дева!..
Тут и случится б несчастьем, беде,
Если б... Взгляните налево!

Это не вихрь в тростниках забродил,
Гость из равнины озерной —
Черно-зеленый большой крокодил
Бросился к девушке черной.

Ужас!.. Но резво винтовка гремит —
Четко, отрывисто, сухо,
И перевернут зловещий бандит
Вверх отвратительным брюхом.

Тоту, как пух, уж на том берегу —
Слезы, склоненные плечи...
Перевести я, пожалуй, смогу
Смысл ее сбивчивой речи:

«Я у твоих, избавитель мой, ног
Мышкой дрожу и немею.
Бога убивший, конечно, ты — бог...
Скажешь — рабыней твоею

Стану... В труде от зари до зари
Буду... Зарок не нарушу!
Если ты девушку хочешь — бери,
Если ты голоден — скушай!..»

Парень не понял, увы, ни аза
Из бормотанья малютки.
Парню понравились только глаза,
.....

Парень...

III

Но автору надо о нем
Что-то поведать хоть вкратце.
Пусть остаются покамест вдвоем —
Знаками объяснятся!..

Русский. А имя его — Валентин,
Великоросс, из Серпейска,
В прошлом погоны со звездочкой, чин —
Прапор пехоты армейской.

Пётр большевик, все заставы прорвав,
Отдыха нет от погони!
Валя, немного повоевав,
Вдруг оказался в Медоне.

Фабрика. Скука. Тоской истомлен,
Мучился, мыкался, бился...
Олечка Тюкина... Валя влюблен,
Валя влюблен и — женился...

Вышла женитьба тяжелой, как груз, —
Тяжка бедняцкая доля.
Но... подвернулся богатый француз,
Молвила робкая Оля,

Молвила Оля, — в ночной тишине
Маятник тикал уныло:
«Я тебе в тягость, и в тягость ты мне, —
Лучше расстанемся, милый!»

Что ж теперь — пуля себе и ему?..
В плащ прорезиненный сунул
Браунинг. Вышел. И вдруг: «Ни к чему!» —
Плюнул и в Африку дунул.

IV

Тоту смеется. Сверкают белки.
Стройная гибкость мальчишки.
Пахнет так остро от черной щеки
И от курчавой подмышки.

Тоту смеется — пропущен обед! —
Тоту склоняет головку.
Выменять, что ли, ее на жилет
Или на эту винтовку?

«Тоту!..» — Вишневые губы ее
Быстро касаются, жаля.
«Тоту, ты черное солнце мое!..»
Снова влюбляется Валя.

Вечер был розов, огнисто-лучист,
Пламя леса заливало.
Долго трубил караванный горнист —
Русского медь подзывала.

Утром же, снявшись, ушел караван:
Мешкать ли – считано время!
И зашумело на солнце полян
Тотино черное племя.

V

Бешено били подростки в там-там...
В медной трубе грамофонной
Вместо короны – поверят ли нам? –
Выведен вождь церемонно.

Зелья хмельного велел он испить
Вале, и стая босая
Стала плясать и истошно вопить,
Копьями потрясая.

Слопают? Нет, каннибальствуют тут
Редко – оставьте заботу!
Вот расступились. Старухи ведут
К белому – черную Тоту.

Свадьбу справляли всю ночь напролет,
Даже младенцы не спали, –
Русского приняли вождь и народ,
Лучшую хижину дали.

Имя же Вале в честь тотема: Шу –
Ловкая, легкая ласка.
И повели молодых к шалашу
С музыкой, с пением, с пляской...

Дальше? Дальнейшего мы подождем –
Всё рассказали, что знали...
Вот если б выбрали Валю вождем --
Славно б отправиться к Вале!..

ПРОТОПОПИЦА

Виждь, слушателю: необходимая
наша беда, невозможно ее миновать.

Протопоп Аввакум

I

Наших прадедов Бог по-иному ковал,
Отливал без единой без трещины, —
Видно, лучший металл Он для этого брал,
Но их целостность нам не завещана.

И потомки — не медь и железо, а жесьть
В тусклой ржавчине века угрюмого,
И не в сотый ли раз я беру перечесть
Старый том «Жития» Аввакумова.

Чу, на диких холмах человеческий топ —
Полк стрелецкий к ночлегу торопится.
За стрельцами бредет Аввакум-протопоп
С ясноглазой своей протопопицей.

За двухперстье, за речь, как великий укор,
За переченье Никону тяжкое
Угодил протопоп под начал и надзор
Воеводы боярина Пашкова.

Тот — царева рука, что и дальше Даур
Из кремлевской палаты протянута,
Ей подай серебра, драгоценнейших шкур,
Ей и воля и сила дана на то!

Край и глух, край и дик. С отошальым стрельцом
Лишь грозою да боем управиться,
А еще протопоп укоряет крестом,
Баламутит, сосет, как пиявица.

Для чего накликать и пророчить беду,
Коль и так над полком точно зарево?
Может, поп-то и прав, и гореть нам в аду,
Воля Божья, а власть государева!

Заморить бы попа, раздавить, как клопа, —
Вот как гневом утроба распарена!
И не знает Пашков: он — ярмо для попа
Или тот для него, для боярина?

Как скала протопоп. Хоть опять и опять
Воевода грозил и наказывал,
Но ульстить, но унять, под себя ли подмять
Невозможно сего огнеглазого!

Воевода в возке. Чтобы нарту волочь,
Протопоп с протопопицей пешие.
Растревожил буран азиатскую ночь,
Даже звезды ее не утешили!

II

От родного села и до царских палат,
И от них до тюремной до ямины, —
Не единым ли он устремленьем крылат,
Обличенья его не из пламени ли?

И топили его, и палили в него,
И под угол бросали избитого,
И сгорит протопоп в купине огневой,
И Россию костер опалит его.

Всю великую Русь от гранитных твердынь
Соловецкого края до Каспия,
Где журчащую в жизнь из праотческих скрынь
Веру древнюю, русскую распяли!

Жил как все протопоп: в духоте, в маяте,
В темноте — под тяглом да под приставом,
Но порадоваться он умел красоте,
Усмехался над дурнем неистовым.

Был он смел и умен. И писателем был
Беспощадным для гнили и нечисти, —
Огневое перо он себе раздобыл
Без указок риторики греческой.

Он что крепость стоит. Неприступна она
Для упрямого вражьего норова...

У бесстрашного есть Аввакума жена,
Сирота из сельца из Григорова.

III

Вот бредет она в ряд с огнепальным попом,
Опоясана лямкою конскою...
Через двести годов этим самым путем
Полетят Трубецкая с Волконскою.

Только Марковне злей, непосильнее путь —
В женском сердце *что* горечи копится!
Не от лямки одной надрывается грудь,
И насилу бредет протопопица.

Горя долю свою выпьет полно она,
До той ямы подземной, что в Мезени,
Но тебя, протопоп, не оставит жена,
Будь ты в лямке, в битье ли, в болезни ли.

Не от лямки отстать, за супруга ли стать —
Вот тоска и забота привычная,
Только сила не та, только ветер опять
Опрокинул тебя, горемычная!

И за годы невзгод раз лишь сердце зашлось,
Что-то тут его сжать помешало ей, —
Протопопу лишь раз от жены довелось
Слышать робкую женскую жалобу.

И сказала она в той трущобе без троп, —
Плач ресницы ледяные разламывал:
«Долго ль муки сея будет нам, протопоп?»
И в ответ он: «До смерти до самыя!»

Не сурово сказал, со слезами сказал,
Ибо ведал, что ноша та — крестная,
И склонился поднять, и встречались глаза
Их двоих в ту минуту чудесную.

Всё жена поняла и сказала: «Добро!
Побредем, знать, Петрович, не сетуя».
Ах, как жжет, как горит протопопа перо,
Повествуя из ямы про это вот.

И впряглися опять, чтобы нарту волочь;
Ночь утихла и, звездная, ярка вновь.
Всё свое серебро стелет синяя ночь
Тебе под ноги, милая Марковна!

IV

Афанасий Пашков сед, велик, как морской
Тот медведь, что на севере водится.
А разгневаётся — так он в гнев такой,
Что храни, упаси Богородица!

Сын его Еремей (и того борода
В серебре, но отцу — почитание) —
Тот гораздо умен, не шумит никогда,
Обо всем его думка заранее.

И в Мунгальскую степь отправляет Пашков
Еремея с задачей военной.
Что-то сына там ждет? И на всё он готов,
Чтоб проникнуть за даль сокровенную.

Воевода, шамана потребовав в стан,
Сел, индейским раздувшись кочетом,
И, на бубне играв, тот проклятый шаман,
Покрутившись, победу пророчит им.

Рад-доволен Пашков, и стрельцам приказал
Он к походу собираться да строиться,
Но из хлевины всё протопоп услышал
И, в обиде за русскую Троицу,
Пред людьми он предстал, он крестом потрясал
И кричал, что ничто не устроится:

«Да не сможете вы возвратиться вспять:
Только смерть — ни победы, ни славы вам!
Да не сбудется днесь, обреченная рать,
Предсказание, данное дьяволом!»

Напугал протопоп зашумевших стрельцов,
И нейдется на дело им трудное...
Как тогда не убил протопопа Пашков,
Уж доподлинно чудо-пречудное!

V

И сбываются все протопопа слова:
Еремей лишь сам-друг возвращается.
Воевода Пашков разъяреннее льва,
Палачами ж огонь разжигается.

От огня же того у него не живут,
Для гортани не олово ль топится?
Вот уже палачи за строптивцем бегут,
И бледней полотна протопопища...

...Вера прадедов сих, что утрачена днесь,
Та, которой так жадно завидую,
Что на Небе всему воздаяние есть,
Что награда идет за обидою.

Что уж всё рассудил благодатный Исус,
Кормчий праведных, парус кораблика...
И уже на губах Аввакумовых вкус
Бесподобного райского яблока.

И готов протопоп: не само ли ему
В рот-де Царство Небесное валится?
Женихом он пойдет к палачу своему,
Под топлёный свинец ли, под палицу ль!

Ибо знает: за краткий страдания срок,
За кровавую смерти испарину,
За откушенный перст, за порубленный бок —
Будут райские кущи подарены.

Жаль жену и детей, но за подвиг его
И семейство у Господа в почести,
И он ждет палачей, не боясь ничего,
В исступлении древле-пророческом.

В сердце Марковны нет этой воли литой —
Вся в слезах, опустились ручки:
Пусть не примет супруг высшей славы святой,
Лишь бы только не вышел и в мученики!

Женской любящею, истомленной душой
Рвется, ищет спасения милому,
Просит только о том, чтобы Бог подошел
И несчастье из жизни их выломал.

И услышал Господь: воротил Еремей
Палачей, заступиться торопится.
Сколько яростных дней, сколько страшных ночей
Ты осилила, протопопица!

VI

В суматошной Москве перемены опять,
Мчит гонец, подгоняемый вьюгою.
Из далеких Даур возвращается вспять
Аввакум с ясноглазой супругою.

И над долей его свет забрезжил иной —
Разгорается слава, что зарево:
Здесь встречают его умиленной слезой,
Там обласкивают и одаривают.

Отдохнуть бы теперь от битья да от троп,
На которых под лялкою падали,
Но замолк, но затих, заскучал протопоп,
И суровые брови запрядали.

И от Марковны та не укрылась тоска,
И, когда он молчал да раздумывал,
Подошедшей ее опустила рука
На большое плечо Аввакумово.

И с опрятством к нему приступила жена,
Как ладейка к утесу причалила...
Наклоняясь к челу, спросила она:
«Господине, почто опечалился?»

Тяжким взглядом своим отстраняя, гоня,
Горько вымолвил другу он нежному:
«Что, жена, сотворю? Вы связали меня...
Не стоять мне за веру по-прежнему!»

Отшатнулась жена: не одним ли путем
Через дебри Пашковские хожено?
Отставала ль она, не была ли при нем
Ежечасно, как другу положено?

«Боже милостливый! — ужаснулась она. —
Что такое ты вымолвил, выискал?..»
И молчал протопоп. И была тишина
В их избе, где ребенок попискивал.

И сказала жена, и супругу свою
Протопоп не узнал на мгновение:
«Аз ти вместе с детьми ныне волю даю
И на подвиг благословение!»

И шагнула вперед, и уже не дрожит
Ее голос струною натянутый:
«Если ж Бог разлучит, так о нас не тужи,
Лишь в молитвах своих не запамятуй!»

И умолкла она. И в волненьи таком,
Что душа и пылала, и таяла,
Протопоп Аввакум бил супруге челом,
И супруга, подняв, обняла его.

VI

И была эта ночь как руля поворот
Для их лодочки легкой двухвесельной:
С успокоенных вод в новый водоворот
Он стремительно вновь перебросил их.

Над тюрьмой земляной крыши белый сугроб,
На оконце ржавеют железины:
Закопали тебя, Аввакум-протопоп,
В Пустозерске, а Марковну — в Мезени.

Худ и наг протопоп, и его борода
Серебром заструилась до пояса,
Но могучей спины не сгибают года,
И не может душа успокоиться.

Он склонен над столом, и пера острие
Слово к слову находит точеное.
У руки же его, там, где тень от нее,
Мышка бегает прирученная.

«Божья тварь!» — и тепло заструили глаза
На комочек на этот на бархатный...
Полюбила тебя не за этот ли за
Светлый взгляд горемычная Марковна?

За умение понять, улыбнуться светло,
Пожалеть неумного врага,
И за это любви золотое тепло
Заплатила подружие дорого.

Оторвали тебя, да и сам отошел, —
Отстранило служение раннее, —
И хоть пишешь жене, и письмо хорошо,
Но выходит оно как *послание*.

И Петровича нет меж священных цитат:
Что ни слово — опять поучение,
Ибо ведаешь ты, что становишься свят,
Что письмо — как Апостола чтение!..

Облегчения нет от такого письма,
Сердце чахнет и в горечи варится.
Одиночество жжет. Опускает тюрьма
Навсегда свою кровлю над старицей.

В Пустозерске ж глухом дымовые столбы
Поднялися в весеннем безветрии...
Не ушел протопоп от высокой судьбы,
Вознесен на пылающий жертвенник!

Зашипело смолье, и в рассветную рань,
Сквозь огонь, в дымовые отверстия —
То лицо, то брада, то воздетая длань,
Исповедующая двухперстие.

Харбин, 1938-1939

КАК ОНИ ПОЛАДИЛИ

(Сказка о том, как Миша Топтыгин с лесником поспорился и как умная лиса помирила их)

1

У дороги лесной, у дуба,
Где звенел ручеек-родник,
Где от зноя укрыться любо,
Жил в избушке седой лесник.

В той избушке лишь стол да лавка,
Поглядишь — обстановка вся...
Есть товарищ у деда — Шавка:
Без собаки в лесу нельзя!

Есть ружье, самопал тяжелый,
Есть капкан и для птиц силки.
За избушкой в колодах — пчелы,
Целый день их жужжат полки.

Разомлело над лесом лето —
Уж июню пришел конец.
Просыпается дед до света,
Лишь зари заблестит венец.

Поглядит на траву, на небо, —
Не послал бы Господь дождя, —
Пожует на дорогу хлеба
И ружье заберет с гвоздя.

Свистнет Шавку — с собакой ловче:
Упасет, наведет на след...
Сдвинет шапку на лоб, и в общем
Уж готов на охоту дед.

Под ногами из хвои терка,
Сладко пахнет лесная гарь...
В ежевике живет тетерка
И тетеркин супруг — глухарь.

Тут и заяц прыжками кружит
И с разбега в капкан нырнет...
Старикан на судьбу не тужит —
С леса жадную дань берет.

Он зимой и хоря уловит,
Он и белку сшибет с сосны...
Лишь для виду он хмурит брови,
Но веселые видит сны.

А коль встреча случится с волком,
Старый спину свою согнет,
Разглядит, расприметит толком
И картечью его пугнет...

Но ведь лес-то — медвежье царство,
И медведь заворчал: «Шалишь, —
Прекращу я твое коварство,
Ты в лесу с собачонкой лишь.

До жилья, до села — далече,
Задаваться тебе не след...
Собирайся, зверье, на вече,
И давайте держать совет».

И велел он проворной белке
Известить весь зеленый лес,
Чтобы зверь и большой, и мелкий
Из трущобы к берлоге лез...

Только хвостик мелькнул проворы —
И помчалась она стрелой
Обскакать все лесные норы,
Известить весь народ лесной...

2

Прыг с березы на осину,
Из оврага на увал,
На песчаный перевал,
А потом опять в трясину,

В чащи, в темные трущобы,
Где алеет мухомор
Красной шапкою...

Еще бы —
Ведь в лесу немало нор!..

На траве блестит роса,
По траве идет лиса.
Хоть скромна она на вид —
Всюду первой норовит.

Подошла — и от беды
Замела свои следы.
Мише — ласковый поклон:
Дескать, жив-здоров ли он?

Попыталась белка толком
Побеседовать и с волком,
Но он был ужасно груб,
Он на белку целил зуб,
И, едва бежав от зла,
Белка хвостик унесла,
Крикнув с ветки: «Волк, заметь —
Будет ждать тебя медведь!»

От росы ночной дрожа
(Стало вечером свежо!)
Белка встретила ежа.
Он сказал: «Приду ужо!»
И, гадюки злобной муж,
Подколодный умный уж,
Встретив белку-егозу,
Молвил: «Ладно, приползу!»

Как воды набравши в рот,
Слушал белку мудрый крот.
Вот очки он на нос вздел
И на белку поглядел.
Вот, закрыв ученый том,
С полчаса вертел хвостом.

Наконец — согласие дал
И... ужасно опоздал.

А барсук, кончая ужин,
Проворчал: «Зачем я нужен?
Я бездетен, стар и вдов,
Я не трогаю коров,
Я овец не обижаю,
За болотом проживаю...
Не попасть бы нам в беду...
Но, коль нужен, я приду».

От сосны к березе стрелкой
Замелькала снова белка.
Возвращается назад,
Мише делает доклад:

«Со зверьем была мне мука!
Не прописана гадюка,
Взять не мог приказа в толк
Ваш советник, серый волк.
А у зайца в доме тихо —
На погост ушла зайчиха:
Ведь лесник, хоть слеп и хил,
Зайца дробью уложил.

Словом, было мне хлопот
Целый короб, полон рот...
Но лиса, я вижу, тут, —
А другие подойдут».

3

На поляну, на лужок
Светит месяца рожок.
Над полянкою сосна
Каждой веточкой ясна.
От сосны — косая тень.
У конца той тени — пень,
А на нем сидит медведь,
Пасть — начищенная медь,
Когти — черные крючки,
А глаза — как угольки.

Справа — волк, налево — уж,
Злой гадюки бедный муж.
Впереди его — барсук...
Белка прыгнула на сук,
А под ним — колючий еж
На крота наводит дрожь.

В стороне от всех лиса,
Взор подняв на небеса,
Скромной скромницей сидит,
На соседей не глядит.

4

Миша лапой покачал,
Миша басом прорычал:

«Всем известно — у опушки
Возле дуба, где родник,
С глупым псом живет в избушке
Возмутительный старик.

Он, хитрец, тетерок ловит,
В чашах сети хороня,
Лаял пес, что он готовит
Даже пулю для меня.

Пчел завел — но сунься к меду
И, поверь, не будешь рад:
Вмиг с обрыва сбросит в воду
Из ружья его заряд.

Вот погиб недавно зайка,
Убивается вдова...
Всяк на случай примечай-ка
Эти самые слова!

Дальше жить так — нет терпенья!
(Эй, не прячься, уж, в траву!)
Буду спрашивать решенья
Я у всех по старшинству».

Замолчал медведь и колко
Посмотрел в упор на волка.

Перед строгими очами
Волк поджал трусливо хвост
И сказал, пожав плечами:
«Я, владыка, слишком прост.

Я могу зубами шелкать,
Выть, сверкать глазами в ночь,
Но уволь от мыслей волка —
Мне ли разумом помочь?

Барсука спроси... Он в школу,
Говорят, ходил зимой...»
И умолк, поникнув долу
Глупой серой головой.

С неохотою великой
Поднял мордочку барсук,
Проворчав: «Лесов владыка,
Не осилил я наук.

Мне до мудростей далёко,
Стар я, память не свежа...»
И кивнул не без намека
На колючего ежа.

Еж хитер и забияка,
Еж, конечно, парень — во!
Даже дедкина собака
Убежала от него...

Но, однако, даже слова
Не добились от ежа.
Только снова он и снова
Лапой тыкал на ужа.

Но и уж зверью не в руку,
Голова его темна...
Он твердит лишь про гадюку:
«И смела-де, и умна...»

Но змея скрывалась где-то,
Не любимая никем...

— «Не подходит нам и это!» —
Объявляет Мишка всем.

5

Тут поднялся очень важно
Подземельный житель крот.
Он на всех взглянул отважно
И открыл ученый рот.

Говорил он очень долго
Иностранные слова,
И от них совсем у волка
Закружилась голова.

Долго крот ученой речью
Нагонял тоску и сон.
Даже Миша, я замечу,
Был той речью утомлен.

«Ничего не понимаю! —
Рявкнул он. — Почтенный крот,
Я ли разумом хромаю
Иль совсем наоборот,

Но нельзя ль угомониться,
Или слипнутся глаза...
Звери, очередь лисицы!
Что предложишь нам, лиса?»

Заюлила, завиляла
По траве лиса хвостом:

«Понимаю очень мало
Я, владыка, в деле том.

Всё же, думаю, несложно
Избежать пока беды, —
Надо только осторожно
Заметать свои следы.

Всяк, в лесу гуляя рано,
Опасайся старика,
Не крутись вблизи капкана
Или около силка.

Если зверь не глуп, как телка,
Не ленив, как жирный гусь,
От силков не будет толка...
Словом — я не попадусь!»

«Не крути хвостом, лисица! —
Зарычал медведь в ответ. —
Этак делать не годится,
В отговорках проку нет.

Про себя твердишь ты это,
Затаив над нами смех,
От тебя ж мы ждем ответа,
Чтоб пригоден был для всех.

Не напрасно лисам разум
Дал Господь, зверье любя...
Помоги ж, — иначе разом
Растерзаем мы тебя!»

Покрутив хитрющим носом,
Говорит тогда лиса:

«Если так — один лишь способ
Указуют небеса...»

И медведю по секрету
Прошептала слова три...

«Обмозгуем хитрость эту! —
Рявкнул Мишка. — Но смотри,
Всё сверши манером скорым,
Словом — действуй поскорей...»

И затем медведь по норам
Распускает всех зверей.

Одного лишь только зверя
Белка в круг не привела:
Жизнь трясине не доверя,
На болото не пошла.

А в болоте, между кочек,
С животом как барабан,
Жил не зверь и не зверечек,
А зверище — сам кабан!

Ах, прости поэту, муза,
Но сказать я должен всё ж:
Он лежал в грязи... по пузо!
И хорош же был, хорош!

Весь в колючках, в иле, в тине,
Словно бусинки глаза...
И к нему стремится ныне
Чистоплотная лиса.

«Господин кабан, вы спите?»
И в ответ несется храп.
Только тина, словно нити,
Шевелится возле лап.

«Господин кабан, проснитесь,
Всё в грязи у вас пальто...»
Тут болота грозный витязь
Сонно хрюкнул: «Ну и что?
А кому какое дело?
Я не франт и не жених...
Ты, лисица, очень смело
Во владениях моих
Появилась... Ишь ведь — леди!
Тоже — рыжая краса!..»

«Я пришла к вам от медведя», —
Отвечает тут лиса.

А с медведем шутки плохи,
Каждый зверь про это знал.

Тут под вздохи и под охи
Встал лентяй и слушать стал.

Но тихохонько лисичка
Кабану в лопух его
Зашептала. Даже птичка
Не слыхала ничего!

7

А старик гулял по лесу...
Старику — чего тужить?
Думал белочку-повесу
Меткой дробью уложить.

Вот пенечек — чем не лавка?
Всё для пользы нам дано.
Сел. А старенькая Шавка
Беспокоится давно.

Тявкнет робко, смотрит в очи,
Прямо — чудо-чудеса!
Рассказать про что-то хочет,
Только речи нет у пса.

«Да отстань ты! — дед бранится. —
Отойди ты, сатана!»
А кусточек шевелится,
Пропуская кабана.

Зверь визжит, глаза кровавы,
Изо рта сверкает клык...

«Помоги мне, Боже Правый!» —
Задрожав, вскричал старик.
Ружьецо он на рогулю
Положил, стрелять готов.

Но не дробь, а даже пуля
Не пугает кабанов...

Ах, краснела б кровью травка,
И примялась бы она,
Если б преданная Шавка
Не вцепилась в кабана.

И за хвост его кусает,
И за ухо теребит...
А старик ружье бросает
И на дерево спешит.

Ах, досталось бы собачке,
Перцу б задал ей кабан,
Но лиса в разгар горячки
Появилась, как судьба.
И, подняв на елку взоры,
Где лесник дрожал теперь:

«Бросим ссоры и раздоры! —
Запеваet умный зверь. —
Ты, лесник, теперь наш пленник:
Подойдет сейчас медведь,
Сломит елку, словно веник,
Ты же волку будешь снедь...
Да и верную собаку
Барсуку мы отдадим...
Но хоть звери мы, однако
Никому зла не хотим.
Если к нам, зверюгам сирым,
Ты не будешь впредь жесток,
Мы тебя отпустим с миром, —
Соглашаешься, дружок?»

«Соглашайся-ка, хозяин,
А иначе — худо нам!» —
Шавкой был совет пролаян.
Дед ответил: «По рукам!»

8

На поляну, на лужок
Светит месяца рожок.

Над поляною сосна
Каждой веточкой ясна.

От сосны — косая тень,
У конца той тени — пень,
А на пне сидит медведь.
Пасть — начищенная медь,
Когти — черные крючки,
А глаза — как угольки...

Справа — волк, налево — уж,
Злой гадюки бедный муж,
Впереди него — барсук.
Белка прыгнула на сук,
А под ним колючий еж —
На крота наводит дрожь...

В стороне от всех лиса,
Взор поднявши в небеса,
Скромной скромницей сидит,
На соседей не глядит...

А среди зверей — лесник
Головой на грудь поник,
И ворчит за дедом пес:
«Вот куда нас бес занес!
Как бы не было чего...
Впрочем — парни ничего!»

Тут раздался Мишин рев:
«Белка, договор готов?»
И провора из дупла
Всё, что нужно, принесла.

На березовой коре
Текст барсук писал в норе
Остриями всех когтей —
Он известный грамотей!

На поляне тишина.
Светит круглая луна,

И читает по складам
Миша договор зверям:

«Обязуется лесник,
Что отнял у нас родник
И стреляет из ружья,
Не преследовать зверья.

Ни капканов, ни силков —
Ибо зверь наш бестолков —
Он не будет ставить впредь...

В свою очередь медведь
Обещает, — он прочел, —
Никогда не трогать пчел,
То есть ульев не зорить,
Мимо пчельника ходить.

Подпись в том еще даем,
Что друзьями мы живем,
Помогая там и тут,
А раздорам всем — капут».

...Ну, подписывать пора...
Шавка тявкнула: «Ура»,
Миша лапу приложил
И учтиво предложил
Сделать то же леснику,
Удалому старику.

Тут — ну, слово вам мое, —
В пляс пустилось всё зверье,
Закричав на разный лад
Кто «ура», а кто — «виват!».

ПРОЩЕННЫЙ БЕС

1

Зажглись огни вечерние
В селениях глухих,
И ветер, равномернее
Заколыхав, утих;
Погасла тучка алая,
Сошла заря с небес,
И тишина немалая
Обшаривает лес.

Чуть тропочка наметится,
По сторонам — ни зги,
Лишь волчьим оком светится
Окно в избе Яги,
И над ее избенкою,
Над срубом вековым,
Поднялся струйкой тонкою
И розовеет дым.

В снегах, в трущобной темени
Который год живет.
Без счета пало времени,
Годам потерян счет;
Лишь леший рядом гукает,
Сивобород, велик, —
Хохочет да аукает
Косматый баловник.

К Яге, седой затворнице,
Несет лесовика —
Погреться в теплой горнице
У древнего шестка;
Свела его с соседкою
Давненько ворожба,
Но скучно с бабой ветхою —
Горька ее судьба:

Слепа, зубами мается
И с памятью — беда.
Всё сетует да кается,
Ждет Страшного Суда;

Суха, что подморозило, —
Легко ль два века жить!..
Грозится всё за озеро
К Угоднику сходить,

Чтоб слезы лить смущенные
И на помин души
Отдать все сбереженные
Зеленые гроши;
Не хочется за печкою
Скончаться в день лихой, —
Увы, ни Богу свечкою,
Ни черту кочергой!

2

И смотрит Леший ласково,
Давно смирился бес,
Давно уж он не стаскивал
Ни звездочки с небес,
Давно над богомолками
Не измывался, лих,
Давно ветвями колкими
Не стегивал он их.

И где они? Похитили
Куда их? Чья вина?
Уж нету и обители,
Давно разорена,
И в озере хоронится
Ее последний скит:
На Пасху ясно звонница
Из-под воды гудит.

И горестно негоднику,
И на себя он зол:
Теперь бы сам к Угоднику
Он богомольцев свел,
Да нету их, пригоженьких,
Не повстречаешь их, —
Теперь несут дороженьки
Лишь мужиков лихих.

Деревья стонут, падают
От их зубастых пил;
Везде грозят засадою,
Куда б ни отступил.
Но Леший, тем не менее,
Куда бы ни залез,
Без боя, без сражения
Не уступает лес.

Он тенью долговязою
Шагает за порог,
Чтоб сызнава завязывать
Концы лесных дорог;
Ворчит Яга, головушкой
Качает тяжело:
Одна!.. Пропала совушка,
А кот сбежал в село.

3

Эх, Русь, страна неверная,
Опасная страна:
То сонно-благоверная,
Как рыхлая жена, —
С медами да с просфорами,
С перинами, с вожжей,
С потупленными взорами,
С покорною душой;

То словно баба пьяная,
Что дружество ведет
С ворами да смутьянами,
И плат на клочья рвет,
И держит, полуголая,
Ветрам подставя грудь,
Кровавая, веселая,
За самозванцем путь.

Но и гуляя, мается
И знает, что опять
Отпляшет, и покается,
И руки даст связать;

Затем, чтобы от ладана,
Поклонов и просфор
Опять умчать негаданно
В свой буйственный простор.

Вот с умниками шуплыми
Спаял какой-то миг,
И в старосты над дуплами
Назначен лесовик;
Разжалованный в филина,
Он – бабий разговор,
И глубже в лес осиленный
Врубается топор.

4

Идет, бредет по просекам,
Которым нет конца;
Луна из туч колесиком
Выкатывается;
Порублено, повыжжено,
Повалено кругом,
И плачет бес обиженный
Бездольным горюном.

Идет, бредет, не ведает,
От тяжких слез незряц,
Что сам Угодник следует
К нему из темных чаш;
Уж пересек он просеку;
Как в давние года,
Волосиком к волосику
Струится борода.

И ряска та же самая,
И на скуфье снежок,
Несет рука упрямая
Всё тот же батожок;
Им Лешего оттаскивал
Святой немало раз,
А нынче смотрит ласково,
Но бес не поднял глаз.

Лишь охнул он: «Доканывай!
Хоть в смерти отдохну!

Борьбу былую заново
Ужо я не начну;
Кем создан я — не ведаю,
Но с дней твоих предтеч
Я следовал и следую
Приказу — лес беречь.

И верил, сверстник Игоря,
Олегов проводник:
Леса горят — не выгорят,
Трущобный край велик;
Но горько изурочена
Рассеюшка: моя
Под топорами вотчина —
Под топором и я!

Но ты ее был жителем,
Так ты уж и добей!» —
И пал перед святителем
Трущобный лиходей;
Бить лбом о снег не ленится
И слышит, полный слез:
«Не мщение — прощеньице
Я дурачку принес!

И хоть ты рода низкого
И надо лбом рога,
Но луч Христов отыскивал
И в лужах жемчуга,
В трущобе, древле дикая,
Душа твоя росла:
К зверью любовь великая
Негодника спасла.

Ты белочку и ежика,
Медведя и лису
От пули и от ножики
Оберегал в лесу;
Взрастил ты сердце отчее
К обидной их судьбе,
И это, как и прочее,
Засчитано тебе.

Защитник сырых, выстоял
Ты против многих сил:

Ведь волю ты пречистую
Неведомо творил;
Враги в былом — изгнанники
Не оба ль мы теперь?
Так что ж, пойдем, как странники,
Искать иную дверь.

Я с палочкою спереди,
Ты позади, как пес.
Меня отсель на Тверь веди,
А там — Господь понес;
По горочкам, по балочкам,
От зорьки до зари,
Постукивая палочкой,
Поючи тропари...

И горестно, и сладостно,
И веселей вдвоем...
Потрудимся и в радостный
Ерусалим придем;
Там внешность неудобную
Тебе я отпущу.
Лишь ручкой преподобною
Крестом перекрещу».

5

Умолк. Слеза по носику
Скользит, кристальной льда;
Волосиком к волосику
Струится борода;
Но Леший хмуро косится,
Глаза блестят живей,
Сошлись на переносице
Пучки седых бровей.

«Нет, — молвит, — не упрашивай!
Хваля или кляня,
Но из лесу из нашего
Не уведешь меня;
Ну как лесную, малую
Оставлю тварь навек?
И так ее не жалует
Ни Бог, ни человек.

Ко мне ведь, лишь покликаю,
Бежит!.. Оставить лес?
Смущение великое
От этаких словес.
Уж лучше смерть, и скоро-де
Косу ее узрю,
А во святом-то городе
Я со стыда сгорю!

Зачем пойду я за море,
Лесной оставя мрак, —
Ни стать, ни сесть на мраморе
Не выучен лешак;
А лес я этот вынянчил,
Хранил, оберегал,
В нем схоронил Горыныча,
Кощея закопал.

Ветвистая, полощется
Лесная глушь в груди,
И пусть хотя бы рощица,
Я — тут, а ты — иди!»
Бойцом, не горемыкою
Умолк трущобный бес.
Смущение великое
Оледенило лес.

6

Молчит неодобрительно
Над схимником сосна;
Как лезвие, пронзительна
Лесная тишина —
До звонкости бездонная
Легла она вокруг;
И волк, и белка сонная
Насторожились вдруг.

В дупле — тоска сердечная,
В норе — глазок кружком,
Везде остроконечное
Приподнято ушко:

Чутьем с предельной ясностью
Лесной народ постиг,
Что огненной опасностью
Грозит нависший миг.

Страшной ножа железного
Он упадет на них:
Навек дружка любезного
Берут из чащ лесных;
Настанет время черное,
Как летних палов гарь, —
Лесная, беспризорная
Повыведется тварь.

Ведь человек-то — выжига,
Лишь топором стучит:
Ни ужика, ни чижики,
Ни мышки не щадит.
От конного и пешего
Поборы и разор, —
Нехорошо без Лешего
Оставить русский бор!

7

Текут мгновенья длительно,
Тревоги ночь полна,
До звонкости пронзительна
Лесная тишина;
И вдруг — очей сияние,
И, вздрогнув, слышит лес:
«В последнем испытании
Ты был, российский бес!

Хоть ты и рода вражьего,
Но Бога не гневил,
А Он не отгораживал
И бесов от любви;
И Господа растрогало,
Что ты, лесной божок,
С рачительностью многою
Лесную тварь берег.

Слюбались вы и спелися,
А это — Небу взнос!..
Постой, тебе от Велеса
Я весточку принес;
В венке из алых розочек,
Прощенный навсегда,
Пасет он райских козочек
Чистейшие стада.

А в камышах — не узницы! —
Русалки... Говорун,
Приставлен к райской кузнице
Потопленный Перун;
Вчера, гордясь обновой,
Он в райской тишине
Илье телегу новую
Оковывал к весне.

Последний ты... Отплавала
Ладья твоя во зле:
Не сам ли ты от дьявола
Ушел в зеленой мгле?
Господь всё это взвешивал,
Решила Благодать
Трущобе русской Лешего
Как старца даровать».

Угодник в топь сугробную
Шагнул, исполнен сил,
И ручкой преподобною
Его перекрестил;
И всплыл... уже колыхается
Чуть ниже облаков,
И звон сладчайший слышится
Из-под озерных льдов.

8

Звенят на елках льдиночки,
Вся в музыке тропа;
По той ползет тропиночке

Старинная ступа;
В подскок да с перевалкою,
По горлице в снегу, —
Иссохшую и жалкую
Трясет она Ягу.

Трясет, несет до города
Великого, где встарь
Боярам резал бороды
Серьезный государь;
Там сдаст ступу затейную
В сияющий музей:
На редкость ту музейную
Желающий глазей.

Сама же мымрой жалкою
В слободке станет жить —
Заделавшись гадалкою,
Бабенкам ворожить;
Потом на жизнь советскую
Ягу ль переключить?
Решится в книжку детскую
Забраться и почить.

А Леший всё аукает
В густых березняках
И тенью длиннорукою
Проносится в кустах;
Еще сивей и гривистой,
Могучее еще:
Никак его не вывести,
Зане он окрещен!

И спит зверье укладистой, —
Не без охраны бор, —
И снится больше радостей
В тепле берлог и нор;
Спит белочка с лисичкою,
Похрапывает крот,
И белой рукавичкою
Зайчиха крестит рот.

Январь-апрель 1941 года, Харбин

НАШ ПОДВИГ

Поэма о России

I

Оторвало льдину с рыбаками,
Унесло в безвестный океан.
Треплет льдину грозными валами,
Правит льдиной ветер-капитан.
Донесет ли до желанной суши
Иль утопит, льдину раздробив?
Рев пучины оглушает уши,
Тяжко взору от вспененных грив...
Ты отважен в битвах, но не битва
Ураган — его не побороть!
В этот миг спасет тебя молитва:
Веруй, смилостивится Господь!

II

Буря стихла, льдина уцелела,
Тихий остров виден впереди:
Вспомни, что ты мореход умелый,
И от рифов льдину береги!
Пусть еще волны вскипает ярус,
Пусть еще упруг упрямый бриз —
На весло пристрой косматый парус,
За свое спасение борись!
Отстрани сомнений призрак черный,
Устреми отвагу на врага —
В нужный миг опять сумей проворно
Взять быка за дерзкие рога!

III

Вот спаслись мы, обсушились... Кто-то
Накормил и предоставил труд.
Первая отхлынула забота,
Но другие тотчас подойдут.
Да, в тепле, но всё ж мы на чужбине!
Медленные шествуют года.
Может быть, от Родины-святыни
Оторвали всех нас — навсегда!

Но не верь в горчайшее: *навек*!
Что ни день, то новая пора.
Не текут обратно только реки,
Волей веры сдвинулась гора!

IV

Зорко в сердце береги родное,
Не предай родимое беде
И умело племя молодое
На хорошей вырасти гряде!
Чтоб оно, чьей доли нет суровой,
С неких бы не вспоминало лет
О своей славянской, русской крови
Лишь при заполнении анкет!
Чтоб любили русской речи звуки,
Чтоб, когда ночной стукнется мрак,
Собираясь возле деда, — внуки
О России слышали бы так:

V

«Было горе, был приход Батыев,
Но правдивы старые слова:
Для того и пал прекрасный Киев,
Чтобы где-то выросла Москва.
Для того же с тихим льстивым словом
И князя тащилися в орду,
Чтоб потом на поле Куликовом
Отрубить татарскую беду.
И в орла двуглавого орленок
На знаменах начал вырастать,
И казанским мылом *покоренный*
Победитель начал торговать!

VI

Приходила смута (даже это
Мы уже осилили в былом!),
И казалась песня наша — спетой,
И грознейший год — концом.
Ляхом дом был опозорен царский,
Отошла от храмов благодать,

Но заставил Минин и Пожарский
Этих ляхов — мертвечину жрать!
Шли года, и осенила слава
Их победный двухсотлетний след,
И российским городом Варшава
Оказалась на сто полных лет!

VI

Но, включая царства в герб свой пышный,
В мощно распростертые крыла, —
Всё ж поработительницей хищной
Не была Россия никогда!
Враг вчерашний становился — сыном,
Мать одна, но разные сыны, —
И имперским воздухом единым
Насыщались легкие страны!
Мощность, доброта и постоянство,
Тихий вечер, ясная заря, —
И тянулись все ручки славянства
К океану русского царя!

VII

Но зачем, к чему все одоленья,
Если тот победоносный путь
Начат был без Божьего веленья,
Благостного предопределенья,
Волей наполняющего грудь?
Много было этих «однодневных
Удальцов» отваги боевой
От эпох недавних и до древних:
Ярких и напыщенных, как певни,
Но бесславно путь кончавших свой!
Не такой сомнительной дорогой
Наша к славе двигалась страна:
У любого грозного порога,
От Непрядвы до Бородина, —
Шаг свой честью мерила она!

VIII

Всюду были мощные владыки,
Грозные решители войны,

Но не лица, а скорее *лики*
У вождей российской старины.
Кроткое, евангельское что-то
В их чертах, и взор их углублен
Строгой православною заботой —
Не нарушить Божеский закон!
Только с тем мы начинали сечу,
Кто *кровав* был и сильнее нас,
И победе праведной навстречу
Вел полки Нерукотворный Спас!

X

Потому-то и непобедима
В вихре битв святая Русь была,
Ибо вражья пролетала мимо,
Мимо сердца Родины стрела!»
Тут рассказ окончи о России.
Пусть он краток, пусть он очень сжат —
Всё же внуков души молодые
От него напевно задрожат.
В их сердцах большое вспыхнет пламя,
Клятвенно поднимется рука,
И Россия снова будет с нами,
Улыбнувшись нам издалека.

XI

Узница, во вражеской темнице,
В безысходной тьме заключена, —
Четверть века Родина томится,
Четверть века сетует она.
Так сзывай же, одолев истому,
Ей на помощь верных сыновей,
Племени внушая молодому
Ненависть к врагам страны своей!
Чтобы с ним в минуты грозной битвы,
Что до нас раскинет берега,
Со словами гнева и молитвы
Наотмáшь перерубить врага!

НИНА ГРАНИНА

Повесть о старом Харбине

Глава первая

Кружка на карте удостоен
Совсем еще в недавний срок,
Рукою русской был построен
Наш любопытный городок;
Теперь он *город*, он огромен,
Многоэтажно-многодомен,
Он изменил начальный вид;
В нем не найти былого знаков
О дне, который говорит
Об изыскательских бараках,
Где первый Морзе застучал,
Где поселились инженеры,
Чертежники и офицеры
И где казачий взвод стоял.

Их не найти под мертвым слоем
Угасших невозвратных лет:
Дождями смыт и выжжен зноем
Былого нехранимый след,
И лишь как отзвук отдаленный
Он в нашу проникает глушь,
Похожий, может быть, на стоны
Печальных, неотпетых душ;
Услышав, мы к нему приникнем,
Ему внимая, мы поникнем;
Он требует — былого речь
Извлечь из праха и сберечь.

Нам горестно расстаться с милым;
И мы приходим к старожилам,
Чтоб слушать в чуткой тишине
Рассказы их о Харбине;
Пока еще их можно встретить:
Они на Чуринских скамьях
Сидят; нельзя их не заметить:
Былое светит в их глазах;

Они расскажут вам охотно,
Беззубый раскрывая рот,
О том, что призраком бесплотным
Еще живет, еще поет.

Но чтоб была спокойна совесть,
Спешите их услышать повесть:
Всё меньше их, всё чаще их,
Почтенных стариков седых,
За Чурина увозят дроги,
И на сырых столбцах газет
Читаем в скромном некрологе:
«Служил такой-то на дороге...
Еще построчника нет!»

Мне посчастливилось: печальный
Старик с поникшей головой
И с речью точно отзвук дальний,
Но смыслом ясный и живой,
Поведал мне о том, что ныне
Хочу стихами рассказать;
В них будет речь о некой Нине,
О горестной ее судьбе,
В них речь о многих, слитых с нею,
И я, читатель, как сумею,
Об этом расскажу тебе.

Назад! Пятидесятилетье,
Как занавес, ушло от глаз;
Еще места пустынно эти —
Работа только началась;
Но вот возводятся казармы;
Вокзал украсили жандармы;
Красивый храм сооружен;
Есть даже клуб с названьем сложным —
Собраньем железнодорожным
В те годы полно звался он;
Но в том движении особом,
Когда Великая война
Слова сливала в имена,
Он в сокращеньи стал Желсобом;

Чтоб местный стиль не изменять,
И мы его так будем звать.

Вчерне окончена работа:
В лесах, но город возведен;
И, отерев лицо от пота,
Мужья выписывают жен,
Чтоб возродить в пустынном крае,
Уже в Маньчжурии, в Китае —
На радость сердцу своему —
Свою родную Чухлому.

Кривить душою бесполезно:
Стал жизнью глубоко уездной
Жить юный русский городок;
Но, право, вспомним не без вздоха,
Да разве нам жилося плохо
В уездных наших городах,
В тепло натопленных домах?
В них славно пилося, плотно елось,
Крепка была их благодать;
И на себя возьму я смелость
Их защитить и оправдать.

Браня их, мы позабываем
О том, что, сирые, теперь
Мы называем нашим раем,
К чему навек закрыта дверь:
О некоем равенстве и братстве
В достатке, если не в богатстве,
О людях честных и простых,
Как Пушкина чудесный стих;
И если ты, читатель, хочешь,
То и о чарах лунной ночи
В саду над мощною рекой;
О соловьиной сонной чаше,
Где ты пылал, юнец горящий,
Перед своею дорогой!

Тут все придирки будут вздором;
Да не звучат слова укором:

Харбинский быт — уездный быт;
Пусть сероват он, беззатейный, —
Стать некой редкостью музейной
Ему грядущее сулит...

Но этим мы потом займемся:
Грозный рокот — отдален;
Мы к настоящему вернемся, —
Мужья выписывают жен
Из-под Москвы, из Украины,
Из Польши и с кавказских гор;
И болтовни их женской вздор —
Как задний фон для той картины,
Что я на полотне большом
Едва черчу карандашом.

Ни Даш, ни Маш, ни Секлетиний
В харбинской не найти пустыне,
А без прислуги как ни рвись,
Но барыням не обойтись;
И дамы нанимают боек;
И вот еще в пыли построек
Рождается под гам и стук
Маньчжуро-русский волапюк.

Английский боу и русский бойка —
Совсем не то, уверю вас,
У нас совсем, совсем не стойка
Надменность в отношеньи рас;
Нам всё равно, каков ты кожей,
Какие признаки на роже,
Коль ты попал под сень крыла
Самодержавного орла;
Мы говорим: не супостатом
Отныне будешь ты, а братом,
Для нас уже различья нет,
Татарин родом ты иль швед...

Я не историк, и в поэме
Я не историю пишу:
Я только бегло заново
То, что предшествовало теме,

Которая уже давно
Стучится в льдистое окно
Моей берлоги на Раздельной,
Где вечером в тоске бездельной
Я нынче мерзнуть обречен;
Пока всё это – общий фон.

Но вот война шумит над нами,
Пришла пора тревожных дней,
И к ней за длинными рублями,
Как бы к золотоносной яме,
Известной щедростью своей,
Спешат в Харбин дельцы, деяги,
Купцы, кабатчики, бродяги, –
Один везет веселый дом,
Другой газету открывает;
Тот продает, тот покупает,
И свистопляс идет кругом.

Стал этот первым виноделом,
Другой иным занялся делом,
Сколачивают капитал;
А где-то там, на близком юге,
Гремит война...

.....
.....

Отряд отходит за отрядом.

В одном из них, от пыли сер,
Идет саперный офицер
Лет двадцати, немногим боле;
Его еще безусый рот
Гримаса искривила боли;
Он ранен в ногу, но идет,
Идет, пока не упадет.

.....

Как ураган, война промчалась;
Все эшелоны пронеслись;
Как будто прояснилась высь;
И много золота осталось
В карманах тех, кто на войне
Делишки делал в тишине.

Глава вторая

А тот, кого на поле брани
Увидел наш случайный взор,
Был Александр Петрович Гранин,
Поручик, молодой сапер;
Уже за месяц пулевое
Раненье заросло сквозное,
И тут же кончилась война:
Назад грохочут эшелоны,
Но Гранин, с честью сняв погоны,
Не покидает Харбина.

Не хочет он казарм и строя;
На время ищет он покоя:
Он на дорогу поступил,
Чтоб строить дамбы и тоннели;
Трудился, не жалея сил,
И стал искусен в этом деле;
Самостоятельный, живой,
Он был натурой крепкой, цельной,
Сообразительный и дельный,
Иначе — парень с головой.

И потекли года спокойно,
Отменно медленно и стройно:
Со службы в гости иль в Желсоб,
Где сытен ужин, чинны речи,
Где преферанс от скуки лечит,
И лишь ремизы морщат лоб;
Уже пора была иная, —
Отпрохотала боевая
Кипучесть стройки Харбина;
И увядали сонно души
Среди обеденных радуший,
Блинов, пельменей и вина.

Но мой герой иной был складки —
Еще кадетской лихорадки
Огонь высокий в нем горел:
Он совершенно не хотел

Почить на пуховой перине;
Борьбы он жаждал, жаждал дел,
И в этом некой юной Нине
В красивый дорогой альбом
Признался собственным стихом.

Но вот вопрос – кто эта Нина?..
Дочь петербуржца, дворянина
И барина на полный рост,
Занявшего высокий пост
Среди больших людей дороги;
Осанка, поступь, важный вид;
Картавя, в нос он говорит,
Эль в эр перевирая в слоге;
Все думают – аристократ,
Но в благородстве нету спеси,
И если всё учесть и взвесить –
Он лишь надутый бюрократ.

Его супруга Анна Львовна
(Та урожденная княжна,
Аристократка, безусловно)
Ему под масть была дана;
Она ему – такая пара,
Хотя тонка и сухопара,
Лорнет, надменно задран нос,
Напоминающий утиный;
Улыбочка, прононс, седины
И злая кличка: *Утконос*.

И вдруг у двух уродов – Нина...
В Москве окончив институт,
Девушка появилась тут,
Чтоб коротать за пианино
Мечтательные вечера;
Скажу меж нами – не игра
Ее влекла, но мать-злодейка
Твердила ей, что блеск герба
И голубых кровей судьба
Дружить мешает ей с плебейкой,
Что ей ронять себя не след,
Что в Харбине ей равных нет.

Она жила одна, и это
Мечтательность развило в ней:
Роман или строка поэта
Тревожила ее сильнее,
Чем сверстниц, бегавших повсюду
С симпатией к простому люду,
Среди харбинских чудаков
Искавших милых женихов.

А Ниночка одна сидела;
Скучала, плакала, худела,
С почтенной тетушкой одной
Едва не сделавшись ханжой;
Девицу, чахнувшую явно,
Испуганная этим мать
Решила срочно развлекать;
Но как? «В собраньи, право, славно, —
Сказал отец. — Ведь тут Харбин;
Здесь не послужит в осужденье
Демократичность окруженья,
А танцы ей разгонят сплин. —
И, в слогe выдержан и стилин,
Кончает так ученый филин: —
Лишь выбрать, это входит в план,
Ей кавалеров из дворян!»

И вот в число их входит Гранин:
Он офицер, герой, он ранен;
Прилично держится к тому ж:
Он по-французски понимает,
Стишки в альбомы сочиняет —
Какую-то, конечно, чушь,
Но он не глуп, он *знает место*;
Он Нину не сочтет невестой —
Останется на рубеже
Почтительной высокой дружбы,
За что, конечно, *в плане службы*
Он станет нашим протезе.

Так порешили папа с мамой
Высокомерной и упрямой,
С душою черствой, как тарань.
Но сердца девичьего рань

Иным подчинена законам.
Пути иные ей готовы;
И в сердце Нинином со звоном
Всех соловьев — взошла любовь!

Любовь!.. Вот слово! Сколько пенья
Сладчайшего оно несет;
Лирического отступленья,
Конечно, тут читатель ждет;
Но нет, друзья, его не будет,
Рассудок по-иному судит:
Не следует твердить одно,
Что столько раз повторено!

Скажу лишь кратко: был и Гранин
Стрелой пронзительною ранен;
К тому же он предполагал,
Что будет горестен финал
Любви; как ни таилась пара,
Но слишком явна страсти чара:
Никак не скрыть влюбленных глаз
Огнепалительный рассказ.

Да больше! Зазмеились речи
Про их условленные встречи
То в магазинах, то в саду;
И эти слухи на беду
От некой льстивицы-поповны
Иль из других коварных уст
(От сплетниц город был не пуст)
Дошли до грозной Анны Львовны;
Допрос с пристрастием готов, —
Вот девушка идет на зов!

У матери, конечно, право
За глупенькой или лукавой
Юницей-дочкой наблюдать,
Чтоб без пятнающего знака,
Которого не отстирать,
Всё ж довести ее до брака
И зятю будущему сдать.

Но есть, скажу не без усилия, —
Еще встречается порой, —
И материнское насилие
Над нежной девичьей душой;
Когда, тупа, черства иль жадна,
Бесчувственна и безоглядна,
Она жестокое табу
Кладет на девичью судьбу,
На солнце юности дочерней,
Расчетом — льдины холодной:
Тут всякой фальши лицемерней
Слова о счастье дочерей!

Чу, строгий голос: «Где встречались?
Кто помогал вам, назови.
Вы на свиданьях целовались?»
Математический анализ
Невинных радостей любви
Терзает Нину; сидя рядом,
Суровые вопросы градом
Жестокая бросает мать —
Один, другой, еще, опять;
И дочь уже не отрицает
Своей вины; опущен взор
На туфельки и на ковер;
Она молчит, она вздыхает,
Она, не слыша ничего,
Твердит одно: «Люблю его!»

Тут мать, забыв свою породу
(«Прислугу не бивала сроду!»),
Вскричав: «Негодница, молчать!
Бог знает с кем, как дрянь, как швейка!..
Не слушаться родную мать!
Наш род позоришь ты, злодейка,
Дав столько воли наглецу!» —
Ладонью Нину... по лицу
Ударила, пьяна от гнева;
И ошарашенная дева
Глаза расширила, молчит.
Как статуя на мать глядит;

Как статуя бледнеет Нина,
Лишается остатка сил;
«Ах!» — и упала у камина;
Так обморок всё завершил.

Потом, зарыв лицо в подушки,
В своей девичьей комнатухе
Девушка плакала всю ночь,
А на рассвете стала думать,
Гадать, что может ей помочь
В ее истории угрюмой;
Ужели же любви конец,
Исхода нет из грозной драмы?
Бежать к отцу? Увы, у мамы
Под башмаком ее отец!

И Нина в комнате унылой
(Она ей кажется такой)
Дрожит, измучена тоской;
Но где же Гранин, где же милый?
Защитник девы, где же ты,
К которому ее мечты
Летят так горестно и страстно?
Его китаец безучастный
Трясет за голое плечо:
«Вставай, — кричит он, — капитана!»
А тот в ответ: «Отстань! Еще
Совсем темно... пожалуй, рано».
А Нина шепчет в полутьму:
«Скорей письмо, письмо ему!»

Но кто же будет письмоношцем,
Но кто отважным миноношцем
Все заграждения пройдет,
Миная рифы, камни, мины, —
Иначе, кто от бедной Нины
Письмо-рыданье понесет?
Но это просто мы устроим, —
Письмо отправит Нина с боем,
Который в этот час встает:
С маньчжуром, поваром косатым

(Теперь он стал купцом богатым
И бедных гонит от ворот).

О, сколько их, свою карьеру
(Как Нинин бой, сказать к примеру)
С ведра помойного начав,
С плиты, с котлетного угара, —
Рычаг коммерции поняв,
Сумели прибыль брать с базара,
Где покупали по утрам
Картошку, рыбу, птицу, мясо,
И вдруг, с копейкой изловчась,
Купцами тоже стали там.

Пускай хозяйки экономны,
Пусть их покупки даже скромны,
Но бой на всем имел процент;
Таков обычай дан базаром:
Чтоб поварам ходить не даром,
Им от купцов всегда — презент;
Не взятка это и не кража,
И я не в укоризну даже
Пищу о Вана, Лю и Ли
Побочном маленьком доходе:
Гроши в карманы клали ходи,
Но из грошей росли рубли.

От Нины получив полтинник
И просияв, как именинник
(Хоть именин китайский быт
Не отмечает и не чтит),
Клянется Лю с отвагой ярой
Забросить это письмецо
Тайком, не медля, до базара,
На незнакомое крыльцо;
А в том письме рукой усталой
Набросано с десятков строк
О том, что счастье губит рок,
Что всё открыто, всё пропало,
Всё рухнуло навек, но чтоб
Пришел он все-таки в Желсоб.

Глава третья

В Желсобе бал... Девицы, дамы;
Здесь *тяга, путь*, харбинский свет,
Да и кого тут только нет!..
От Хорвата до сошки самой
Здесь блещет вся КВЖД,
О прошлой позабыв беде.

Вот пограничник: он гусаром
Прикинулся, нафабрив ус;
Вкруг девы вьется он недаром,
У молодца прекрасный вкус;
А у красавицы немалым
Папаша славен капиталом;
И деву стройный кавалер
Зовет на па-де-патинер,
И на чардаш, и на мазурку;
Он крутит ус, красив и лих;
И вертит вальс ее фигурку
В его объятьях молодых.

Но Нины нет! И, в сердце ранен,
Печально ходит бедный Гранин
Меж тонких дев и их мамуль,
На пирогах растящих чрево;
Глядит направо и налево
И вновь уходит в вестибюль;
Всё нет его любви печальной!..
И вдруг, узнав его в лицо,
Ему вручает письмецо
Швейцар, старик монументальный,
Прогрохотав своей трубой:
«Его доставил чей-то бой».

Письму наш Гранин рад до вскрика,
Но и с тревогою великой
Его хватает он и мчит
От публики, от всех подале;
Уж томный вальс рыдает в зале,
А он читает и дрожит...

Увы, нетрудно догадаться,
Что потому не мог дожидаться
Влюбленный счастья увидеть
Свое сокровище в Желсобе,
Что Нину, подчиняясь злобе,
Туда не отпустила мать;
Но нет, не в этом только горе:
Родительский суровый суд
Их навсегда разделит вскоре —
Девицу в Питер увезут!

«Но, — пишет Нина, — я решила,
Пусть лучше черная могила
Меня поглотит навсегда,
Чем без тебя, мой ненаглядный,
В тоске томиться безотрадной
Всю жизнь, все долгие года!
Но ведь мы оба любим страстно,
Мы друг для друга рождены,
И мы, любимый, не должны
Губить себя, губить напрасно!
Ответь, душа моей души,
Что делать нам? Скорей пиши!»

Всё кончено! Дрожащий Гранин
Письмом любезной насмерть ранен,
Исполнен самых острых мук, —
Встает; в нем гнев и иступленье...
Но в это самое мгновенье
К нему его подходит друг;
О нем тебе, читатель, скоро
Расскажем мы, — теперь черед
Мне привести их разговора
Стенографический отчет.

«Пойдем в буфет». — «Нет, вон отсюда,
Я — в ярости!» — «Но что с тобой?
Ты очень бледен, дорогой». —
«Мне худо, Ваня, очень худо!»
И умолкает, и глаза
Отвел от друга бледный Гранин;

Он Ване показался странен,
И тот сказал: «Нет, так нельзя!
Пойдем, расскажешь драму эту».
И он, его фамилья — Жмых
(Путеец он и из простых),
Уже ведет его к буфету;
И там за парой отбивных
С весьма объемистым графином,
Холодностью подобным льдинам,
Друзей беседа началась
И продолжалась целый час.

Жмыха я называю Ваней
Не потому, что он юнец:
Тридцатилетний перед вами
Сидит за рюмкой молодец;
Но так уж все его зывали,
Не потому ль, что он едва ли
Не друг всеобщий Харбина —
Любитель карт, собак, вина,
Любитель выпивки солидной,
Силач с огромным кулаком,
Но совершенно безобидный,
Хотя с нахмуренным лицом.

Все, кто в несчастье попадали,
Как бедный Гранин, например,
О Ване тотчас вспоминали;
Кассир, подрядчик, инженер
(И рангом выше при этом) —
Все шли к Ванюше за советом;
Он их выслушивал, пыхтел,
Сочувственное «н-да!» хрипел
И говорил несчастным людям:
«Да полно, не впадай ты в сплин!
Мы ситуацию обсудим...
Василий, рюмки и графин!»

Василий этот (сколько в Васей
Перекрестили мы маньчжур!),
Рожденный Богом в чуждой расе,
Конечно, Ван был или Чжу,

Но откликался без усилья
На Ваську он и на Василья,
Обиды в сердце не тая;
При помощи «моя-твоя»
Он объяснялся с «капитаном»
И был всегда служить готов,
С бокалами или стаканом
Являясь вмиг на первый зов.

Пока расстроенный коллега
Скрипел немазанной телегой,
Ванюша рюмки наливал,
Закуску ближе подвигал,
И вот, чтоб «успокоить нервы»,
Унять тоски нудящий бред,
Командовал: «А ну, по первой!
Не клином, брат, сошелся свет.
Да что ты, милый, в самом деле?
Стонать ни смысла нет, ни цели,
И вообще, мой дорогой,
Придется выпить по второй».

И все, покончив счет «единым»,
У Васи попросив пивка,
Вдруг видели, что свет-то клином
Еще не сходится пока,
Что выход есть из тупика,
Что говорить о смерти глупо,
Что вам противна участь труппа,
Что силы в вас кипят ключом, —
Всё по плечу, всё — нипочем.

Затем, помолодев душою,
С большой зарядкой волевою,
Вы шли домою, смело шли,
И Ваничку благодарили;
Пусть вы всё больше говорили,
Но вы себя при нем нашли:
Он, благодушный и огромный,
Вам высказаться помог,
И это тучу грусти томной
Угнало через ваш порог!

Пусть говорят, что Ваня — туша
Тупейшая, что мой Ванюша
Ни книжки сроду не прочел;
Что в книжках толку, если зол
Читатель их и добрым словом,
Улыбкой светлой не крылат,
И лишь твердит: «Сам виноват!»
С упорством грубым и суровым;
Да, виноват, но мне невмочь,
Сумей же, умник, мне помочь.

Да где там! Что ему за дело!
Своей рукою неумелой
Он только рану бередит;
А толстый Ваня, как умеет,
Вас пожалеет и согреет,
От глупостей огородит.

Пусть по уму он недалекий,
Пусть любит только суету —
Ему простятся все пороки
За простоту и доброту:
Людьми такими ласков свет,
Людей таких почти уж нет!

Но полно, так ли глуп Ванюша?
Ты подойди-ка да послушай
О чем, взволнован глубоко,
Он шепчет другу на ушко;
О чем, забыв о блюде вкусном,
Слугою поданном на стол,
Он заговорщиком искусным
Речь убедительно повел;
О чем (всегда такой ленивый,
Всегда немного сонноват)
Теперь уста его твердят
Так убеждающе и живо.
О чем теперь твердит Иван,
Какой он предлагает план?

И от речей его бедняга,
Недавно бледный, как бумага,

Повеселел, порозовел,
Хотя отнюдь не опьянел
От одного на двух графина:
Все пить умели в Харбине,
И это, думается мне,
Немудрено, когда свиной
С жирком чудесных отбивных
Закусывали эти оба;
Приемлет водочку утроба
С закуской в порциях любых!

Но к делу, к делу!.. Сблизив плечи,
Друзья беседуют; их речи
Едва самим слышны; едва
Касается шептанье слуха,
И если что и ловит ухо,
То лишь отдельные слова;
Но чтобы нам понять значенье
Тех слов, я объяснить готов
Техническое выражение —
Скрещенье встречных поездов.

Товаро-пассажирский поезд
Стоит, стоит — не счесть минут;
Коль спросите, беспокоясь,
То вам в ответ: экспресса ждут!..
Экспресс пришел; одна минутка —
И снова дальше он помчит;
Но тут же хрипло засвистит
Ваш паровоз; с его погудкой —
Пуф, пуф! — взлетает клубом дым,
И с лязгом вздрогнет ваш Максим.

Тут можно пересесть на встречный,
Коль надобность случилась в том;
Но торопитесь — скоротечна
Минута; красным фонарем
Уже махнул пузатый обер,
Уже свистит: заныл рожок;
И будь неверен ваш прыжок,
Не досчитаетесь вы ребер,
А если неудачник вы,
То, может быть, и головы.

Глава четвертая

Чтоб Нина не встречалась с милым,
Ей в заточении унылом
Приказано покамест жить, —
На вечеринки не ходить,
А если в гости — вместе с мамой,
И на прогулки тоже с ней,
Осуществляя тем упрямо
Режим родительских цепей
Столь же наивный, сколь и грубый;
Но вот что я спросить хочу:
Коль у девицы ноют зубы,
Нельзя же вместе с ней к... врачу?

Ведь неумно в холодной, темной
Сидеть и ждать ее приемной,
Пока Иосиф Карлыч Флит
Ей зубки якобы сверлит.
Мадам известен сей Иосиф:
Пусть он почти социалист,
Но он — домашний их дантист;
И, опасения отбросив,
Мать, Нины позабыв вину,
Ее к дантисту шлет одну.

И Нину доктор принимает;
Он, этот розовый толстяк,
Смеется, ручки потирает
И тотчас вводит в полумрак —
Таинственный, зубоврачебный —
Лаборатории своей
С десятком новых челюстей,
Оскалившихся непотребно
На юность, на тебя, весна!
Но Нине челюсть не нужна.

Тут из угла, как тень какая,
Выходит Гранин, простирая
Объятъя пыльные свои;
И торжествует эту встречу

(Я так эпически отмечу)
Сладчайший поцелуй любви;
Он, упоителен и долог,
И нежит, и терзает грудь;
Пусть объясняет физиолог
Его таинственную суть;
Я лишь скажу: порыв безумный
Все струны сердца вместе сплел,
По *всем* смычкам своим провел,
И лучше мы уйдем бесшумно,
Как Флит, заботливой рукой
Дверь притворяя за собой.
Дантист — у кресла; он вздыхает,
На бормашину налегает
Короткой ножкой (он не глуп!),
Как будто мучит Нинин зуб;
Потом на часики он взглянет
И, выждав надлежащий срок,
Жужжать машиной перестанет,
Давая знать, что он истек.

А после, Нину провожая
С шипцами страшными в руке,
Прошепчет: «Вы уж, дорогая,
Держите ручку на щеке!»
И, торжествуя в полной мере,
Сам постник, без любви давно,
Он думает: «Нет, всё равно, —
Когда любовь толкают в двери,
Она врывается в окно!»

И Нина быстро уходила,
Страдальцев мрачных миновав;
Ее свиданье освежило, —
Так дождь среди поникших трав
Цветок печальный оживляет;
Уж Нина думать начинает,
Уж Нина чувствует не так,
Как прежде: сквозь унынья мрак
Любовь сияет, как маяк!

Что мать с ее надутым чванством,
Отец с сомнительным дворянством?
Что все условности и спесь
Мещан с гербами и без оных,
Когда в расцвет годов зеленых
От сердца к сердцу мчится весть?

Глава пятая

Харбин... Зима на перевале —
Остался месяц ей один;
Акварарином засияли
Громады вырубленных льдин;
Подводы с ними потащились,
Чтобы, как в некие гроба,
В запасливые погреба
Кристаллы эти опустились;
Прошло Крещение (праздник русский —
Событие для этих мест),
А на речной дороге узкой
Всё ледяной сияет крест.

Родною древностию милой
Чужой он озаряет край,
Где возле проруби застылой
Проносится «толкай-толкай»;
Тут поясним, что мы «толкаем»
Подобье санок называем:
Скамья с овчиной — впереди,
Китаец, стоя позади,
За пассажирскую скамью,
Снаряд свой с помощью шеста
Дорогой гонит ледяною
Вблизи крещенского креста.

Толкай под резкий скрип полозьев,
Коль спросите, расскажет вам,
Что здесь купались ламозы
Под пение их пышных лам,
Что даже девы молодые
Спускались в воды ледяные,
А после в шубы кутал их
То брат, то папа, то жених.

Куда? Уже синеют тени,
А солнце точно медный шар;
Зовут в Затон нас на пельмени,
Они — Татьяны чудный дар.
Татьянин день! Москвой пахнуло
На синий сунгарийский лед;
Былое сердце всколыхнуло.
И юность бодрая встает;
И мы опять играем в жмурки
С тобой, изгнаннический час, —
Опять в студенческой тужурке
Татьянин день пройдет для нас!

Итак, зима на половине.
Ветра шальные стали дуть;
Тут маменька сказала Нине,
Что надо собираться в путь,
Что их вдвоем на русский запад
Помчит экспресс, что бедный папа
Не покидает Харбина;
И взглядом, зоркости полна,
Пытает девушку упорным:
Как та лихую примет весть?
Но на лице ее покорном
Не может ничего прочесть.
Дочь вести даже как бы рада;
Она не потупляет взгляда:
«Уж послезавтра? Собирать
Последние должна я вещи!»
Ликует Нина, рукоплещет
И радуется сердечно мать.

Из залы Нина убегает;
Мать успокоенно решает,
Как, может быть, сейчас и вы,
Что дурь любви из головы
Девица выкинула полно,
Что увлечение прошло;
Так полагала Анна Львовна —
У ней от сердца отлегло.
И что же? Нина в это время,
Одна, оставленная всеми,

Совсем не этим занялась —
Нет, не укладкой и не сбором,
Всё это кажется ей вздором
В такой судьбу влекущий час!

Она бежит к столу... Скорее
Сигнал-записку настроичить,
Скорей, скорей предупредить —
Судьба ее помчится с нею;
И вот несвязный лепет фраз:
«Знай — послезавтра! Я готова
Твоею быть. Рука и слово
Мои навек, и Бог за нас —
Он не оставит тех, кто любят, —
Нас не разделят, не погубят,
Я от борьбы не отступлю!»
Письмо в конверт и мигом — к Лю.

И через час уже с ответом
(Сияла злато-алым светом
Заря в окне) явился Лю;
И Гранин так писал: «Молю
Тебя, мой ангел, об одном лишь —
Что твердо станцию запомнишь,
А там — проворной только будь
И, ни о чем не беспокоясь,
Соскакивай на *левый* путь,
Где буду я, где встречный поезд...
И всем мучениям конец —
Помчимся прямо под венец!»

В гостиную вбегает Нина,
Бросается за пианино,
И из «Онегина» гремит
Чудесный вальс — бурлит, вскипает
И, вдруг оборван, упадает;
И Нина к матери бежит —
Она ее целует пылко,
Она порыву отдана
И, детской радости полна,
Лепечет: «Мама!.. Душка, милка!..
Я в этот путь душой стремлюсь
И все-таки его боюсь!»

Но, дочь иначе понимая,
От губ девичьих отрывая
Диковинный утиный нос,
Мать отвечает ей сердито,
Что для девицы родовитой
Свет и столица не вопрос
Для робости и треволенья,
Что надо сдерживать себя,
Дворянской волей истребя
Чувств слишком бурных проявленье...

Дочь удаляется; усмешка
В ее глазах; уж страха нет;
«Со сборами не очень мешкай!» —
Мамаша говорит вослед.
Дочь благонаравно отвечает
Наклоном русой головы;
И вечер, полный синевы,
На небе звезды зажигает;
И вместе с Ваней на вокзал
Уже наш Гранин побежал.

Глава шестая

Маньчжурия еще тех дней,
Когда дорогой правил Хорват,
Своей известный бородой;
Маньчжурия перед войной
Лет за восемь; еще пустынен
Простор лесных, гористых мест;
Как крепостца — любой разъезд;
И перегон, что очень длинен,
Осматривают сторожа,
Плечо ружьем вооружа.

У станций выросли поселки,
За ними сопки, пади, лес
(Всё больше вязы, реже — елки),
И бронированный экспресс
Гремит по рельсам издалека:
От самого Владивостока
До Петербурга декапод
Толпу транзитную везет.

Тут иностранный дипломат;
Голландцы, индусы, датчане;
В его вагоне-ресторане
И наши питерцы сидят.

Подняв надменно нос утиный,
Мамаша, сидя рядом с Ниной,
Вплетает в русский разговор
(Торжественного ради часа)
Французских фраз трескучий вздор
Из институтского запаса;
Напротив, втиснутый в сюртук
Путейца, упирая важно
В крахмал кадык многоэтажный, —
Внушительно молчит супруг.

Кругом над пищей ресторанной
Народ лопочет иностранный;
Все одобряют русский стол,
Который, коль сравнить с французским,
Желудкам европейским, узким,
Хотя и несколько тяжел,
Но всех столов премного лучше;
А знаменитая vodka
Хотя горька, хотя крепка,
Но хороша; и кто-то учит
Ее бестрепетно глотать,
Чтоб после громче лопотать.

Обед идет под стук колесный,
Вагон рессорный, многоосный,
В ритмичной качке; занята
Едой, толпа не замечает,
Какие позы принимает
Провинциальная чета;
Как пыжится она манерно;
А кто и взглянет, так, наверно,
На девушку, что у окна
Сидит, безмолвна и бледна.

А за окном открыты взору
Неоснеженные просторы

Степей; они — как океан,
Но мертвый, серый или бурый:
Сжигают осенью маньчжуры
Траву; селения крестьян
Мелькают редко; по дороге
Арбу, груженную зерном, —
С опущенным покорно лбом
Бычина тащит круторогий;
Возник и канул навсегда,
Как символ вечного труда.

Как хорошо душою праздною,
Всё, всё приемлющей равно,
Следить в вагонное окно
За сменой разнообразной
Вдруг возникающих картин —
Лесов, потоков и долин,
И думать: жизнь везде одна,
Быстра, легка, неуловима,
Как поезд или клочья дыма,
Что мчатся около окна!

Везде, везде — одно и то же,
Ничто не лучше, не дороже:
За пашней лес, за лесом — дол,
За ним печальное селенье;
Всё длится лишь одно мгновенье —
Вздыхнул, и миг уже прошел;
А там, на станции конечной, —
За ней уже движенья нет, —
Смерть отберет у вас билет;
Читатель, пассажир беспечный,
Спешите, покуда не темно,
Глядеть в вагонное окно!

Но Нина вовсе не философ —
Чужда торжественных вопросов;
Не различая ничего,
Взор девичий лучом печальным
Блуждает за стеклом зеркальным;
Во власти чувства одного,
Не видит Нина и не слышит,
Она порой почти не дышит

И отвечает невпопад
На материнские вопросы;
И мать на Нину смотрит косо,
И Нина опускает взгляд.

А тут еще вошедший обер
(Откормлен, не прощупать ребер
Под долгополым сюртуком)
Подходит с рапортом о том,
Что поезд перед Цицикаром,
Что там скрещенье и буфет.
«Отлично! Приказаний нет»;
Но папенька молчал недаром;
Он вспомнил: в чем-то срочность есть, —
На встречный надо пересесть.

«Ну, что ж! — отвечает супруга. —
Пусть так: дела — всегда дела!»
А дочь бледнеет от испуга,
Как снег становится бела:
Ведь Цицикар как раз та точка,
Где улизнуть хотела дочка,
Но риск не выручил, не спас!..
Что делать девушке сейчас?
Хоть под колеса, хоть в трясины,
В любой, любой водоворот,
Но ум не покидает Нину,
Хотя озноб ее трясет.

В купе идет прощанье быстро;
Отец с величием министра,
Которым он мечтает стать
При помощи жены-княгини,
Трепещущей позволил Нине
Себя в усы поцеловать;
Он говорит: «Владей собою!
Утри слезинку на носу».
Она ему: «Я отнесу
Твой саквояж». — «Что? Бог с тобою!
Зачем? Ты можешь опоздать». —
«Нет, нет!» Но тут, весь в клубах пара,

Уже на стрелках Цицикара
Вагон их начал грохотать.

Вокзал, депо и водокачка;
В поселке водка, карты, спячка;
Вот что такое Цицикар.
Ну, что еще там? Тротуар
Дошатаый тянется в казармы;
В них — пограничный батальон;
И описали Цицикар мы
Детально и со всех сторон.

Изображен без всякой фальши,
Вклиняется он в наш сюжет
(Китайский город где-то дальше,
И до него нам дела нет).
Мы только церковь позабыли;
Она стоит особняком
И золотым своим крестом
Чудесно блещет в снежной пыли,
Которой воздух напоен;
Поселок степью окружен.

Отец в своей путевой форме
Налево ходит; встречный ждет;
За папой Нина по платформе
К вагону синему идет;
В окошко мать глядит; и Гранин,
Навстречу бросившись, застыл:
Он Ване за спину отпрянул,
Ванюша друга заслонил.

Они стоят, понять не в силах,
Что план разбило их во прах;
Но Гранину как будто знак
Почудился в ресницах милых;
И даже ручка за спиной,
Обтянутая белой лайкой,
Велит (в тревоге отгадай-ка!)
Не то «за мной», не то «постой».

И девушка в вагоне скрылась;
Влюбленный открывает рот;
Что это, робость иль немилость?
Что дало новый оборот
Всему, условленному точно?
Нечаянно или нарочно
Был милой ручки быстрый знак?
А колокол уж три удара
Пробил; заверещал свисток,
И поезд, с первым клубом пара,
Сейчас помчится на восток.

Что делать? Ждать или садиться?
На что-то следует решиться
И срочно что-то предпринять,
Иначе девушка опять
С отцом своим в Харбин умчится!
Но тут — уже в последний миг,
Когда свистка раздался крик
Басистый и прощально-длинный, —
У двери появилась Нина;
И, в шубке белой так стройна,
Из заскрипевшего вагона
На золотой песок перрона
Поспешно прыгнула она.

Тут Гранин к ней. «Нет, погоди ты!» —
Она ему почти сердито
И торопливо говорит;
И личико ее горит;
И он впервые волевою
Увидел складку меж бровей
На милом лбу любви своей,
Увидел складочку такую,
Что, не ответив ничего,
Подумал про себя: «Ого!»

А Ниночка к экспрессу мчится;
Вот их вагон; в окошке — мать;
Ну, что же — ручкой помахать:
Я тут, мол, и спешу садиться.

Ведь и экспрессу дан свисток.
И, потревожившись немножко,
Мадам отходит от окошка —
Дочь к месту возвратилась в срок.

Сейчас она войдет, конечно,
В купе; уж заскрипел вагон,
Неслышно трогается он;
И мать в окно глядит беспечно...
Что это? И бледнеет мать,
Она не может не узнать
Вот этой самой белой шубки!
И тут же Гранин... Почему
Он перед Ниной и ему
Она протягивает губки!
Мать зеленеет; но она
Молчит: она себе верна.

О бегстве дочери упрямой
Она в известность телеграммой
Поставит мужа, но сейчас
Что эта барыня для нас?
Вплетается в повествованье
Нежданно новое лицо:
Вот некто в рясе на крыльцо
Выходит типового зданья;
Солдатский каравай в руках;
Над шарфом борода седая,
Но в жизнерадостных глазах
И ум, и зоркость молодая;
Скуфьей прикрыт широкий лоб:
Отец Никита, протопоп.

Он крикнул: «Мишка!.. Постреленок!»
И тотчас же из-под крыльца,
Железной цепью забряцав,
Выкатывается медвежонок;
На лапы задние он встал,
Он заворчал, он заурчал;
Как бусины, сверкают глазки;
Карабкается на крыльцо;
А протопопово лицо
В сияньи доброты и ласки.

«Ну-ну! — басит он, черный хлеб
Ломая на куски большие. —
Клыки-то вон уже какие,
А как дитя еще нелеп!
Растешь, жиреешь понемногу,
А всё еще, поди, берлогу
Во сне ты видишь, снится мать,
Коль дар имеешь вспоминать;
Но мне-то делать что с тобою,
Как в зверя вырастешь совсем?
А впрочем, Бог, как вся и всем,
Займется и твоей судьбою;
Покуда же и ешь, и пей,
Да развлекай моих гостей».

Тут в палисадник Ваня входит,
Со зверем батюшку находит
(Один ворчит, другой урчит)
И, хоть смущенный на мгновенье,
Подходит под благословенье
И торопливо говорит,
Что есть брачующихся пара,
Весьма торопится она.
«А что, они из Цицикара?» —
«Нет, батюшка, из Харбина».

Тут батя вымолвил: «Ванюша,
Ты торопливость отложи;
Пройдем ко мне... Чайку откушай
И всё подробно изложи». —
«С чаями, право, невозможно, —
Подходит Ваня осторожно
К предмету миссии своей, —
Тут случай трудный, случай сложный,
И надо как-то поскорей;
Тут...» — «Стой! Но мне никто не ведом;
Да уж не ты ли сам жених?» —
«Да нет! опередил я их —
Они идут за мною следом...» —
«Допустим! Но не шутка брак,
А ты сегодня больно пряткий!

Кто он, она? Фамилия как
Невесты?»

Но скрипит калитка,
И Гранин с Ниной входит в сад;
Ванюша отступил назад.

Скажу вам, был отец Никита
Не только добр, но и умен;
И очень быстро понял он,
Что как для матери сердитой,
Так и для важного отца
Благожелательней конца
К роману дочки (с ней не сладить)
Никак, пожалуй, не приладить,
Чем этот цыцикарский брак;
И он сказал: «Да будет так!»

И через час уж эта пара
В военном храме Цыцикара
Была повенчана; и здесь
Свою я мог бы кончить повесть —
Спокойна авторская совесть:
До свадьбы я сумел довести
Героя с милой героиней;
Мне подходящий повод дан
Закончить тем, чем часто ныне
Любой кончается роман.

Но всё ж я вылезу из плана
Экранно-модного романа:
Мне музой в выполнении дан
Реалистический роман;
Как я сказал уже, всё это
Не легкий вымысел поэта —
Рассказ веду не от себя;
Старик с косматой бороною,
Ее седины теребя
Дрожащей темною рукою,
Умолк на миг, вздохнул, привстал,
Но снова сел и продолжал:

Отец, настигнут телеграммой,
Ее с трудом постигнув суть,
Летит назад; мадам упрямо
На запад продолжает путь:
Дочь для нее не существует, —
Скупое чувство наповал
Убил *общественный скандал*;
Его молва еще раздует
До прессы, до пасквиля в плоть;
Нет, дочь — отрезанный ломоть!

Rara примчал; бежит сердито
В церковный дом; отец Никита
Его встречает; тут и дочь
С супругом; молодые ночь
Под тем гостеприимным кровом
Чудесно провели; и вот
Пред тестем и отцом суровым
Предстали молча: суд идет!

Чего им ждять? Какая грянет
Неудержимая гроза?
Но смело поднимает Гранин
Нетерпеливые глаза;
Он муж уже; чего ж страшиться?
Он — труженик; он — офицер;
И только дикий изувер
Родства с ним может устыдиться;
Какой средневековый вздор,
Нелепость, дикость, ахинея;
От возмущения немея,
На тестя он глядит в упор.

Скрестились взгляды; гневным знаком
Отцу морщина чертит лоб;
Но выручает протопоп:
«Поздравьте их с законным браком, —
Он говорит. — Уже, увы,
Разумнее не подберете вы
И справедливее решенья!..
Так дайте ж им благословенье.
А вы, — мигнул он молодым, —
Вы на колени перед ним!»

Тут, вспомнив, что один писатель
Прекрасно выразил стихом
(«Что за комиссия, Создатель,
Быть взрослой дочери отцом!»),
Papa пошел на мировую,
И, местным сплетницам назло,
Всё в норму строгую вошло,
И Гранин Нину дорогую
Уже женой повез в Харбин;
Отец же, важный господин,
Помчался за своей каргою,
За урожденною княжною
И, ею где-то взят в полон,
В Харбин не возвратился он.

Глава седьмая

Но что же Ваня, наш знакомый?
При милой паре другом дома
Он стал; дневал и ночевал;
Их дом, семья — его утеха;
Он скоро к ним и переехал,
У друга комнату он снял,
Куда привез его Василий, —
Его уже отметил я, —
Немного скарба, много пыли,
Ягдташ и тульских два ружья.

Красавец-лаверак Находка,
Хвостом помахивая кротко,
С Василием (тот принят в дом)
Стал третьим Граниных жильцом;
Вошел он в двери с Ваней рядом,
На Нину пристально взглянул
Готовым к преданности взглядом;
Знакомясь, руку ей лизнул,
Вздохнул и на ковре уснул.

Дни замелькали; скоро Нина
Супругу подарила сына,
Коль не соврать мне — через год;
И Нина Ваничку зовет,

Конечно, в крестные папаши;
И, в выраженьях став живеи, —
«Священны приказанья ваши!» —
Ванюша отвечает ей.

Сынишка рос ребенком хилым,
Хотя, конечно, очень милым,
Как уверяли все вокруг;
Завелся было узкий круг
Знакомых — дамы, сослуживцы
(Охотники до всяких дел,
На службе ж — сонные ленивцы);
Их Гранин просто не терпел
И через силу с ними ладил,
Чем очень скоро и отвалил
Знакомцев от дверей своих,
Заметив: «Проживу без них!»

А сам он? О высоком деле
Мечты кадетские тускнели;
Одни служебные дела
Ему судьба его несла;
И, относясь к ним педантично,
Вставая в шесть, а то и в пять,
Он в десять начинал зевать
И Нине говорил обычно:
«Дружочек, я хочу бай-бай, —
Постельку мужу открывай!»

Сначала это было мило
(И Нина в спальню уходила),
Но — после сына — полумрак
Уже наскучил ей лампадный;
Ей стало тяжело и досадно;
Нет, о супружестве не так
Мечтала в институте Нина!..
Ну что за жизнь, когда вокруг
Одно — двуспальная перина,
Лампада, печь, кровать сына
Да кроткий, молчаливый друг.

Ложиться вместе с петухами
Хоть и полезно, может быть,
Но этим интересной даме
Недолго можно угодить;
Всё хорошо, но как-то вяло,
Ни сердцу, словом, ни уму;
И тут присматриваться стала
Жена к супругу своему:
Да, он красив, но лоб, пожалуй,
Немного мал и узковат,
Цвет губ какой-то слишком алый,
И без души глаза глядят...

Обеспокоен непонятно,
Муж скажет: «Нина, что с тобой?
Ты смотришь как-то неприятно,
Взгляд у тебя — совсем чужой!»
Она очнется; грустно, нежно,
Ласкает голову его;
Она молчит или небрежно
Прошепчет: «Полно, ничего!»
Пусть боль души необычайна, —
Мучительная скрыта тайна,
Жены трагический секрет:
Любовь ушла, любви уж нет!

Любовь приходит и уходит,
Она избранников находит,
Но даже им на миг верна, —
Да существует ли она?
И то, что названо любовью,
Что в существе своем темно, —
В сердцах отяжелевшей кровью,
Быть может, лишь порождено;
Как опьяняющее зелье,
Она нас в небо увлечет,
Но лишь проснемся мы, как счет
Уже предъявит нам похмелье;
И тут, читатель дорогой,
Простейшее запутав в узел,
Оно вас наподобье грузил
Потянет в омут роковой!

Старо всё это? Да, про это
Давно уж пето-перепето,
Но Нина очень молода;
Впервые подошла беда,
Которая так сердце гложет;
И, бедная, понять не может,
Как то, что пламенем таким
Вздымалось, всё испепеляя,
Сейчас чуть тлеет, догорая,
Распространяя горький дым.

Но сын!.. И над его кроватькой,
Одна, озарена лампадкой,
Полна невыплаканных слез, —
Решает Нина не рассудком,
А честным сердцем, к правде чутким,
Судьбы трагический вопрос;
В нем, заглушая все влеченья,
Высокий голос отреченья
Звучит, как колокола медь:
Для сына жить... Молчать, терпеть!

Молчать, терпеть!.. Одно терпенье
Должно ее девизом стать;
Теперь ребенок лишь да чтение
Должны жизнь Нины украшать.
И стало так: спит дом казенный;
Спит Вовочка и Саша спит;
И только где-то однотонный
Бессонный маятник стучит;
Все дома, только нет Ивана —
Он в клубе; бодрствуя одна,
В углу покойного дивана
Читает Нина... Тишина.

От круглой печки пышет жаром,
Ведь уголь им дается даром,
А на дворе январь стоит,
Уснувший город леденит;
Прошелестит страница; пальчик
К губам — и слушает она,

Спокоен ли в кроватке мальчик?
И вновь головка склонена
К журналу или новой книге;
Лишь маятник считает миги,
Сверчком запечным стрекоча...
Но чу, в передней звон ключа.

То возвращается Ванюша.
«Вы в клубе кушали?» — «Я кушал, —
Ответил он. — Ну и мороз.
Едва не отморозил нос!»
И подойдет поближе к печи,
Откуда кротко поглядит
На Ниночку; она сидит
Покойно: часты эти встречи,
Корректнейшие тет-а-тет,
В них ничего такого нет.

«Читаете? — он скажет снова. —
О чем, позволю вас спросить?» —
«Да вот, про чудака такого,
Как вы; его хотят женить...
Ну всё о вас; всё точно, к месту;
Ну совершенно вы, о вас!
Хотите, чудную невесту
Я вам найду?» — «Мне? Никогда-с!» —
Ответил он и даже строго
Взглянул на Нину, но она,
Вдруг шаловливости полна,
Пристала к Ване: «Ради Бога,
Но почему же, отчего?»
Он отвернулся и с порога
Опять взглянул на Нину строго,
И не ответил ничего.

Тут собеседник мой печальный
Умолк и глубоко вздохнул;
Поднятый взор его тонул
Как бы за некой гранью дальней;
«Он вспоминает!» — думал я,
Но он встает, заерзав палкой,

И говорит с улыбкой жалкой:
«Здесь речь окончится моя;
Мы подошли к преддверью года,
Когда военная невзгода
На Русь надвинула беду:
В четырнадцатом мы году...
Тут, из запаса призван, Гранин
Помчался бодро в часть свою;
Примчал; и был смертельно ранен
Едва ль не в первом же бою...»

«Но что же дальше?.. Я о Нине...
Ванюша, кажется, влюблен?» —
«Пока рассказ на половине, —
С улыбкой отвечает он, —
Но если будущее судит
Нам встретиться еще разок,
То продолженье, верьте, будет,
И даже... грустный эпилог!»

И он ушел, старик плечистый;
Я долго вслед ему глядел;
И полдень золото-огнистый
В июльском небе пламенел;
И долго думал я пытливо,
Кто этот старец; торопливо
Отгадку нужную искал;
Ведь если быть ему в романе,
То кем? Конечно, только Ваней, —
Я так тогда предполагал.

И вот я думаю о Нине,
О затаенной половине
Ее житейского пути;
Ищу я старика найти;
Рассказчика с лицом печальным
Хочу дослушать до конца...
И я от своего крыльца
Иду путем нарочно дальним,
И вновь у Чурина сижу
И жду: и поздно или рано,
Но окончания романа
Дождусь и вам перескажу.

ВСТРЕЧА¹

Поэма

А.А. Агрову

I

Меж эмигрантских свойств и качеств
(Взгляни внимательно вокруг)
Иные именов чудацеств
Мы называем, милый друг.
Одно из них – рыбалки наши.
Лишь половодье лед умчит,
Кто от юнца и до папаши
На Сунгари не заспешит?
Чьи только вдаль не тянет взоры
Вверх по теченью иль вниз?..
Теперь, касатка, берегись,
Теперь ты жди набег на створы!
Агрович Саша, милый друг,
Готовы ль лески и бамбук?

II

И, ненавидимый касаткой,
Ты можешь ли ответить кратко,
Что заставляет нас грести
С двенадцати и до пяти,
Чтоб встретить алую Аврору,
К восьмому подплывая створу,
И там весь летний день большой
Сидеть, согнувшись над удой?
Что нас столь часто заставляет
Терять излишние жиры
Для этой, в сущности, игры
Бесприбыльной, как всякий знает?
Открыв прокуренную пасть,
Ты отвечаешь точно: *страсть*.

¹ Эти стихи – начало второй части романа «Нина Гранина» (прим. ред. [журнала «Рубеж». – Сост.])

III

Пусть так... Важна ль для страсти прибыль?
Что гонит нас на створы? Рыба ль?
Скорей желанье отдохнуть
И чистым воздухом вздохнуть.
А многих, сделаем признание,
Еще зовет к той тишине
Весьма законное желанье
День провести наедине
С самим собою... Не из круга ль
Тоски рыбак бежать готов?
Тебе наскучил твой Продуголь,
А мне писание стихов.
Так что ж, к *девятке*? Я готов!

IV

Побыть с собою... Но без друга
И на рыбалке будет туго;
Угрюмец лишь, таясь во мгле,
Плывет в единственном числе:
Он эгоист, он *знает место*,
Он даже рыбу... продает!
Тут отстраняющего жеста
Движение — такой не в счет!
Проблема спутника — проблема,
Коль вы расширите масштаб —
Философическая тема,
А в философии я слаб,
Да и она не помогла б.

V

Понять, что в спутнике, пожалуй
(Он, как и вы, рыбак бывалый),
Мы ценим более всего
В речах умеренность его;
Нет, не угрюмое молчанье,
Не хмуро отвращенный взор —
Законен возглас, замечанье,
Совет, а иногда укор

(Зевать, мол, так — недопустимо),
Но рыбаков в рыбачьи дни
Претит от лишней болтовни
Решительно: неодолимо
К речной влечет нас тишине,
Где мы — вдвоем наедине.

VI

К рекордам день иной восходит:
Так раз с приятелем Володей
Я вымолвил, считать готов,
За сутки двадцать восемь слов.
Но это всё — *в процессе ловли* —
На берегу беседы час.
«Ну, как там, кипяток готов ли?
Довольно ль водочки у нас?»
Костер пылает. Час обеда.
Уха. Под свежий огурец
Хорош никитинской стопец...
Отдохновенная беседа
Идет неспешно, хороша,
И славит Господа душа.

VII

Не примечательна ли эта
Душ наблюдательных примета:
Глаза глядят на поплавок;
Чтоб не качнулся ваш челнок,
Вы в подлинном оцепененьи
За шевеленьем поплавка
Следите, — правая ж рука
Уже таит в себе движенье.
И в то же время через весь
Сей механизм автоматизма
(Как луч, что направляем призмой,
Сравнение возможно здесь) —
В трущобу самых темных дум
Прожектор свой направит ум.

VIII

И проясняет их движенье
Негаданное озаренье...
Но в этот миг ваш поплавок
Ведет, заводит за листок;
Приподнят, поплавок ложится...
Тут, позабыв о всем и вся,
Подсекли вы, и карася
Широкобокость серебрится!
Трофей в корзину, и опять
Вы возвращаетесь к тем мыслям,
Которые давно, как тать
Таяся, над душою висли.
Не странно ль, глупый поплавок
Помог распутать их клубок?

IX

Но, так или нет, не в этом дело.
Пожертвовавший ночью целой,
Однажды я заплыл туда,
Где не случалось никогда
Быть раньше: рукавом проточки
В укрытый я проник залив,
Образовавшийся в разлив;
Он полон был косматой кочки.
Взглянув, подумал я, ярься:
Чудесно. Должен быть карась!

X

И тут сквозь дым тумана тонкий
Увидел очерк плоскодонки,
Кормю спрятанной в лозняк:
Рыбак! И я кричу: «Ну, как
Успехи?» — и его миную,
Гребя с учтивостью, слегка;
И вижу бороду седую,
И узнаю я старика,
С которым долго чаял встречи.
И он, взглянув, меня узнал,

Рукой приветно помахал,
Ответив: «Не езжай далече:
Тут будет, видимо, улов —
Начался настоящий клев!»

XI

Я встал поблизости, нарушив
Обычай ваш, рыбацьи души,
Но до двенадцати часов
Не проронил и пары слов.
Молчал и старец до обеда,
Но в полдень он меня позвал,
И наша началась беседа, —
Случилось то, о чем мечтал
Я столько дней, — опять о Нине
Живой рассказ от старика
Услышал я в сырой пустыне
Кочкарника и лозняка.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Поэмы, опубликованные под псевдонимом «Николай Дозоров»

ГЕОРГИЙ СЕМЕНА́

(поэма)

I

Суд. Трибунал. На местах для публики
Так называемый *цвет республики*,
Опортугенный, в орденах:
Судят соратника Семена.

Чу, комсоставец в мундире ЧОН'а,
Явно соседкою увлеченный,
Шепчет, рукою руки ища:
«Ладного выловили леща!..

Им ли шутить с Гепею и Чоном,
Белогвардейщине и шпионам!..»
— Это который же? — «Вон, белая,
Строго насупился, зубы сжав».

Дама, со взором на кавалере:
— Стало быть? — «В тютельку: к высшей мере».

II

Зал затихает — дыханье слышно...
Солнце январское блещет пышно
В окнах, затянутых крепким льдом;
Ало заигрывает со штыком
Красноармейца... И тонким дымом
Пыль золотится над подсудимым.

— Имя? — «Георгий». (За датой — дата:
Образование... там, тогда-то.)
Тянется, вьется допроса нить,
Вьется и крепнет, чтоб саван сшить,
Впрочем, без савана: есть река, —
В прорубь, нагого, с грузовика.

Парень спокоен. В ответах точен.
Только задумчив, как будто, очень,
Будто душою уже не здесь;
Что-то святое в улыбке есть,
Что-то такое, что этот взгляд
Сам председатель встречать не рад.

Правозаступник... Но он не мешкал.
Выпущен более для насмешки —
Отлопотал, поклонился, сел...
И настораживаются все,
От председателя до служителя:
«Слово товарища обвинителя!»

Вот он — в красивой военной форме,
Самодоволен, ленив, откормлен,
Вот он, питомец бывлой Чека, —
В воздухе плавающая рука,
Пафос газетной передовицы
И — ограниченность без границы!

Начал с фашизма и бойко крутит
О «буржуазной бандитской сути
Этого фактора (стиль какой!)
Контрреволюции мировой».
И, отрываясь от общих мест
(В сторону юноши гневный жест),
Скачет уже по другой тропе:
Он атакует ВФП.

III

Тысячу слов ворошит в минуту:
Вспомнил опричников и Малюту,
Вычислил тысячи тех рублей,
Что нам бросают из-за морей,
Что нам дают и уже давали,
Чтобы мы Родину продавали.

Вот и картина *фашистских оргий* —
Пьянство, разгул... Семена Георгий
Словно проснулся — глаза дерзки,
Сами сжимаются кулаки,

Шепчет, всю душу в порыв влагая:
«Слышишь ли, Партия дорогая?..
Ты негодяем оскорблена, —
Муки не вытерпит Семена!»

И, словно веянье мощной силы,
Шепот в ответ: «Я с тобою, милый!
Светлый мой мученик, я с тобой,
Я над тобою, мой голубой!..
Сердце скрепи: как бичом суровым,
Ты это стадо ударишь — словом!»

В трепете, вновь в боевом восторге,
Слышал ли ты, Семена Георгий,
Как обвинитель, со лба платком
Пот вытирая, — поганым ртом
Требовал смерти тебе, и зал
Руки в плесканиях развязал?

IV

Встал. На него со скамеек — взгляды:
Так из дорожного праха гады
Смотрят — и яростию ярясь,
И устремленной пяты страшась.

Этот с насмешкой, а тот со злобой, —
Взгляды, как алчущая утроба
Волчья... И в этот звериный смрад —
Молния: *русский, открытый взгляд!*

Голову поднял. И на мгновенье
Сердцем — в себя: удержать кипенье —
В каждое слово запал вложить
И, как гремящей гранатой, бить!

Шепот, движение... Тишина.
Слово соратника Семена.

V

«Слава России! (*На жест салюта —
Скрежет, шипение злобы лютый.*)

Слово мое — не мольба к врагу,
Жизнь молодую не берегу,
Но и в смертельной моей судьбе
Миг, как фашист, отдаю борьбе!

Оргии? Пьянство? Подачки миссий?
Путь пресмыкательства, подлый, лисий?
Я возражаю вам, прокурор, —
Ваши слова — клевета и вздор:
Духом сильны мы, а не валютой!..
Слава России!» — и жест салюта.

«Годы отбора, десятилетье...
Горбится старость, но крепнут дети:
Тщательно жатву обмолотив,
Партией создан *стальной актив*,
И что б ни сделали вы со мной —
Кадры стоят за моей спиной!

Девушки наши и парни наши —
Не обезволенный день вчерашний,
Не обессиленных душ разброд:
Честный они, боевой народ!
Слышите гул их гремящих ног?..
Слава России!» — салют. Звонок.

«К делу!» — Шатнулся чекист дежурный.
Ропот по залу, как ветер бурный,
Гулко пронесся... и — тишина.
Слово соратника Семена:

«К делу?.. Но дело мое — Россия:
Подвиг и гибель. А вы кто такие?
Много ли Русских я вижу лиц?
Если и есть — опускают ниц
Взоры свои, тяжело дыша:
Русская с Русским всегда душа!

Знаю: я буду застрелен вами,
Труп мой сгниет, неотпетый, в яме,
Но да взрывается динамит —
Лозунг «*В Россию!*» уже гремит,

И по кровавой моей стезе
Смена к победной спешит грозе.

Тайной великой, святой, огромной
Связана Партия с подъяремной
Нищей страной... Страна жива,
Шепчет молитвенные слова
И проклинает в тиши ночей
Вас, негодяев и палачей!..»

Зала как будто разъята взрывом:
Женщины с криком бегут пугливым
К запертой двери... Со всех сторон:
«Вывести, вывести... выбросить вон!»
И – медным колоколом – толпе:
«СЛАВА РОССИИ И ВФП!»

VI

Ночь. Бездыханность. Кирпичный ящик.
Плесень в углах. В тишине щемящей
Неторопливый, далекий звук
Переговаривающихся рук.
Пыльная лампочка под потолком,
Койка с матрацем и дверь с глазком.

Спал и проснулся... О, слишком *рано*, –
Сердце тоскует, оно как рана.
Снилось соратнику Семена:
Входит заплаканная жена,
Вводит за ручку с собой малютку...
«Господи, тягостно!.. Господи, жутко!..»

Сел. Упирается мертвым взглядом
В дверь, за которой стучит прикладом
Стражник тюремный... отходит прочь.
«Как *коротка* ты, последняя ночь,
Как *бесконечна*: не встретить дня!
Но не осилишь и ты меня!»

И за пределы последней ночи
Твердо взглянули сухие очи:

«Родина, Партия, ты, жена, —
Нет уж соратника Семена...
Жизнь, уж земным ты меня не томи, —
Господи, душу мою прими!
Смерть, подойди с покрывалом чистым,
Был я фашист и умру фашистом...
Что это?..»

В *пыль* — весь тюрьмы утес,
В солнечном свете идет Христос,
В кротком сиянии нетленной силы:
«Мученик бедный мой, мученик милый!»

По коридору гремят шаги,
Лязгает ржавый замок... Враги.

ВОССТАНИЕ

1

Грозы долго собирали силы,
Где-то зарождался ураган.
Медленно кровавый наносило
На страну туман.

И неслышно им покрыло днище
Всех трущоб и затаенных нор.
Кто-то шепчет, собирает, рыщет,
При вопросах опускает взор.

Полстолицы лихорадит, бредит,
Самый воздух кажется нечист,
И патлатый, в полосатом плеле,
Торжествует только нигилист.

Начисто отвергнуто бывшее,
Всё родное вдруг отсечено.
С русской кончает стариною
Вдруг зашевелившееся дно.

Но всё это — где-то под ногами!
Над Россией, славой упоен,
Осенен могучими орлами, —
Тот же всё многовековый Трон.

Кто-то шепчет и предупреждает,
Что и к Трону подступает мгла,
Но никто той речи не внимает —
Вещие реченья заглушает
Медный марш Двуглавого Орла...

Но всё глуше мощный грубный голос,
Всё багровой озарен закат:
Надвое Россия раскололась,
И другие голоса гремят.

И другие слушаем мы песни,
Мы уже на митинги идем,
Мы кричим и требуем, а с Пресни
Первых пушек раздастся гром.

Но орел взлетел с возглавья Трона,
Распахнул победные крыла...
Над Москвой, восстаньем распаленной,
Расточилась мгла!

2

Но вторая буря на пороге,
И еще ужаснее она.
И нежданно подломились ноги
У тебя, огромная страна.

Так корабль, что затрещал от крена,
Заливает перекатный вал.
Трусость. Низость. Подлая измена...
И опять — восставшая Москва!

3

Я, бродивший по Замоскворечью,
По асфальту шаркающий обувь,
Слушал в гулах ночи — человечью
Накоплявшуюся злобу.

Каждый камень глянцевито вымок,
Каждый дом утраивал размеры.
Пахли кровью — морозящих дымок
Медленно скользившие химеры.

Словно в осий загудевший улей,
Кралась полночь к городским заставам.
Каждый вопль, просверливаясь в гуле,
Говорил о брошенных расправам.

Ночь ползла, поблескивая лаком
На октябрьских тротуарных плитах.
Каждый выстрел отмечался знаком
О врагах сближавшихся и скрытых.

Припадая, втягиваясь в плечи,
Шли враги в мерцающую ростопь
Тиграми, смягчающими поступь,
И еще оттягивали встречу.

4

Клубилось безликим слухом,
Росло, обещая мечь.
Ловило в предместьях ухо
За хмурюю вестью весть.

Предгрозье, давя озоном,
Не так ли сердца томит?
Безмолвие гарнизона
Похоже на динамит.

И ждать невозможно было,
И нечего было ждать.
Кроваво луна всходила
Кровавые сны рождать.

И был бы тяжел покоя
Тот сон, что давил мертво.
Россия просила боя
И требовала его!

Россия звала к отваге,
Звала в орудийный гром,
И вот мы скрестили шпаги
С кровавым ее врагом.

Нас мало, но принят вызов.
Нас мало, но мы в бою!
Россия, отважный призван
Отдать тебе жизнь свою!

Толпа, как волна морская,
Взметнулась, ворвался шквал...
Обстреливается Тверская! —
И первый мертвец упал.

И первого залпа фраза —
Как челюсти волчьей щелк,
И вздрогнувший город сразу
Безлюдной пустыней смолк.

5

Мы — *белые*. Так впервые
Нас крестит московский люд.
Отважные и молодые
Винтовки сейчас берут.

И натиском первым давят
Испуганного врага,
И веи победы ставят,
И жизнь им не дорога.

К Никитской, на Сивцев Вражек!
Нельзя пересечь Арбат.
Вот юнкер стоит на страже,
Глаза у него горят.

А там, за решеткой сквера,
У чахлах осенних лип,
Стреляют из револьвера,
И голос кричать охрип.

А выстрел во тьме — звездой
Из огненно-красных жил,
И кравшийся предо мною
Винтовку в плечо вложил.

И вот мы в бою неравном,
Но тверд наш победный шаг,
Ведь всюду бежит бесславно,
Везде отступает враг.

Боец напрягает нервы,
Восторг на лице юнца,
Но юнкерские резервы
Исчерпаны до конца!

«Вперед! Помоги, Создатель!»
И снова ружье в руках,
Но заперся обыватель —
Как крыса, сидит в домах.

Мы заняли Кремль, мы — всюду
Под влажным покровом тьмы,
И все-таки только чуду
Вверяем победу мы.

Ведь заперты мы во вражьем
Кольце, что замкнуло нас,
И с башни кремлевской — стражам
Бьет гулко полночный час.

6

Утро вставало робко
С лицом мертвеца.
Выстрел хлопнул пробкой
Из детского ружьяца.

Заводской трубы тычина
От изморози в серебре.
Строилась мастеровщина
На черном дворе.

Стучали ружья
О мерзлый шлак,
И по-битюжки
Замедлен шаг.

Светало — липло —
Росло — и вот
Командой хриплой
Рассыпан взвод!

Напора — бычий
Последний шквал...
Держитесь! Добычей
Тебе — Москва!

7

Дорогомилово, Черкизово,
Лефортовские тупики
Восторг восстания нанизывал
На примкнутые штыки!

И Яуза шрапнелью пудрена,
И черная Москва-река,
И у студенческого Кудрина
Поисцарапаны бока.

По выбоинам неуклюжие,
Уемисты и велики,
С резервами или оружием
Загрохали грузовики.

8

И мы слабели час от часу,
Был вдесятеро враг сильней,
Нас грозно подавила *масса*,
Мы тяжко захлебнулись в ней.

Она нас вдруг разъединила,
Нас подняла и понесла,
Слепая, яростная сила,
Всезаполняющая мгла.

На каждый штык наш напирала
Уж не одна, а сто грудей,
И всё еще казалось мало
Солдатских этих шинелей.

Поток их рос, росло кипенье,
Движение со всех сторон:
Так наше довершил паденье
Примкнувший к красным гарнизон.

Лишь в смерти был исход для смелых,
Оборван, стих команды крик,
И вот гремит по трупам *белых*
Победоносный броневик.

9

Но город, ужасом ужален,
Не рознял опаленных век.
Над едким куревом развалин
Осенний закрубился снег.

Он падал — медленный, безгласный —
В еще расслабленный мороз...
Патронташами опоясан,
На пост у Думы встал матрос.

И кто-то, окруженный стражей,
Покорно шел в автомобиль,
И дверь каретки парень ражий,
Вскочив, наотмашь отворил.

Уже толпа текла из шелей
Оживших улиц... В струпьях льда
Сетями мертвыми висели
Оборванные провода.

А на углу, тревогой тронув
Читавших кованностью фраз,
Уже о снятии погонов
Гремел Мураловский приказ.

Так наша началась борьба –
Налетом, вылазкою смелой,
Но воспротивилась судьба
Осуществленью цели белой!

Ах, что «судьба», «безликий рок»,
«Потусторонние веленья», –
Был органический порок
В безвольном нашем окруженьи!

Отважной горсти юнкеров
Ты не помог, огромный город, –
Из запертых своих домов,
Из-за окон в тяжелых шторах

Ты лишь исхода ждал борьбы
И каменел в поту от страха,
И вырвала из рук судьбы
Победу красная папаха.

Всего мгновение, момент
Упущен был, упал со стоном,
И тащится интеллигент
К совдепу с просьбой и поклоном.

Службишка, хлебец, керосин,
Крупы какую-то для детской, –
Так выю тянет гражданин
Под яростный ярем советский.

А те, кто выдержали брань,
В своем изодранном мундире
Спешат на Дон и на Кубань
И начинают бой в Сибири.

И до сих пор они в строю,
И потому – надеждам скоро сбыться:
Тебя добудем мы в бою,
Первопрестольная столица!

Из Франсуа Вийона

СКАЗАНИЕ О ДИОМЕДЕ

В царствованье Александра
Диомед, морской бродяга,
Был, закованный в железа,
Стражей приведен к царю,
Как разбойник, уличенный
В грабежах морских, в пиратстве,
Чтоб обрек его позорной
Смерти высший судия.

«Почему, — спросил владыка, —
Ты, несчастный, стал пиратом?»

Диомед: «А почему ты
Называешь так меня?
Потому лишь, что кораблик
Мой и мал и ненадежен,
Но будь силен я — и мог бы
Стать царем, царем, как ты!

От меня чего ты хочешь?
Не с судьбой же мне бороться!
В ней — простейшая отгадка
Поведенья моего!
Облегчи пирату участь,
Знай: при бедности огромной
И порядочность большою
Никогда не может быть!»

Царь слова его обдумал
И ответил Диомеду:
«Хорошо! Твое злосчастье
Я на счастье изменю!»
Так и было. Император
Сделал честным человеком
Диомеда, и Валерий
Выдает рассказ за быль.

Если б Бог меня сподобил
Тоже встретить милосердые
И добиться места в жизни,
То коль я паду во зло —

Сам себя я осудил бы,
Предал сам себя сожжению:
Лишь нужда толкает в пропасть,
Гонит волка из трущоб.

ВОСПОМИНАНИЕ О СОТОВАРИЩАХ

Где теперь веселые гуляки
Моих светлых юношеских дней, —
Певуны, вральи и забияки
С болтовней веселою своей?
Умерли одни, и жертвой тленья
Каждый ныне спит в своем гробу.
Да найдут в раю успокоенье, —
Предоставим Богу их судьбу.

Некоторые господами стали,
Барами. Другим жилье — вертеп,
И они до нищенства упали,
И в витринах только видят хлеб.
Есть что келий предпочли уюты
И, живя в тиши монастырей,
Хорошо одеты и обуты...
Такова судьба моих друзей.

Да поможет Бог большим сеньорам
Не грешить, чтобы святыми стать;
Всё иное было б только вздором, —
Нечего в судьбе их исправлять.
Нам же, бедным, без куска и крова,
Пусть Господь терпения подаст:
Мы давно живем в нужде суровой,
А у них стол ломится от яств.

Есть у них жаркие те и эти,
Бочки вин, садки отборных рыб,
Яйца есть в глазунье и омлете, —
Всё, чего лишь пожелать могли б.
В их трудах помощник им не нужен:
Покоряясь сладостной судьбе,
Каждый *сам* съест окорок за ужин,
Наливает каждый сам себе.

КОММЕНТАРИИ

ОБОСНОВАНИЕ ТЕКСТА

Настоящее издание представляет собой наиболее серьезную попытку собрать воедино не только всё значительное, что сохранилось из поэтического наследия Арсения Несмелова, но и лучшую часть его прозы. Подобного рода издание уже предпринималось Е.В. Витковским и А.В. Ревоненко в 1990 году: тогда в издательстве «Московский рабочий» увидела свет книга «Без Москвы, без России» – на пространстве в 464 страницы удалось разместить полный текст всех прижизненных поэтических сборников Несмелова (лишь первый был дан в сокращении), поэм, изданных при жизни автора отдельными книгами, почти сто стихотворений, не входивших в прижизненные сборники, а также еще три поэмы и десять рассказов. На тот момент издание было не только почти исчерпывающим, но и вполне достаточным для читающей аудитории; при тираже в 50 000 экземпляров, почти мгновенно разошедшемся, книга давала хорошее представление о масштабе дарования этого «забытого классика» литературы русского зарубежья. В том же году, лишь на несколько месяцев позже, в США (Орэндж, изд. «Антиквариат») Э. Штейн принял издание первого тома собрания сочинений Несмелова под заголовком «Без России», где фототипическим способом воспроизвел все прижизненные поэтические книги Митропольско-го-Несмелова-Дозорова – от поэтической части книги «Военные странички» (М., 1915) до сборника «Белая флотилия» (Харбин, 1942). К положительным качествам этого издания можно отнести полноту подобранного материала (в этот том вошел даже неудобочитаемый сборник «Только такие!», написанный «Н. Дозоровым» для прикладных нужд Всероссийской Фашистской Партии К. Родзаевского, чьим предисловием сборник был снабжен), к отрицательным – воспроизведение не только текста, но и всех опечаток первоизданий; кроме того, сборник «Кровавый отблеск» был воспроизведен по дефектному экземпляру – отсутствовала последняя страница со стихотворением «Восемнадцатому году». Научного аппарата издание было почти лишено. Второй том не только не вышел в свет, но и никогда не подготавливался. Между тем на сегодняшний день известно заметно больше «невошедшего» в прижизненные сборники, чем «вошедшего». Кроме того, единственная посмертная книга прозы Несмелова (Орэндж, 1987) включала только шесть рассказов, «Без Москвы, без России» раз-

местила на своих страницах только десять рассказов (притом пять из них в этих изданиях пересекались) — а на сегодняшний день их разыскано уже более сотни. Наконец, на сегодняшний день полностью отыскана та часть несмеловского наследия, которая в сборнике «Без Москвы, без России» печаталась в записях, сделанных по памяти читателей. В настоящем издании все тексты взяты либо из первопубликаций, либо из автографов, либо из иных не менее надежных источников. Критический отбор стихотворений проводился в самой малой степени, поэтому в разделе «Невошедшего» читатель найдет много стихотворений, написанных на заказ: к Новому году, к Пасхе и т.д., — однако стремление достигнуть реальной полноты издания перевесило соблазн выбросить из книги два-три десятка этих откровенно слабых вещей.

За помощь, оказанную в процессе подготовки издания, продолжившемся более 37 лет, составители приносят благодарность Ольге Бакич, Петру Балакшину, Михаилу Бибинову (Рокотову), Елене Васильевой (Юрке), Диао Шаохуа, Борису Дьяченко, Ерасту Индриксону, Владимиру Кокшарову, Ольге Кольцовой, Вадиму Крейду, Виктору Кудрявцеву, Надежде Мальцевой, Георгию Мелихову, Вячеславу Нечаеву, Иннокентию Пасынкову, Валерию Перелешину, Патриции Полански, Григорию Расторгуеву, Анатолию Ревоненко, Роману Сефу, Вячеславу Сечкареву, Льву Турчинскому, Лидии Хаиндровой, Яну-Паулу Хинрихсу, Амиру Хисамутдинову, Алексею Чернышеву, Николаю Щеголеву.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- А – журнал «Арс» (Владивосток)
ВР – журнал «Воля России» (Прага)
ВС – журнал «Вольная Сибирь» (Прага)
ВСт – Арсений Митропольский. Военные странички. М., 1915.
ГР – газета «Голос Родины» (Владивосток)
ДО – газета «Дальневосточное обозрение» (Владивосток)
ЛА – журнал «Луч Азии» (Харбин)
НА – газета «Наша армия» (Омск)
П – журнал «Понедельник» (Шанхай)
Р – журнал «Рубеж» (Харбин)
РО – журнал «Русское обозрение» (Пекин)
РОВ – Арсений Несмелов. Рассказы о войне. Шанхай, 1936
Ру – газета «Рупор» (Харбин)
СВ – журнал «Сунгарийские вечера» (Харбин)
СГ – газета «Серебряный голубь» (Владивосток)
СО – журнал «Сибирские огни» (Новониколаевск – Новосибирск)
Ф – журнал «Феникс» (Шанхай)

СТИХОТВОРЕНИЯ

Как и у прочих поэтов эмиграции, начавших творческий путь до того, как они покинули Россию, сборники Несмелова образуют две группы — российские и зарубежные. Перебираясь в Харбин в июне 1924 года, Несмелов взял с собой лишь несколько экземпляров сборника «Уступы» (о чем не единожды упоминает в мемуарах). Поэтому стихотворения, повторяющиеся в российских и эмигрантских сборниках Несмелова, прошли своеобразную «редактуру памяти», особенно стихотворения его первой книги. Три стихотворения из сборника «Стихи» (Владивосток, 1921) и шесть из сборника «Уступы» (Владивосток, 1924) повторены в сборниках поэта в следующей пропорции: семь в сборнике «Кровавый отблеск» (Харбин, 1929), одно в сборнике «Полустанок» (1938) и одно в сборнике «Белая флотилия» (1942). Мы даем стихотворения по тексту первой публикации, в комментариях указывая — изменилось оно в последующей публикации или нет. Первые публикации стихотворений, вошедших в прижизненные сборники, не указываются, кроме тех случаев, когда это имеет какое-либо значение для биографии автора.

СТИХИ

(Владивосток, 1921)

Голубой разряд. *Николай Асеев* — Николай Николаевич Асеев (1889-1963), ровесник Несмелова, который, печатаясь с 1908 года, успел к 1921 году уже выбиться в мэтры — особенно по меркам Владивостока; объединяло Несмелова с Асеевым также и фронтовое прошлое. О периоде их знакомства подробно см. в воспоминаниях «О себе и о Владивостоке» (т. 2 наст. изд.).

Марш. *Е. В. Худяковская* (1894-1988) — вторая (гражданская) жена Несмелова, мать его дочери Н.А. Митропольской (1920-1999). Проставленное под стихотворением слово «Тюрьма», видимо, обозначает место написания стихотворения, но при каких обстоятельствах и в какой тюрьме побывал автор до 1921 года — не выяснено.

Авантюристы. *Борис Бета* (наст. имя и фам. Николай Васильевич Буткевич; 1895-1931) — поэт, участник Первой мировой войны, во Владивостоке жил в 1920-1922 гг.; позднее перебрался в Харбин, затем в Шанхай, откуда в 1924 году уехал в Европу; умер в Марселе. *Бенвенуто* — Бенвенуто Челлини (1500-1571), знаменитый итальянский скульптор, ювелир, писатель. *Велодог* — револьвер с очень коротким стволом из числа «дамских», т.н. «револьвер для защиты велосипедистов от собак».

Пираты. *Леонид Ещин* — Леонид Евсеевич Ещин (1897-1930), поэт, автор единственного поэтического сборника «Стихи таежного похода» (Владивосток, 1921). Друг Несмелова и персонаж нескольких его рассказов.

Сестричка. Обращено, по всей видимости, не к кому-то из членов семьи Митропольских, а к медицинской сестре, с которой Митропольский был знаком на фронте. Перепечатывалось автором многократно; первая публикация — в газете «Дальневосточная трибуна» (1920, 28 ноября); без посвящения вошло в сборник «Кровавый отблеск». *Сморгонь* — городок на Волыни, место военных действий во время Первой мировой войны. *Штакор 25* — т.е. штаб корпуса 25, полицейской ротой при котором Митропольский командовал после ранения на австрийском фронте в 1915 году.

Перед казнью. Это шестистишие также перепечатывалось автором многократно: впервые оно появилось в газете «Голос Родины» (1920, 11 декабря); с незначительными разночтениями вошло в сборник «Кровавый отблеск» под заголовком «Убийство». *Е. И. Гендлин* — Евгений Исаакович Гендлин (1890—?), член РСДРП с 1904 г., окончил Гарвардский университет. После революции работал в советском посольстве в США, по возвращении в СССР — в Госиздате. Автор книги «Записки рядового революционера» (М.-Л., 1926). В 1931 г. арестован, отбывал срок в Соловецких лагерях, где общался с П. А. Флоренским. После освобождения (1941 г.) работал в Карелии. Дальнейшая судьба неизвестна.

Спутница. Впервые — в газете «Дальневосточная трибуна» (1921, 30 января), позднее без разночтений — в сборнике «Кровавый отблеск».

Монгол. «Капитана» (или «капитан») на разговорном русско-китайском диалекте Дальнего Востока — любой белый человек. «*Шан-го*» — слово из того же диалекта, означающее «хорошо»; как отмечает Несмелов в воспоминаниях «Наш тигр» (т. 2 наст. изд.), этого слова нет ни в китайском, ни в русском языке.

Изгнание. «Как у предка, сельского попа...» — фамилия «Митропольский» священническая. «То ли дело нашего Безпута...» — Безпут (совр. Беспута) — название четырех притоков Оки, сливающихся в один близ Каширы.

Оборотень. Впервые — во владивостокском журнале «Юнь» (1921, № 1). Посвящено *В.В. Маяковскому* (1893-1930). Давая аннотацию к журналу «Юнь», владивостокская газета «Голос Родины» (1921, 6 апреля) писала: «В стихотворном отделе очень удачно стихотворение «Оборотень» Арсения Несмелова, характеризующее «гений» Маяковского. Этот «гений» очень метко изображен в образе бизона...». С Маяковским Несмелов был знаком в Москве, о чем в Харбине часто вспоминал, всегда подчёркивая, что «Маяковский меня не любил».

Смерть Гофмана. В стихотворении имеется в виду поэт-символист Виктор (Виктор-Бальтазар-Эмиль) Викторович Гофман (1884-1911), незадолго до смерти уехавший в Париж, «где в состоянии внезапного психического расстройства кончает жизнь самоубийством. Смерть Гофмана вызвала множество некрологов, «мифологизировалась» легенда о «сгоревшем поэте», «жертве вечерней» и т.д.» (А.В. Лавров. «Русские писатели 1800-1917». М., 1992, т. 1., с. 660).

Поэт. С.М. Третьяков — Сергей Михайлович Третьяков (1892-1937), поэт, в 1919-1922 годах жил и широко печатался во Владивостоке. «*Вы “Паузой” закончили урок...*» — имеется в виду сборник стихотворений Третьякова «Железная пауза» (Владивосток, 1919).

Сказка. «*Я шел по трущобе, где ходи...*» — ходя (искаж. кит. «ходи») — прозвище китайцев среди русских на Дальнем Востоке; в данном контексте «ходи» — приказчик.

В беспредельность. Отклик на это стихотворение (например, на «Чувствуют ужас погонь...» и т.д.) мы находим в посвященном Несмелову стихотворении дальневосточного поэта Владимира Силлова (1902-1930, расстрелян в СССР): оно не только содержит ряд образов, заимствованных у раннего Несмелова, но и свидетельствует о том, что престиж Несмелова на «дальневосточном Парнасе» был действительно высок.

* * *

Арсению Несмелову

Вы хитростью таланта не закрыли.
Арсеналы масок — вон!
Играющий стихом, не вы ли
Себе воздвигли хамельонный трон?

И, сжав зрачки, сжимаете насмешно
Гримасам радости раскрытых ртов.
И термин вылушив удой неспешной
(Ведь всё равно придет улов),

Вы шарите по душам человеческим
(К чему мечтать о яростных погонях?
Другим теням к челу не лечь им).
Вы — черт в офицерских погонах.

1920

Цит. по: О. Петровская, В. Силлов. Зрачки весны. Фудзядян (т.е. Харбин), 1921.

Роман на Арбате. В первой публикации («Дальневосточная трибуна», 1921, 20 февраля) датировано 1915 г. Однако у Несмелова обилие автографов одного и того же стихотворения с разными датами делает любую авторскую датировку сомнительной.

Маленькое чудо. В восьмой строке, по-видимому, пропущено слово.

Бронзовые парадоксы. «*Мой пароль — картавлящий Петроний / (Не Кромвель, не Лютер, не Эразм)...*» — т.е. не авторы позднего Возрождения (XVI-XVII веков), а писатель античности. Петроний в данном случае — Гай Петроний Арбитр (ум. 66 по Р.Х.), автор «Сатирикона»,

настойной книги Несмелова; ему отчасти посвящена поэма «Неронов сестерций».

Шутка. *Этуаль* (фр.) — звезда (здесь — «звезда панели»). *Кавас* (или *кабас*) — нечто вроде вампира, чей интерес направлен не на живых людей, а на покойников (см. в рассказах русско-французского писателя Якова Николаевича Горбова (1896-1982), последнего мужа И.В. Одоевцевой). Откуда слово попало к Несмелову — выяснить не удалось.

УСТУПЫ (Владивосток, 1924)

Языков. Николай Михайлович Языков (1803-1846) — русский поэт; последние годы жизни провел в параличе (поставленный ему диагноз был «сухотка спинного мозга»). «*И пью рубиновую малагу!*..» — в стихотворении «Ницца приморская» (1839) Языков писал о Ницце: «Здесь есть и для меня три радостные блага: / Уединенный сад, вид моря и малага». Тем же годом датировано стихотворение «Малага» («В мои былые дни...»). Языкову также принадлежит несколько десятков стихотворений о различных винах и разнообразных сортах пива.

Жерар де Нерваль. *Жерар де Нерваль* (1808-1855) — французский поэт и прозаик; покончил с собой, повесившись в парижском переулке (возможно, был убит).

Морские чудеса. С минимальными разночтениями повторено в сборнике «Полустанок».

Шесть. С минимальными разночтениями повторено в сборнике «Белая флотилия».

«Ты грозно умер, смерть предугадав...». Нет сомнений, что стихотворение посвящено памяти Николая Гумилева (1886-1921), расстрелянного большевиками. «...*смерть предугадав...*» — отсылка к стихотворению Н. Гумилева «Рабочий» («Он стоит пред раскаленным горном...»).

«Трудолюбивым поэтом...». С пунктуационными разночтениями повторено в сборнике «Полустанок».

Тишина. *Палы* — места, где трава выгорела или была выжжена; на Дальнем Востоке корейцы специально выжигают вершины малых сопкок, разводя на них съедобный папоротник (орляк).

Солдат. С незначительными разночтениями повторено в сборнике «Кровавый отблеск».

Анархисты. «...*в охлаждаемую смесь кислот / вливают глицерин...*» — описана технология получения пироксилина, любимого взрывчатого вещества анархистов начала XX века.

Урок. Ранее — в лит.-худ. журнале «Фиал» (Харбин, 1921, № 1), с посвящением Борису Бета (см. прим. к ст-нию «Авантюрист» — сб. «Стихи»).

Бандит. С незначительными разночтениями повторено в сборнике «Кровавый отблеск». *Веблей* — здесь т.н. «револьвер Шерлока Холмса» — шестизарядный, модели 1893 года; в различных модификациях официально находился на вооружении Британской армии с 1887 по 1957 год (см. «Стихи о револьверах» в сб. «Кровавый отблеск»).

Память. Первая публикация Несмелова в СО (1924, № 1); в рецензии на сборник «Уступы» о ней тепло отозвался главный редактор журнала, поэт и прозаик Вивиан Итин.

Лось. Без разночтений повторено в сборнике «Кровавый отблеск».

КРОВАВЫЙ ОТБЛЕСК (Харбин, 1929)

На обложке книги дата «1928», на самом деле сборник вышел осенью 1929 года. Об искажении взятого к книге эпиграфа из стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие...» подробно см. предисловие к наст. изд.

У карты. «12 000» — как и в других местах, у Несмелова для понимания и звучания стиха цифры следует читать как слова, в данном случае — «двенадцать тысяч».

Разведчики. *Вс. Иванов* — Иванов Всеволод Никанорович (1888-1971), поэт и прозаик; в 1920 г. через Корею эмигрировал в Харбин, где, несмотря на эмигрантское положение и антикоммунистические статьи, воспринимался как советский резидент. В феврале 1945 года вернулся в СССР, репрессирован не был. Оставил пространные и до сих пор целиком не изданные воспоминания, в которых рассказывает о периоде до эмиграции и после нее, тщательно обходя сам факт своего пребывания в Китае.

Сова. *Верк* (нем.) — отдельное фортификационное укрепление, входящее в состав крепостных сооружений и способное вести самостоятельную оборону. *Осовец* (правильнее Осовец) — крепость (и деревня) в Гродненской губернии (ныне в Ломжинском воеводстве, Польша), на Волыни, многократно переходившая в годы Первой мировой войны от русских войск к противнику и наоборот. *Верден* — город во Франции на реке Маас, место кровопролитнейшего сражения во время Первой мировой войны.

Стихи о револьверах. «...с капризником автоматом» — т.е. с револьвером, имеющим не ручную, а автоматическую подачу патронов. *Веллодог*, *веблей*, *маузер* — разновидности револьверов времен Первой мировой войны, причем маузер — револьвер немецкого производства, по описанию Несмелова — т.н. маузер калибра 7,7.

Партизаны. Валерий Перелешин писал в воспоминаниях «Об Арсении Несмелове» («Ново-Басманная, 19». М., 1990, с. 666): «Он угадал, например, смысл японской интервенции в Сибири и понял, что целью вмешательства была вовсе не борьба с коммунизмом. В его

«Партизанах» речь идет о защите русской земли от захватчика, и поэт перевоплощается в партизана вообще — будь то белого, будь то красного».

Баллада о Даурском бароне. Опубликовано в СССР (СО, 1927, № 5). *Даурский барон* — барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг (1886-1921), «черный барон» легенд и песен времен гражданской войны. Легенда о том, что Унгерн вместе с любимым вороном появляется в песках пустыни Гоби как призрак, возникла в эмигрантской печати в 1924 году. *Урга* — прежнее название Улан-Батора.

Броневик. Неоднократно печаталось фрагментами (в том числе и в СССР). «*Капнель*» — бронепоезд Белой гвардии, названный по имени главкома Восточного фронта Владимира Оскаровича Каппеля (1883-1920), одного из соратников А.В. Колчака (присвоившего Каппелю чин генерал-лейтенанта), умершего от обморожения еще до выдачи Колчака в Иркутске. «*Дубо!*» (кит.) — «Уходи!» (тж. «Пошли!»).

В ломбарде. «...от генеральской анненской звезды» — орден Св. Анны, учрежденный в память дочери Петра I Анны (сестры будущей императрицы Елизаветы Петровны) в 1735 г. в Германии, появился в России в 1742 году; просуществовал до 1919 года (сохранился приказ А.И. Деникина о награждении орденом Св. Анны III степени «английской службы» лейтенанта Рейдли Сиднея» от 5 января 1919 года); звезда полагалась лишь к первой степени этого ордена, отчего и слова Несмелова: «От генеральской...». «...и в запяленной связке их — Владимир» — орден Св. Владимира был учрежден в 1782 году по случаю двадцатилетия царствования Екатерины II и просуществовал до переворота 1917 года; особенность его заключалась в том, что кавалер ордена Св. Владимира никогда не должен был снимать его знаки; в табели знаков отличия стоял сразу после ордена Св. Георгия; орден Св. Владимира был наградой, с самого момента его учреждения дававшейся исключительно за заслуги и выслугу лет, — отсюда и пренебрежение Несмелова. «...Белеет грозный крест Победоносца» — орден Св. Георгия Победоносца официально был учрежден в 1769 году, однако с 1855 года награждение орденом Св. Георгия IV степени за выслугу лет было прекращено, вместо него офицерам и генералам стали выдавать именно орден Св. Владимира с соответствующей надписью (отсюда противопоставление орденов Св. Владимира и Св. Георгия). М.И. Кутузов в качестве «первого кавалера» известен как первый кавалер всех четырех степеней этого ордена. «Солдатский» георгиевский крест («Святой Егорий») был учрежден в 1807 году, иногда его называли также Георгиевским крестом V степени; с 1856 года солдатский георгиевский крест также получил IV степени. Н.И. Гумилев действительно был удостоен георгиевского креста двух степеней. Несмелов не делает разницы между офицерским и солдатским орденами Св. Георгия.

Восемнадцатому году. «...В броневику, что сделан из углярки, / Из Омска труп умчали егеря» — имеется в виду В.О. Каппель (см. прим. к стихотворению «Броневик») и броневик, позднее получивший его имя.

«...проскачешь ты в году...» — стихотворение оборвано сознательно, хотя младшие современники Несмелова склонны были читать недостающую часть строки как «сороковым». Какое прочтение на самом деле подразумевал автор — установить не удалось.

БЕЗ РОССИИ (Харбин, 1931)

«Свою страну, страну судьбы лихой...». *Райский, Вера* — герои романа И.А. Гончарова «Обрыв» (1870). *Хорь* — персонаж рассказа И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1847). *Саводники* — имеются в виду учебники В.Ф. Саводника (1874-1940) «Краткий курс русской словесности с древнейших времен до конца XVIII века» (1913) и «Очерки по истории русской литературы XIX века» (1906), служившие основным пособием для изучения русской литературы в гимназиях, позднее — в средней школе до конца 20-х годов XX в. *Дьякон Ахилла* — один из героев романа Н.С. Лескова «Соборяне» (1872).

Переходя границу. Об обстоятельствах перехода Несмеловым границы между СССР и Китаем в мае 1924 года см. воспоминания «О себе и о Владивостоке» и «Наш тигр» во втором томе данного издания.

«Женщины живут, как прежде, телом...». «...Ездившим в Лефортово на “Б”» — маршрут юного кадета Арсения Митропольского с Арбата, где жила его семья, в Лефортово, где находился Второй Кадетский корпус, описан совершенно точно, причем в данном случае «Б» — не обозначение маршрута троллейбуса (как в наше время) и даже не трамвая: в те времена по Садовому кольцу под этой литерой ходил маршрут конки. «Темная Немецкая» (ныне Бакунинская) — улица, которую нужно было пересечь, чтобы затем через Язузу попасть в Лефортово; знаменита в основном как место рождения А.С. Пушкина.

«Всё чаще и чаще встречаю умерших... О, нет...». О героях этого стихотворения подробно см. в предисловии.

Пять рукопожатий. В стихотворении точно обозначен возраст собеседника лирического героя: 16 лет. «Но не в Константиновское...» — имеется в виду Константиновское артиллерийское училище; в 1807 году был сформирован Дворянский волонтерный корпус для краткого военного обучения дворян, достигших 16-летнего возраста; в 1859 году корпус был переименован в училище, с 1894 года именовался Константиновским артиллерийским училищем.

Голод. «Американец поглядел в упор...» — вероятно, намек на Герберта Уэллса, чью книгу «Россия во мгле» Несмелов несколько раз изврал в русской харбинской печати.

Встреча первая. *Вс. Иванов* — см. прим. к стих. «Разведчики» (сб. «Кровавый отблеск»).

Встреча вторая. *Василий Казанцев* — историческое лицо; более подробных данных найти не удалось. *Кожанка* — плоская кожаная фляга.

Р.В.15. Название радиопередатчика, которым была оснащена советская радиостанция в Хабаровске, ведшая русское вещание на весь Дальний Восток. Регулярное вещание началось в 1927 году. «Созданный позднее радиосех осуществлял связь с самыми отдаленными районами края от Камчатки до Сахалина, хабаровскую радиостанцию слышали в Чите, Якутске и даже в Японии, Китае и Новой Зеландии. Радио Хабаровска давало в эфир не только информационные, но и литературные передачи, для чего к его работе были привлечены актеры местного театра. Осенью 1927 г. на улицах города были установлены первые громкоговорители» (цит. по: Хабаровский край и Еврейская автономная область: Опыт энцикл. геогр. словаря. Хабаровск, 1995. С. 38).

Тайфун. *В. Логинов* – Василий Степанович Логинов (1891 – 1945 или 1946) – поэт и прозаик; печатался с 1908 года, с 1923 года жил в Харбине. Автор книги стихотворений «Створа триптиха» (Харбин, 1935).

Леонид Ещин. О поэте *Леониде Ещине* см. прим к стих. «Пираты» (сб. «Стихи»). «...генерала *Молчанова*» – военные архивы подтверждают, что Ещин действительно был его адъютантом; *Молчанов* Викторин Михайлович (1886-1975) – полковник армии А.В. Колчака, командир Ижевской отдельной стр. бр. 2-го Уфимского артиллерийского корпуса. С июля 1919 года – начальник Ижевской дивизии. В 1919 году получил ранение в бою под деревней Хараузное Читинской губ. В 1920 году командир 3-го стрелкового корпуса. В том же году произведен атаманом Г. Семеновым в генерал-лейтенанты, однако снял с себя этот чин в Приморье. В ноябре 1921 года участвовал в освобождении Хабаровска (т.н. «Волочаевские дни»), в феврале его армия потерпела поражение под Волочаевкой. Позднее жил в Корее и Маньчжурии, с 1928 года до конца жизни – в США. «*Мару*» – составная частица в названии почти любого японского судна, особенно транспортного; здесь употреблено вместо слова «корабль». *Макленка* – маленькая пушка (прим. А. Несмелова).

«**Я вспомнил Стоход...**». *Стоход* – река на Волыни (близ Луцка), на которой во время Первой мировой войны шли кровопролитные сражения русских и австрийских войск.

Агония. *М. Щербаков* – Щербаков Михаил Васильевич (ок. 1890-1956) – поэт и прозаик. В начале 1920-х годов служил во Владивостоке в правительственном учреждении и редактировал «Крестьянскую газету», а также монархический «Русский край». За два дня до вступления во Владивосток Красной Армии, т.е. 24 октября 1922 года отбыл на пароходе «Лейтенант Дыдымов» в составе большой флотилии с 10 000 беженцев на борту в Шанхай, куда прибыл 7 декабря 1922 года; много лет жил в Шанхае, занимался журналистикой, издал две поэтические книги: «*Vitraux*» (Йокогама, 1923) и «Отгул» (Шанхай, 1944). После войны уехал во Вьетнам, откуда как французский гражданин был эвакуирован. Страдал психическим расстройством, покончил с собой. «...*Сильный, державный, на страх врагам!*...» – парафраза подлинных слов государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни!» на слова В.А. Жуковского; в общепринятом тексте: «Боже, царя храни. / Сильный, держав-

ный, / Царствуй на славу, на славу нам. / Царствуй на страх врагам, / Царь православный. / Боже, Царя, Царя храни». «...как бег “Штандарта”» — «Штандарт» — традиционное название императорского корабля в Российской империи в память первого корабля Балтийского флота «Штандарт» (построен в 1703 г.), наименованного в честь изменения российской геральдики после выхода к Балтийскому морю (двуглавый орел на царском штандарте прежде держал в лапах и клюве карты трех русских морей, а с 1703 года — четырех: Белого, Каспийского, Азовского и Балтийского). Когда в 1727 году по приказу Екатерины I специальная комиссия проверяла состояние судов, «Штандарт» было решено выгнать на берег и отстравировать. Но корпус его уже был поврежден настолько, что при попытке поднять корабль тросами его буквально перерезали на части. Старый «Штандарт» был разобран с указом «В память его имени, которое Его Величеством Петром I было дано, заложить и сделать новый». Имя «Штандарт» давали с тех пор только царским яхтам. В данном случае — построенная в 1909 году любимая яхта Николая II, на которой царская семья проводила много времени в Финском заливе, пока яхта не потерпела крушение в прибрежных шхерах. «...От коронации до Тобольска» — коронация Николая II состоялась в Москве 14 мая 1896 года; 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Последний также подписал Манифест об отречении от престола. С 9 марта по 14 августа 1917 года бывший император и члены его семьи содержались под арестом в Царском селе. В Петрограде усилилось революционное движение, и временное правительство, опасаясь за жизнь царственных арестантов, решило перевезти их в Тобольск. Здесь режим заключения был легче, члены царской семьи вели размеренную жизнь. После октябрьской революции, 30 апреля 1918 года узников перевезли в Екатеринбург, где в ночь на 17 июля 1918 года бывший император, его жена, дети, оставшиеся при них доктор и слуги были расстреляны чекистами. «Милуков из газеты “Речь”...» — Милуков Павел Николаевич (1859-1943) — историк и политический деятель, лидер кадетской партии, главный редактор газеты «Речь», печатного органа кадетов. «...Вильгельм усатый» — Вильгельм II (1859-1941), германский император и прусский король в 1888-1918 годах «...на Дворцовом поле» — т.е. на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. «...Кто-то в Женеве пиво пил» — В.И. Ленин находился в Женеве, в частности, осенью 1905 года во время объявления манифеста 17 октября. «...Мужу в Ливадии посадовничать» — после отречения от престола Николай II действительно хотел остаться в России в качестве частного лица; в Ливадии (южный берег Крыма) располагалась одна из летних резиденций царской семьи. «...Если бы нечисть не принесло, / Запломбированную в вагоне...» — как сообщает Д. Волгонов, «В своих воспоминаниях известный государственный и политический деятель Германии Эрих Людендорф, «военный мозг нации», писал: “Помогая Ленину поехать в Россию (через Германию из Швейцарии в Швецию — Д.В.), наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зре-

ния это предприятие было оправдано. Россию нужно было повалить”». (Д. Волкогонов. «Ленин». М., 1994. Т. 1. С. 198-199). «В заглобированном вагоне» Ленин выехал из Цюриха 27 марта 1917 года; с разрешения немецких властей через Штуттгарт, Франкфурт-на-Майне, Берлин и Зосниц пересек Германию. 30 марта того же года Ленин прибыл в Швецию. Из нейтральной Швеции до русской границы и до Петрограда «вождь» ехал уже вполне цивильно. *Родзянко* – Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924), российский общественный деятель, один из лидеров партии октябристов, монархист, крупный помещик, депутат III и IV Государственных дум. С 1911 – председатель Думы. «...Только сегодня, на завтра – поздно» – парафраза слов Ленина, якобы произнесенных им перед октябрьским переворотом 1917 года.

Две тени. «...Что ворон-де не пойман, / Что вороненок взят» – парафраза слов Емельяна Пугачева из главы 8 «Истории Пугачева» А.С. Пушкина: «Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. – Кто ты таков? – спросил он у самозванца. – Емельян Иванов Пугачев, отвечал тот. – Как же смел ты, вор, назваться государем? – продолжал Панин. – Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по-своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает». «...Другая в сонный Смольный» – Смольный институт благородных девиц (в Санкт-Петербурге) был основан Екатериной II в 1764 году в Воскресном женском монастыре. Просуществовал до 1917 года. Один из флигелей его действительно пользовался дурной репутацией: на рубеже XIX-XX веков «благородные воспитанницы Смольного безумно боялись даже днем подходить к пустующему, наглухо закрытому флигелю института, где по ночам был неоднократно замечен плавно скользящий призрачный силуэт» (газ. «Тайная власть», 1999, № 5). С 25 октября 1917 года по 10 марта 1918 года Смольный институт служил резиденцией Совета народных комиссаров во главе с Лениным, которого Несмелов называет (как здесь, так и в иных произведениях) «наркомом». «*Пепиньерка*» – воспитанница учебного заведения, которая готовилась в наставницы.

«Русская мысль». В данном случае русский ежемесячный журнал, выходивший в 1880-1918 годах в Москве. «...нишет о Муйжеле» – Муйжель Виктор Васильевич (1880-1924), русский прозаик-бытописатель. «...Темнооких не пугает Ленских» – в данном случае не только персонаж «Евгения Онегина», но и второстепенный поэт Владимир Ленский (Абрамович; 1877-1937), о котором, в частности, писал К. Чуковский в статье «Третий сорт».

О России. «Ты близок мне, гигант четырехтрубный!..» – СССР первоначально состояла из четырех республик (Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской).

Белый остров. Стихотворение основано на реальном факте: Соломон Август Андрэ (1854-1897), шведский инженер и полярный исследователь, в 1897 предпринял первую попытку достичь Северного по-

люса на воздушном шаре; экспедиция закончилась трагически. Лишь через тридцать три года норвежское судно «Братвог» обнаружило последний лагерь Андрэ на скованном льдами острове Белом (отсюда название стихотворения) в архипелаге Шпицбергена. Тела воздухоплателей, их дневники и фотопленки были доставлены на родину.

За. Анне – т.е. Анне Александровне Кушель, гражданской жене поэта в Харбине.

Изнеможение. *Анаглиф* – стереоскопическое цветное изображение.

Вперед. «*Что паровоза – милый паровоз! – / Не обскакать паршивцу жеребенку...*» – парафраза строк С.А. Есенина из стихотворения «Сорокоуст» (1920): «А за ним / По большой траве / как на празднике отчаянных гонок, / Тонкие ноги закидывая к голове, / Скачет красногривый жеребенок <...> И за тысячи пудов конской кожи и мяса / Покупают теперь паровоз».

ПОЛУСТАНОК (Харбин, 1938)

«**Уезжающий в Африку или...**». Эпиграф – Евангелие от Матфея, 14:29. *Целебес* – прежнее название о. Сулавеси в Индонезии.

Понужай. *Понужай* (сиб.) – холод, принуждающий человека двигаться, ибо иначе человек замерзает насмерть.

Лодочник. Ср. с рассказом «За рекой» (т. 2 наст. изд.).

Интервенты. Как и перепечатанное с небольшими разночтениями в этом же сборнике стихотворение «Морские чудеса» (см. сб. «Уступы»), относится к владивостокскому периоду творчества поэта: первая публикация его (по словам самого Несмелова, которые подтверждены de visu) имела место в газете «Голос родины» от 4 марта 1920 года под заголовком «Соперники». По утверждению автора, это первое стихотворение, появившееся в печати под псевдонимом «Арсений Несмелов» (см. в воспоминаниях «О себе и о Владивостоке», т. 2 наст. изд.). В наши дни во время американо-югославского конфликта превратилось в популярную песню (в тексте песни ключевая строка была изменена: «Югославский солдат и английский матрос»).

Стихи о Харбине. Современная китайская историческая наука не считает принятую в российской историографии дату основания Харбина (1898) датой основания именно современного города, – в китайской документации впервые упоминается (как поселение) в 1864 году; однако для русских эмигрантов в Харбине факт основания Харбина как железнодорожного центра Маньчжурии возле КВЖД никогда не подвергался сомнению; строился город под руководством русских инженеров, но рабочими на его строительстве были по преимуществу китайцы. «*Назовем – Харбин...*» – современная китайская наука возводит название города к маньчжурскому словосочетанию, означающему «плоский остров» (т.е. такой, каким видится на карте).

Хунхуз. *Хунхуз* (букв. «краснобородый») – разбойник. Иногда для устрашения обывателей хунхузы красили бороды в красный цвет, отсюда и название.

Около Цицикара. *Цицикар* – маньчжурский город; построен в 1691 году к северу от западной ветки КВЖД в 359 км от Харбина. В Цицикаре Несмелов периодически жил в 1925-1928 годах. Довольно мрачное его описание содержится в главе VI поэмы «Нина Гранина».

Песни о Уленшпигеле. Несмелов использует не основную, прижившуюся в России форму имени национального героя Фландрии (Уленшпигель, букв. «зеркало совы»), но приближенную к оригинальной нидерландской, – так же, как и имя его спутника «Ламме Гоодзак» вместо привычного «Гудзак». *В.К. Обухов* – Василий Константинович Обухов (1905-1949), харбинский поэт и прозаик, автор сборника стихотворений «Песчаный берег» (Харбин, 1941). *Вильгельм Оранский* (1533-1584) – деятель нидерландской революции, первый глава независимых Нидерландов. *Герцог Альба* – Альварес де Толедо Фернандо, герцог Альба (1507-1582), испанский полководец, правитель Нидерландов в 1567-1573 годах. Пытался подавить Нидерландскую революцию.

Касьян и Микола. «*И раз в четыре года...*» – День Св. Касьяна отмечается Православной церковью 29 февраля (старого стиля), в високосные годы. Строго говоря, православная церковь отмечает в этот день память не только преподобного Кассиана Римлянина (ум. 435), основателя монастырей в Галлии и борца с несторианами, но и преподобного Монасиана, затворника и постника Печерского, жившего в XII столетии. В народном календаре 29 февраля – т.н. «Касьян-немилостивый», «святой злопамятный, недоброжелательный, отчего его и праздновали раз в 4 года. В этот день и накануне прекращались работы» («Российский историко-бытовой словарь». М., 1999. С. 188); отсюда и сюжет стихотворения. Ср. также: «...у русских широко распространена легенда о путешествии Касьяна и Николая к Богу в рай, во время которого им повстречался мужик, увязивший свой воз посреди дороги. В ответ на просьбу помочь вытащить воз Касьян отказывает мужику, мотивируя отказ боязнь испачкать свои одежды и в грязном виде предстать перед Богом. Николай же, не говоря ни слова, помогает мужику. В раю Бог оценил по достоинству поступок Николая, а в поведении Касьяна усмотрел лукавство, отчего и определил Касьяну быть именинником один раз в четыре года, а св. Николаю два раза в год – за его доброту» (Русский праздник. Иллюстрированная энциклопедия. СПб, 2001. С. 222).

БЕЛАЯ ФЛОТИЛИЯ (Харбин, 1942)

«*Сыплет небо щebetом...*». По свидетельствам современников, Несмелов долго колебался в выборе названия для поэтического сборника-

ка, оказавшегося в его жизни последним; в результате сделанного окончательно выбора именно это двенадцатистишие стало в книге заглавным.

«Ветер обнял тебя. Ветер легкое платье похитил...». *«Галатею изваял Практитель...»* — статуя в Ватикане (прим. А. Несмелова).

Эней и Сивилла (*Из Овидия*). Этот отрывок представляет собой свободное переложение отрывка из четырнадцатой главы «Метаморфоз» Овидия, выполненный, однако, не гекзаметром (как в оригинале), а пятистопным анапестом с чередованием мужских и женских рифм. Для сравнения приводим перевод того же места у Овидия (строки 120-154):

И по обратной стезе утомленным взбирается шагом,
Кумской Сивиллой введом, коротал он в беседе дорогу.
Свой ужасающий путь в полумраке свершая туманном,
Молвил: «Богиня ли ты или божья избранница, только
Будешь всегда для меня божеством! Клянусь, я обязан
Буду навеки тебе и почет окажу фимиамом».
Взор обратив на него, со вздохом пророчица молвит:
«Я не богиня, о нет; священного ладана честью
Смертных не мни почитать. Чтобы ты не блуждал в неизвестном,
Ведай, что вечный мне свет предлагался, скончания чуждый,
Если бы девственность я подарила влюбленному Фебу.
Был он надеждою полн, обольстить уповал он дарами
Сердце мое, — «Выбирай, о кумская дева, что хочешь! —
Молвил, — получишь ты все!» — и, пыли набравши пригоршню,
На бугорок показав, попросила я, глупая, столько
Встретить рождения дней, сколько много в той пыли пылинок.
Я упустила одно: чтоб юной всегда оставаться!
А между тем предлагал он и годы, и вечную юность,
Если откроюсь любви. Но Фебов я дар отвергаю,
В девах навек остаюсь; однако ж счастливейший возраст
Прочь убежал, и пришла, трясущейся поступью, старость
Хилая, — долго ее мне терпеть; уж семь я столетий
Пережила; и еще, чтоб сравниться с той пылью, трехсот я
Жатв дожидаться должна и сборов трехсот виноградных.
Время придет, и меня, столь телом обильную, малой
Долгие сделают дни; сожмутся от старости члены,
Станет ничтожен их вес; никто не поверит, что прежде
Нежно пылали ко мне, что я нравилась богу. Пожалуй,
Феб не узнает и сам — и от прежней любви отречется.
Вот до чего изменюсь! Видна я не буду, но голос
Будут один узнавать, — ибо голос мне судьбы оставят».
Речи такие вела, по тропе подымаясь, Сивилла.

(Перевод С. Шервинского)

«Ушли квириды, надышавшись вздором...». Всё стихотворение построено на образе романа Генрика Сенкевича «Камо грядеши» (1896). *Квириды* (от названия города Куры или от сабинского слова *curis* — «копье»; современная этимология — от *co-vigi-om* — «собрание, сообщество людей») — члены городского римского общественного собрания. *Ростры* (от *лат. gostrum* — «нос корабля») — речь идет об ораторской трибуне, расположенной возле римского Форума. После 338 года до Р.Х. там был выстроен помост, украшенный носами кораблей, захваченных консулом Гаем Мением в морском бою с жителями Антия, — отсюда название. *Нимфея* (правильнее — нимфей; *греч. νιμφαῖον* — святилище нимф) — в античной архитектуре святилище, посвященное нимфам. *В карнифицине* — здесь: в застенке, на месте, предназначенном для пыток. У Несмелова ошибочно «в корнифицине»; видимо, по памяти он спутал должность палача с именем Корнифиция — политика, поэта, современника Катуллы. *Субура* (иначе Субурра) — наиболее многолюдный римский квартал. *В таверне* — т.е. в помещении, в лавке; отсюда позднее слово «таверна». *Авентин* — один из «семи холмов», на которых построен Рим; отделен от прочих долиной. «Священный огонь на Вестином престоле...» — Веста — богиня домашнего очага и огня, горевшего в нем, покровительница государства. В храме Весты не было статуи — ее место занимал огонь, считавшийся вечным и являвшийся воплощением богини. Угасший огонь был дурным предзнаменованием для государства и мог быть разожжен только путем трения древесных палочек.

Сотник Юлий. Эпиграф — из «Деяний апостолов» (XXVII, 1; вторая половина первого стиха). После того как расположенный к Павлу судья решил отправить его из Кесарии в Рим, «отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка, именем Юлию». «Свое внимание к Павлу Юлий проявил еще на пути, когда корабль около острова Мальты сел на мель, а корма разбивалась силою волн и «воины согласились было умертвить узников», чтобы кто-нибудь не выплыл и не убежал. В это время «сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения», и велел умеющим плавать первым броситься на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю (Деяния, XXVII, стихи 41-44)» (Библейская энциклопедия. М., 1991. С. 812). О дальнейшей судьбе сотника в Библии сказано, что в Италии путь «до Аппиевой площади и трех гостиниц» (Деяния, XXVIII, 15) он проделал с большими остановками, а когда путники пришли в Рим, «то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его» (там же, стих 16). О «плахе в Риме» (упомянутой в последней строке стихотворения) Библия умалчивает, временем мученической кончины апостола считается 67 или 68 год после Р.Х., но это уже сведения традиционного Предания, а не Библии. *Калиги* — походная обувь римских воинов, сандалии с кожаными чулками; толстая подошва укреплялась острыми гвоздиками, нога по-

верх чулка переплеталась ремнями сандалий. *Сагум* — короткий плащ римских воинов.

Христианка. «*Рогах фарнезского быка...*» — Несмелов путает античную казнь (привязывание преступников, в том числе христиан, к рогам разъяренного быка) и известную скульптурную группу «Фарнезский бык», обнаруженную в Риме при раскопках терм Каракаллы.

Неразделенность. *Трианон* — дворец, построенный для Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI и королевы Франции, в северо-западной части Версаля. «...*Вот этот скандинавский дворянин*» — имеется в виду шведский дипломат Ханс Аксель фон Ферзен (1755-1810), фаворит Марии-Антуанетты. Один из современников (аноним) записал в 1779 году в дневнике: «Всё самое блестящее и роскошное впитывало сердце этой кокетки [королевы], и, по словам многих очевидцев, граф Ферзен, швед, полностью захватил сердце королевы. Королева... была просто сражена его красотой. Это действительно заметная личность. Высокий, стройный, прекрасно сложен, с глубоким и мягким взглядом, он на самом деле способен произвести впечатление на женщину, которая сама искала ярких потрясений». После того как молва приписала Ферзену отцовство одного из детей Марии-Антуанетты, пошел за благо отбыть в Америку, однако во время Французской революции приехал во Францию и пытался организовать бегство приговоренной королевы. Сохранились письма королевы к Ферзену от 1791-1793 годов, последнее письмо было передано из замка Консьержери 16 октября 1793 года, в ночь накануне казни королевы. Сам Ферзен, после шведской революции 1809 года и отречения от престола Густава IV, действительно был обвинен в заговоре и растерзан толпой.

Беатриче. Вторым проводником Данте в «Божественной комедии» (после Вергилия) становится именно Беатриче, появляющаяся в XXX главе «Чистилища». Позднейшие комментаторы идентифицировали возлюбленную Данте с Беатриче Портинари, которая умерла в 25-летнем возрасте во Флоренции в 1290 году. Исторически она — первая юношеская любовь Данте, воспетая в «Новой жизни».

Разрыв. *Ф.И. Кондратьев*, которому посвящено стихотворение, — лицо неустановленное.

Память. «*Пржемышль, Казимеж, Развадов, / Бои на Висле и на Сане...*» — автор перечисляет места сражений Первой мировой войны: в первой строке перечислены польские города, во второй упомянуты реки Висла, на которой стоит Варшава, и ее приток Сан. «*И более ужасный гром...*» — т.е. гром начала Второй мировой войны, начавшийся именно с раздела Польши Гитлером и Сталиным.

27 августа 1914 года. В заглавии вынесена подлинная дата отбытия на фронт одиннадцатого гренадерского Фанагорийского полка, в составе которого находился А.И. Митропольский. *Брестский вокзал* в Москве — ныне Белорусский.

В затонувшей субмарине. Стихотворение представляет собой развернутый ответ на стихотворение Н. Гумилева «Волшебная скрипка».

В этот день. Неодобрительное стихотворение о февральской революции, приведшей в конце концов к октябрьскому перевороту; вызвало раздраженные отклики в эмигрантской печати. *Кроки* — наброски рисунка или чертежа, здесь в значении «черновики». «...*В этот день маршировали к Думе / Первые восставшие полки!*...» — 28 февраля 1917 года градоначальник Петрограда А.П. Балк и его приближенные на полуразбитом автомобиле были доставлены в помещение Государственной думы. «...*одни городовые / С чердаков вступились за режим!*...» — министр внутренних дел А.Д. Протопопов писал: «27 февраля утром я хотел пройти к брату своему, С.Д. Протопопову, на Калашниковскую наб., д. 30. Идти было трудно. Дойдя до Ямской ул., д. 12, я зашел к портному Ивану Федоровичу Павлову, где оставался до вечера. От него я узнал, что полиция, переодетая в солдатскую форму, занимает верхние этажи домов, стреляя из ружей и пулеметов» (цит. по: Н. Голь. Первоначальствующие лица. СПб, 2001. С. 413). «*В этот день сидел где-то Ленин / В свой запломбированный вагон!*...» — см. прим. к ст. «Агония» (сб. «Без России»).

Цареубийцы. «*Нет, давно мы ночами злыми / Убивали своих царей!*» — автор неожиданно привлекает внимание читателя к тому, что до убийства Николая II (в 1918 году) были убиты Петр III (в 1762 году), Павел I (в 1801 году), Александр II (в 1881 году) — не говоря о временах более давних.

Божий гнев. Конкретный сюжет стихотворения ни с чем достоверно не идентифицируется.

В Нижнеудинске. В конце декабря 1920 года в Нижнеудинске поезд адмирала А.В. Колчака был взят под стражу чехами. 4 января 1920 года по просьбе своих министров Колчак передал права «Верховного правителя» генералу А.И. Деникину. Вечером 15 января в составе эшелона чехословацкого полка вагон с адмиралом прибыл в Иркутск и в тот же день глава французской военной миссии генерал Жанен отдал приказ выдать Колчака эсеровскому Политцентру в обмен на беспрепятственный проезд союзнических отрядов и иностранных военных миссий по Байкальской магистрали. Затем адмирал был передан большевистскому ревкому. С приближением к Иркутску отступавших с боями на восток белогвардейских частей генерала Войцеховского Иркутский РВК получил секретное распоряжение В.И. Ленина о ликвидации Колчака. В 5 часов утра 7 февраля 1920 года адмирал А.В. Колчак вместе с главой своего правительства В.Н. Пепеляевым был расстрелян на берегу реки Ушаковки. Трупы были спущены в прорубь на Ангаре вблизи места впадения в нее Ушаковки. По имеющимся данным, именно в армии Колчака Митропольский-Несмелов получил чин поручика; образ «Адмирала» возникает в его поэзии и прозе многократно.

Жена. «*Он чертыхался. Жил еще Арбатом!*...» — т.е. герой стихотворения вспоминает эпизоды неудачного восстания юнкеров осенью 1917 года, в котором принимал участие и сам Митропольский. Сведе-

ния о первой жене Митропольского отрывочны; дочь поэта от второй жены, Е.А. Худяковской, смутно вспоминала только, что имя первой жены отца было Лидия.

Мои судьям. *Отжесу (одновременно укр. и церк.-слав.)* – отгону.

Цветок. «*Одной маранки дело разбирал...*» – мараны (исп. *maganos*, от араб. *magana alha* – проклятый; у евреев «анусим», т. е. отпавшие от веры по принуждению) – в Испании в Средние века так назывались евреи, официально принявшие господствующую религию (сначала ислам, потом христианство), но втайне сохранившие веру своих отцов; впоследствии название было распространено и на мавров, подобным образом обратившихся в христианство.

Ламоза. *Ламоза* – в китайском просторечии «русский». Русские дети в Маньчжурии иногда попадали в китайские семьи и воспитывались в них, однако кличка «ламоза» обычно так и оставалась с ними на всю жизнь. На Северо-Востоке Китая русских и сейчас называют ламозами.

В лодке. «...*Юнкер Шмитт хотел из пистолета...*» – полудитата из стихотворения Козьмы Пруткова: «Вянет лист. Проходит лето. / Иней серебрится... / Юнкер Шмитт из пистолета / Хочет застрелиться».

«*Ночью думал о том, об этом...*». См. в разделе стихотворений, не вошедших в сборники, прим. к стихотворению «Ясность».

Эпитафия. *Желтоводная река* – Сунгари, река, на которой стоит Харбин (вода в реке насыщена лессовой взвесью).

Книга о Федорове. *Федоров* Николай Федорович (1828–1903) – русский мыслитель-утопист, создатель философии «общего дела» (таким, по Федорову, должно стать полное воскрешение всех когда-либо живших на земле людей). Среди учеников Федорова более других известны К.Э. Циолковский, из числа живших в Харбине ученых и поэтов – Николай Сетницкий (1888–1937), писавший под множеством псевдонимов, но в поэзии известный как *Яков Кормчий*. Под «Книгой о Федорове» Несмелов мог иметь в виду какую-то книгу последнего, либо одну из книг А.К. Горского (1886–1943), жившего в Москве, но печатавшегося в Харбине под псевдонимом Горностаев. Вероятнее всего, имеется в виду книга Н.А. Сетницкого и А.К. Горского «Смертобожничество» (Харбин, 1926) или один из очерков (всего вышло 4, все в Харбине) А.К. Горского «Николай Федорович Федоров и современность» (1928–1933; очерки вышли под псевдонимом А. Остромиров).

Родина. Ранее – Р. 1930, № 1 (без названия; первое стихотворение цикла под заголовком «Из цикла “Память”»). «...*почти через двенадцать лет*» – возможно, имеется в виду дата отъезда из Москвы (март 1918 года). Между тем описывает Несмелов, по всей видимости, не Москву, а Тихвин (см. одноименную поэму и примечания к ней, а также стихотворение, помещенное следом за данным), так что стихотворение может быть отнесено и к 20-м годам.

Новогодняя ночь. *Фабльо* – короткая сатирическая повесть во французской средневековой литературе.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Стихотворения этого раздела даются в порядке приблизительно восстанавливаемой хронологии их написания — с помощью дат на письмах, к которым прилагались автографы, или по первым публикациям. Публикация, по которой печатается текст, указывается после названия. Многие стихотворения этого раздела впервые перепечатываются в современном издании, некоторые публикуются впервые по автографам.

«Померкла туманная линия...». Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива» на 1914 год. Т. II, май–август.

Там («Где гремели пушки...»). ВСт. «Чемодан» — на солдатском разговорном языке — название самых больших германских снарядов.

Над полем («Тихий вечер шепчет над полями...»). Там же.

Австриец («У него почернело лицо...»). Там же. *Вишторко едно* (польск.) — всё равно.

«Скоро утро. Над люнетом...». Там же. *Люнет* — здесь: воен. небольшое укрепление над окопом.

В походе («Эх! тяжела солдатская винтовка...»). Там же. *Полукрупка* — пшеничная мука первого (не высшего) сорта.

Винтовка № 572967 («Две пули след оставили на ложе...»). НА. 1919, 3 октября. *Горки* — в данном случае, вероятно, неидентифицируемый населенный пункт в Уральском регионе; *Ялutorовск* — город к югу от Тюмени; *Шмаково* — вероятно, село Кетовского района Курганской области (иначе Шмаковка), близ тракта Ирбит-Камышлово; *Ирбит* — город к востоку от Екатеринбургa, севернее Тюмени.

Новобранец («Широк мундир английского солдата...»). НА. 1919, 27 октября. *Хлеб* — т.е. хлипок.

Родине («Россия! Из грозного бреда...»). НА. 1919, 31 октября.

Один из многих («Помнишь: вихрь событий...»). ГР. 1920, 6 ноября.

Беженки («В теплушке у жаркой печки...»). Там же.

Любовница («Ах, я устала от этой скромной...»). Источник неизвестен. Печ. по вырезке из владивостокской газеты периода существования ДВР (из собрания А. В. Ревоненко). *Плющиха* — улица в Москве.

Спутник («Ржаная краюха сытна...»). ДО. 1921, 6 марта.

Прикосновения («Мои сады окружены пустыней...»). РО. 1921, № 8-10, август-сентябрь; в составе цикла «В сумерках».

Поющий снег («Падает белый снежок...»). Там же.

Безболь («Зачерпнуло солнце медным диском...»). Там же.

Собакоглавый («Старинная керамика — амфора...»). Там же. *Св. Христофор* жил в III веке, пострадал около 250 года; по преданию, святой первоначально имел красивую наружность, но, желая избег-

нуть соблазнов для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось; на старинных картинах нередко изображался с песьей головой.

В себе («*Проповедую строгую школу...*»). А. 1921, № 6, 27 ноября. *Юкола* – вяленая или копченая рыба у народов Восточной Азии. *Ниобея* (правильнее – Ниоба) – в греческой мифологии дочь малоазийского царя Тантала, жена царя Фив Амфиона. Гордая своими детьми (наиболее распространенное в мифах число детей Ниобеи – семеро сыновей, семеро дочерей), смеялась над богиней Лето, у которой их было только двое – Аполлон и Артемида. В отмщение Аполлон и Артемида поразили стрелами всех детей Ниобеи; от горя Ниобея окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источавшую слезы.

Девка («*Изогнутая, выпячив бедро...*»). СГ. 1922, 1 марта.

Морские (1-6). Там же.

Освищенный поэт («*Грехи отцов и прадедов грехи...*»). Там же.

На блюде («*Облезлый бес, поджав копытца...*»). Ру. 1922, 21 апреля.

Случай («*Вас одевает Ворт или Пакэн?...*»). Ру. 1922, 23 апреля. *Ворт*, Чарльз Фредерик (1825-1895) – основатель парижского дома моды, просуществовавшего до 1945 г.; в конце XIX – начале XX века был поставщиком русского Императорского двора. *Пакэн* – *Пакен* Исидора (1869-1936), первая женщина среди модельеров высшего класса, получившая орден Почетного легиона; работала также для русского императорского двора; глава известной парижской фирмы дамских мод, основанной в 1892. В 1920 отошла от дел. В 1954-м имя фирмы было продано в Англию.

Достоевский («*В углях души шуршит немало змей...*»). СВ. 1923, тетрадь 1-я, март.

Еврейка («*В вас – вечное. Вы знали Вавилон...*»). Там же.

«Я живу в обветшалом доме...». Вставлено в текст воспоминаний «О себе и о Владивостоке» (см. т. 2. наст. изд.). Прижизненная публикация неизвестна. Впервые – в составе воспоминаний во владивостокском альманахе «Рубеж» (1995, № 2/864). «*Костер*» – книга стихотворений Н. Гумилева (1918).

Кладбище на Улиссе («*Подует ветер из проклятых нор...*»). Там же. Прижизненная публикация неизвестна. В сражении при Чемульпо 8 февраля 1904 году крейсер «Варяг» получил тяжелые повреждения, 33 человека погибло. В память о Чемульпинском сражении установлен памятник близ Владивостока на морском кладбище (куда в 1911 г. были перевезены из Кореи останки погибших).

«Ветки качались с усталым шумом...». Прижизненная публикация неизвестна. Прислано Е.А. Васильевой (ум. 1979), более известной под псевдонимом «Юрка», – детской писательницей, у которой с Несмеловым был довольно продолжительный роман около 1929-1930 годов; к ней обращена значительная часть его лирики этого периода. На автографе неизвестной рукой проставлено: «Владивосток, 192?».

Легенда о драконе («Уже утрачено...»). СО. 1927, № 3. Позднее печаталось и в эмиграции; известна харбинская публикация (Р. 1930, № 38), оставшаяся недоступной для составителей, но были, очевидно, и другие. В частности, Е.Ф. Индриксон по памяти записал текст этого стихотворения, где «Янцзе» было заменено на правильное «Янцзы». Приводим последнюю строфу стихотворения по записи Е.Ф. Индриксона:

Горячий ветер треплет парусину,
Рокочет туча танками грозы,
И выгибает медленную спину
Дракон крылатый – голубой Янцзы.

За 800 верст («Гор обугленные горбы...»). ВР. 1927, № 11-12. Название не совсем понятно, поскольку стихотворение обращено к Марине Цветаевой, а 800 верст с натяжкой можно толковать разве что как расстояние от Владивостока до Харбина; возможна, впрочем, и связь с поэтическим сборником Цветаевой «Версты», о чем см. ниже. Во времена переписки с Несмеловым (видимо, недолговременной) в конце двадцатых годов Цветаева жила во Франции, откуда до Дальнего Востока – существенно больше, чем 800 верст (и даже больше, чем 8 000 верст, если вкралась опечатка). Эпиграф – из стихотворения М. Цветаевой «Идешь, на меня похожий...» (3 мая 1913 г.). «Звонят ли в Москве колокола?..» – ср. у Цветаевой: «У меня в Москве – колокола звонят...» в стихотворении «У меня в Москве – купола горят...» (№ 5 из цикла «Стихи к Блоку», 7 мая 1916 года) из сборника «Версты» (М., 1922). *Бухта Улисс*, возле которой жил Несмелов в 1923 году, расположена к югу от Владивостока.

«Я одинок, без близких и друзей...». Приложено к письму от 26 августа 1927 года (РГАЛИ, фонд № 2475 /журнал «Звено»/, опись 1, е.х. 334). Прижизненная публикация неизвестна. Впервые – «Новый журнал» (№ 200, сент. 1995).

Самое обыкновенное («На Каланчевской пять, квартира три...»). Там же. Прижизненная публикация неизвестна.

Туман («Глухое “у-у” закинуто протяжной...»). Р (вырезка с пометкой «1928», номер не установлен).

Голубая княжна («В отеле, где пьяный джесс...»). Автограф (архив И.А. Якушева). Прижизненная публикация неизвестна. Впервые – «Рубеж» (1995, № 2). *Джесс* – т.е. джаз. *Прэссес (фр.)* – т.е. княжна. *Чосен-банк* – большой банк в Харбине. «И с Рюриком общий предок...» – т.е. род княжны восходит к Рюриковичам. Со смертью царя Федора Иоанновича (1598) династия Рюриковичей прекратилась, но отдельные княжеские фамилии продолжали существовать и до нашего времени; всего сохранившихся родов Рюриковичей насчитывается до четырехсот.

«У причалов остроухий пинчер...». Автограф (архив И.А. Якушева). Прижизненная публикация неизвестна.

Полковой врач (*«Умирает ли в тифе лиса...»*). Автограф (архив И.А. Якушева). Прижизненная публикация неизвестна.

Узоры памяти (*«Я пишу рассказы...»*). Р. 1929, № 1. *«...в сумском мундире»* — см. прим. к рассказу «Исповедь убийцы» (т. 2. наст. изд.). *Ментик* — короткая гусарская куртка со шнурками. *Лядунка* — сумка для патронов, носимая на перевязи через плечо.

«Льстивый ветер целует в уста...». ЛА. 1939, № 5; вторая часть цикла «Лето». Ранее — Р. 1929, № 2; первая часть «триптиха» под общим заголовком «Ветер разлук»; под № 2 было опубликовано стихотворение «Как в агонии вздрагивает дом...» (вошло в сб. «Без России»), под № 3 — стихотворение «Вышел в запас...» (см. ниже). *Куунджи* Архип Иванович (1842-1910) — русский пейзажист.

«Вышел в запас...». Р. 1929, № 2; третья часть «триптиха» под общим заголовком «Ветер разлук». *«Тигровой смертью дум-думкой...»* — дум-дум — пули с неполной или надпиленной оболочкой, легко разворачивающиеся или сплюсывающиеся в человеческом теле. Причиняли тяжелые ранения. Впервые применены английской армией в англо-бурской войне 1899-1902 годов, позже использовались некоторыми другими армиями. Названы по месту изготовления — предместью г. Калькутты Дум-Дум (правильно Дамдам).

Сон про Кота-Мурлыку (*«Ты любишь кошку, ласковый звереныш...»*). Р. 1929, № 16.

После дождя (*«Чем, мураш, застыл на пальце...»*). «Юный Читатель Рубежа». 1930, апрель. Сообщено Е. А. Васильевой.

Весенний дольщик (*«Объективно ничтожны признаки...»*). П. 1930, № 1. Посвящено главному редактору «Понедельника» Михаилу Щербачеву (см. прим. к стих. «Агония» из сб. «Без России»).

«Последний рубль дорог...». Там же. Стихотворение обрело «вторую жизнь», бытуя среди советских политзаключенных. В начале 1950 годов поэт Роман Сеф выучил его в пересыльной тюрьме в Караганде со слов Б. С. Румянцева, бывшего директора русской гимназии в Шанхае. В книге «Без Москвы, без России» печаталось (как и предыдущее) по записи Р. Сефа.

За разрубленные узлы (*«Снова солнце обращает в воду...»*). ВС. 1930, № 9. По названию этого стихотворения Несмелов хотел озаглавить свою очередную поэтическую книгу (аннотация — на последней странице сборника «Без России»).

Приятель (*«Загорел за лето на песке...»*). Р. 1930, № 35. Посвящено поэту Николаю Шилову (ум. 1936), известному преимущественно стихотворными фельетонами. *Келлог* Франк Биллингс (1856-1937) — государственный секретарь США в 1925—1929 гг., лауреат Нобелевской премии мира (1929).

Отход (*«Какой-то зверь — быть может, тигр...»*). Р. 1930, № 43.

Моему «Ундервуду» (*«Традиции непреложны...»*). Р. 1930, № 46.

Тихий Сочельник (*«Как вечер тих, как вечер долог...»*). Р. 1931, № 2.

Любовь («Сильный зверь о любви рычал...»). Р (вырезка). 1931, номер не установлен.

Любовь («Любовь — как в пропасть. С кручи, от погони...»). Р (вырезка). 1931, номер не установлен.

Ясность («В этой комнате много солнца...»). Р (вырезка). 1930-1931 годы, номер не установлен. Последние три строфы («Ночью думал о том, об этом...» и далее) вошли в сборник «Белая флотилия» (Харбин, 1942) как отдельное стихотворение.

Давно ли? («Давно ли в форточку мороз...»). Р (вырезка, определено по особенностям шрифтов издания). Год и номер не установлены.

На той половине Луны («От той половины Луны...»). Р. 1931, № 51.

Полдень («Золотые искры на коже...»). Р. 1931, № 52.

Колдовство («Прислушалась — и отложила книгу...»). Там же.

Кончина («Карандашом по карте водит...»). Р. 1936, № 6. Ранее — ВР. 1931, № 5/6 (под заглавием «Эмигрант»).

«На много лет, увы, я старше вас...». Архивная копия (из собрания Е.А. Васильевой). Прижизненная публикация неизвестна.

«День отошел. Отяжелевший, лег...». Архивная копия (из собрания Е.А. Васильевой). Аутентичная прижизненная публикация неизвестна. «Еще Гомеру ведомое имя...» — Елена, имя Васильевой. Существует публикация этого стихотворения в ЛА (1945, № 12; в том же номере опубликован рассказ Несмелова «Судьба»), однако за подписью «Елена Даль». В пользу авторства Несмелова говорят следующие факты: у Е. Васильевой хранился автограф стихотворения (времен ее романа с Несмеловым) со строго указанной датой; в публикации 1945 года строки 10-12 выглядят следующим образом:

Пока живет еще святая память
Несбывшейся надежды о большом,
И ввергнувшее душу точно в пламя.

Кроме того, две последние строки в публикации выглядят так:

А мне, как заговорщице — беречь
Еще кому-то ведомое имя.

Иначе говоря — вытравлены все следы того, что стихотворение посвящено мужчиной женщине. Это не единственный случай, когда стихи Несмелова попадали в печать под чужой фамилией (об этом см. в предисловии). О Елене Даль (Плаксеевой) известно мало: с 1922 года жила в Харбине, в 1940-х годах ее стихи печатались в «Рубеже» и «Луче Азии», в альманахах «Прибой» и «У родных рубежей». «На конкурсе русских поэтов, проживающих в Маньчжу-Ди-Го, устроенном весной 1941 года, получила вторую премию по разделу национальной героики» («У родных рубежей». Харбин, 1942. Вып. 2. С. 125.) О появлении фиктивных поэтических звезд на литературном небосклоне Харбина см. в рассказе «Поэтесса Верочка» (т. 2 наст. изд.).

«Не случайно... Был намечен выбор...». Архивная копия (из собрания Е. А. Васильевой). Прижизненная публикация неизвестна.

Северное сияние («Хорошо на легких лыжах...»). Автограф (собрание Е.А. Васильевой). Опубликовано — Р. 1937, № 2 (под заголовком «На святках»). **«Аракчеевским кадетом...»** — Митропольский окончил в 1908 году Нижегородский Аракчеевский корпус.

«Так разворачивается пружина...». Р. 1932, № 3.

На заданные рифмы («Постукивая точным молоточком...»). Р. 1932, № 8.

В Китае («Узкие окна. Фонарика...»). «Азия», 1932, № 2, апрель. **«Храм с девятнадцатью Буддами...»** — девятнадцать — одно из священных чисел буддизма; в некоторых буддийских храмах девятнадцать лотосов отмечают места, где Будда останавливался во время медитации; в некоторых может находиться именно девятнадцать изображений Будды.

Плавунья («Вытягиваясь, — в преломленьи струй...»). Р. 1932, № 32.

У предела («Изгнание, безвыходность... Пустое!...»). Р. 1932, № 35.

«Свет зажжен. Журнал разрезан...». Р. 1932, № 40.

Орбита («Ты, молчаливый, изведal много...»). Р. 1932, № 43.

Из китайского альбома (I—III). Номер I — Ф. 1932, № 2 (без заглавия, с указанием места написания — «Харбин»); остальные — Ру. 1932, 4 сентября.

Формула бессмертия («Какой-то срок, убийственная дата...»). Р. 1933, № 5.

Зеленоглазому врагу («Так пощипывает холод...»). Р. 1933, № 14.

Десятилетним («Мне последовать пора бы...»). Р. 1933, № 38. **«Так и Петр, еще ребенок, / С дядькой Зотовым...»** — Зотов Никита Моисеевич (ум. 1718) — учитель Петра Великого, сопровождал царя в Азовском походе, причем, по словам Петра, «был в непрерывных трудах письменных распрашиванием многих языков и иными делами».

Без («Бестрепетность. Доверчивость руки...»). Р. 1933, № 39.

Мой удар («Когда придет пора сразиться...»). Р. 1933, № 44.

Расстрелянные сердца («Выплывут из памяти муаровой...»). Р. 1934, № 7.

Созревшая осень («Окно откроем и не надо...»). Р. 1934, № 42. Эпиграф — из стихотворения Уолта Уитмена «Когда я услышал к концу дня» (перевод К. Чуковского). **Джампер** (уст.) — джемпер.

Возвращение («Юноша, как яблоко, румян...»). Р. 1934, № 44.

«Опустошен, изжеван, как окурок...». Р. 1934, № 46. **Нурок** — автор известного в начале XX века учебника английского языка. **«The boy is good. The book is very bad»** (англ.) — «Мальчик хороший. Книга очень плохая».

Грядя («Щетина зеленого лука...»). Ф. 1935, № 14.

«Над обрывом, рыж и вылощен...». Р. 1935, № 31.

«Бывают золотые вечера...». Р. 1935, № 45.

«С головой под одеяло...». Р. 1935, № 48.

«Пустой начинаю строчкой...». «Строфы века» (сост. Е. Евтушенко. Москва-Минск, 1995) по автографу (РГАЛИ). Первая достоверная публикация – «Антология поэзии Дальнего Востока» (Хабаровск, 1967; без четвертой строфы). Прижизненная публикация неизвестна. В автографе под стихотворением дата «1935», вызывающая сомнения (известны другие варианты датировки). *Чифу* (совр. Яньтай) – город в Китае, в провинции Шэньдун, порт на Желтом море. *«Последний великий князь...»* – по всей видимости, весьма популярный в эмиграции (не в последнюю очередь – благодаря множеству портретов) Николай Николаевич Романов «Длинный» (1856 – 23.12.1928 или 1929), Великий князь, дядя императора Николая II, главнокомандующий русской армией в Первой мировой войне, значительной частью эмиграции признававшийся главой императорского дома (в противоположность сторонникам вел. кн. Кирилла Владимировича, лишённого Николаем II права на передачу своего титула потомкам); именовался не иначе как «великим национальным вождём» России.

Юли-юли (*«Мне душно от зоркой боли...»*). Р. 1936, № 7. *Юли-юли* – «Так в этом городе (во Владивостоке – *Е. В.*) называются и самое суденышко, и его капитан-китаец (он же и вся команда), орудующий – *юлящий* – кормовым веслом» («Наш тигр»).

«Пусть одиночество мое сегодня...». Р. 1936, № 8.

«Вниз уводят восемь ступеней...». Р. 1936, № 11. *«...болтливый кокаин»* – Валерий Перелешин в книге воспоминаний «Два полустанка» (Амстердам, 1987) пишет о процедуре покупки кокаина в Харбине и последующем действии наркотика: «В воротах приоткрывалось окошечко, смуглая рука корейца сгребала деньги и оставляла на узенькой полочке понюшку кокаина. <...> После “нюхнеуса” все сразу захотели говорить, причем говорили умно, увлекательно» (с. 51-52).

Над морем (*«...Душит мгла из шорохов и свиста...»*). Р. 1936, № 25.

«Лечь, как ложится камень...». Р. 1936, № 33.

Из потерянной поэмы (*«...Двойную тяжесть мы с тобой несем...»*). Р. 1936, № 37.

Мы свято верим в тебя, Россия! (*«Христос Воскресе! – сквозь...»*). ЛА. 1936, № 3.

Подвиг (*«Обозный люд, ленив и беззаботен...»*). ЛА. 1936, № 10. *Сахотин* – городок на территории Австро-Венгрии (ныне в Словакии), где действительно имело место сражение, описанное Несмеловым. *Атаман Семенов* – Семенов Григорий Михайлович (1890-1946), атаман Сибирского казачьего войска. В 1917 поднял антисоветское восстание в Забайкалье. Преемник администрации Колчака. В 1945 году захвачен советскими войсками в Маньчжурии и казнен в Москве.

Бедности (*«Требуй, Бедность, выкупа любого...»*). «Ковчег» (Нью-Йорк, 1942). Для публикации (по автографу) было передано П. П. Балакшиным (1898-1990), находившимся с Несмеловым в переписке в 1936-1937 годах.

За океан («Из русской беженки возвысьсь...»). Копия автографа (послано В. Перелешину П. Балакшиным из США). Прижизненная публикация неизвестна. Адресат стихотворения – поэтесса *Тамара Андреева*: в конце 1920-х она переехала в США, жила в Калифорнии, продолжала печататься в русских изданиях Китая.

«Сегодня я выскажу вам...». Машинопись с правкой от руки (послано Несмеловым в Сан-Франциско П.П. Балакшину для альм. «Земля Колумба»). Прижизненная публикация неизвестна. В сохранившейся переписке Несмелова с Балакшиным не упоминается. Условно может датироваться 1936-1937 годами. По всей видимости, это единственное сохранившееся стихотворение Несмелова, написанное верлибром. В машинописи после девятой строфы еще одна, перечеркнутая от руки:

Да,
Одновременно
Я испытываю к вам
Отвращение и любовь,
И, чтобы истребить ее,
Я буду вынужден когда-нибудь
Уничтожить вас.

Письмо («Листик, вырванный из тетрадки...»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна. Судя по письмам А. Несмелова П. Балакшину, которому было послано это стихотворение, он опасался его публикации и просил напечатать под малоизвестным псевдонимом «Арсений Бибиков».

«Ходил поэт и думал: я хороший...». Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна.

Тень («Весь выцветший, весь выгоревший. В этом...»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна.

Призраки («Как недоверчиво и косо...»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна. *Трубецкой Павел* (Паоло) Петрович (1866-1938), итальянско-русский скульптор, анималист, портретист. Представитель импрессионизма. Известен его конный памятник Александру III в Петербурге, открыт в 1909 (на Знаменской площади), ныне временно установлен близ Летнего сада.

Состязание богов («Две тысячи упавших лет...»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна. Сюжет взят из «Метаморфоз» Овидия (XI; 85-193). «*Властитель Фракии Мидас*...» – в греческой мифологии царь Фригии (не Фракии!) Мидас был одним из судей на музыкальном состязании между Аполлоном, игравшим на кифаре, и Паном (вариант – силеном Марсием), игравшим на флейте; признал победителем Пана, за что Аполлон наградил его ослиными ушами. *Тмол* – горный хребет в Лидии; согласно греческой легенде Тмол, бог этих гор, также был судьей на поединке

между Аполлоном и Паном. «...пурпур Тира» — Тир — финикийский приморский город, еще во времена Римской империи считался центром красильного дела; пурпур, извлекаемый из пурпураносных улиток, традиционно считается финикийским изобретением. «...бог делосский» — Аполлон; согласно мифу, на острове Делос (совр. Дилос) в Эгейском море Лето (Латона), дочь титанов Коя и Фебы, родила от Зевса Аполлона и Артемиду.

Новогодние вирши («Говорит редактор важно...»). Р. 1937, № 1. «...с Серовым / Гнется та же Манжелей...» — Серов и Манжелей — известные в Харбине танцовщики (прим. В. Перелешина).

С Новым Годом!.. (« — С Новым Годом! — глаза в глаза...»). Там же. «Я люблю, поднявшись рано...». Р. 1937, № 25.

«Ты» и «Вы» («Вода и небо. Море и песок...»). Там же. Подпись: «С. Трельский», что вполне достоверно указывает на авторство: довольно часто Несмелов использовал в своих рассказах псевдоним Мпольский; другая анаграмма той же фамилии дает «АрСений МиТРОпольСКИЙ». На авторство Несмелова указывает и текстовая фактура стихотворения.

В новогоднее плавание («От январской пристани опять...»). Р. 1938, № 1.

Сны («Ночью молодость снилась. Давнишний...»). Р. 1938, № 30.

Стрекоза и муравей («Во дворе, перед навесом...»). Р. 1938, № 48.

Построечники («Бороды прокурены...»). Автограф (собрание А. Чернышева). Дата под стихотворением: 1938. Примечание В. Перелешина: «И.Я. Чурин и К°» — большой универсальный магазин в Харбине, на углу Новоторговой улицы и Большого проспекта. Дальше по Большому проспекту находилось маленькое Старое кладбище, а еще дальше по прямой линии — обширное Новое кладбище. Технически вместо «умер» говорилось в Харбине «унесли за Чурина». «Вспоминают Хорвата...» — Дмитрий Леонидович Хорват (1859-1937), управляющий КВЖД в 1902-1922 годах, с 1911 года — генерал-лейтенант. Последние 15 лет жизни провел в Пекине. Время его «правления» на КВЖД современники нередко именовали «Счастливой Хорватией».

Наша весна («Еще с Хингана ветер свеж...»). Р. 1939, № 12. Хинган — здесь: Большой Хинган, меридиональный хребет в западном регионе Маньчжурии. Манза (кит.) — букв. «дикий», «дикий человек»; в данном случае — «житель дикого края».

Молодая весна («От натопленных комнат...») Там же.

Карпаты («Карпатские горы, гранитное темя...»). Р. 1939, № 13.

Дымы («Час выхода нелюдимый...»). Р. 1939, № 37.

В Кремле («Глядят былого лики...»). ЛА. 1939, № 3.

«Оправленный на гребнях в серебро...». ЛА. 1939, № 5, третья часть цикла «Лето». Первая часть, «Сыплет небо щebetом...», вошла в сб. «Белая флотилия»; вторая, «Льстивый ветер целует в уста...», — см. ст. 221 наст. изд.; четвертая, «На небе намазана зелень...», вошла в цикл «Морские» под № 2.

Слепец («По улице, где мечутся авто...»). ЛА. 1939, № 6.

В закатный час («Сияет вечер благостностью кроткой...»). ЛА. 1939, № 8.

В сентябре («Сквозящий солнцем, редкий березняк...»). Там же.

В вагоне (I–IV). ЛА. 1939, № 12. В конце публикации, вплотную к последней строчке, добавлено ни с чем не рифмующееся двестишье: «Я жить не желаю в грядущем, / Мне сладок прошедшего бред». Отрывок ли это утраченной строфы, шутка ли наборщика или самого Несмелова — нет возможности установить. «А к чаю депревский коньяк...» — т.е. коньяк французской виноторговой фирмы Депре (т.н. «коньяк № 184»); впрочем, в Москве, помимо подлинной фирмы Карла Депре, вела торговлю и фирма Цезаря Депре, фальсифицировавшая вина с полным на то правом: ее номинальный директор имел ту же фамилию, что и французский виноторговец; подробнее об этом см. в книге В. Гиляровского «Москва и москвичи».

Последний вечер («Вечер, ночь ли — длится, длится...»). Р. 1940, № 1.

Стихи в письме («С Новым Годом!.. Как большие льдины...»). Там же.

Янусу («Раз в году пишу стихотворенье...»). Там же.

Всё равно («Всё равно осталось жизни мало...»). Р. 1940, № 47.

Москва Пасхальная («В тихих звонах отошла страстная...»). ЛА. 1940, № 4.

Как на Россию непохоже («Объятый дымкою лиловой...»). ЛА. 1940, № 7. Характерно место публикации этого стихотворения — прояпонский ежемесячник «Луч Азии», для которого оно было написано, без сомнения, специально.

Мужества требует год... («Муза моя, возврати...»). Р. 1941, № 1. Подзаголовок «Из Овидия» — по-видимому, мистификация.

Мишка-воришка («В лесу гуляет Миша...»). Автограф (приложено к письму Несмелова Л. Хаиндровой от 22 февраля 1940 года). Прижизненная публикация неизвестна. *Татьяна Сереброва* — дочь поэтессы Лидии Хаиндровой (1910–1986). Переписка Несмелова с Хаиндровой, начавшись в середине тридцатых годов, оборвалась в марте 1943 года.

Тайфун («Я живу под самой крышей...»). Автограф (собрание Л. Хаиндровой). *Виктрола* — почти то же, что патефон (однако выпуска фирмы «Виктор», более известной в Харбине, чем продукция фирмы «Братья Пате», от фамилии которых и происходит слово «патефон»).

Муха («В осень, стонавшую глухо...»). Автограф (собрание Л. Хаиндровой).

Божья елка («Говорила богомолка...»). Р. 1941, № 2.

Суворовское знамя («Отступить! — и замолчали пушки...»). Р. 1941, № 13.

Иная любовь («Хорошо ли мы живем иль худо...»). Р. 1941, № 17.

Античный мотив («Цезарь на Форуме статуи ставит любимым...»). Р. 1941, № 27. Печ. по: Р. 1944. № 36.

Без роз («*В граненый ствол скользнула пуля...*»). Р. 1941, № 31. Написано к столетию со дня гибели М.Ю. Лермонтова.

Гумилев («*Прекрасен строгий образ Гумилева...*»). Р. 1941, № 36. Эпиграф — заключительная строфа стихотворения Н.С. Гумилева «Наступление» из сборника «Колчан» (1916). «*Золотое сердце России / Мерно билось в груди его...*» — В оригинале вместо «его» — «моей», эти строки предшествуют вынесенным в эпиграф к данному стихотворению.

«Воскресенье. Кружку пива...». Р. 1941, № 40.

Снежное утро («*Совсем не так: не пух, не пудра...*»). Р. 1941, № 46.

Старая рифма («*Есть два слова: счастье и участие...*»). Р. 1941, № 49.

Предвесеннее («*Всё розоватей, дымней...*»). ЛА. 1941, № 1.

Русская, широкая («*На столе большом, широком...*»). ЛА. 1941, № 2.

Старый знакомец (I—VI). ЛА. 1941, № 4. *Ламатай* (букв. кит. храм лампы) — так среди китайцев именовался Свято-Николаевский собор, возведенный в 1899 году первыми строителями КВЖД и взорванный хунвейбинами в 1966 году. Как нарицательное, название сохранилось среди харбинцев старшего поколения по сей день.

На Сунгари («*Диоген, дремавший в бочке...*»). ЛА. 1941, № 5.

Ремесло поэта («*Говорят о ремесле поэта...*»). Р. 1942, № 28.

Старый дом («*Крысы покидали дом недаром...*»). Р. 1942, № 31.

Возмездие («*Я потерял тебя давным-давно...*»). Р. 1942, № 38.

Встречи («*У автобусной стоянки...*»). Р. 1942, № 39.

Бронзовый воин («*Ты знаками различий удостоен...*»). Р. 1942, № 44.

В четвертой строке явная опечатка: «*Перед которой...*». «*Иль острова, где умер добрый Пан...*» — остров Санта-Декка на пути из Италии в Грецию. Ср.: «Пан — единственный бог, который умер в наше время. Весть о его смерти принес некто Тамус, плывший в Италию мимо острова Паксы. Божественный голос прокричал через море: «Тамус, ты здесь? Когда ты прибудешь в Палодес, не забудь объявить, что великий бог Пан умер!» Так Тамус и сделал, и весть эта на берегу была встречена всеобщим плачем» (Плутарх. «Почему оракулы молчат», гл. 17). *Корникула* (или *корникул*, лат.) — рожок, почетный знак; помещался на шлеме (т.е. герой стихотворения — корникуларий, солдат, награжденный почетным рожком, назначенный на младшую командную должность; на сгибе локтя у него шлем, — отсюда строка: «*И подарил пернатый этот шлем*»). В журнальной публикации слово проставлено с ошибкой — «карникула». «*Когда таран врата Иерусалима / Разбил, как скорлупу, напополам!*» — имеется в виду падение Иерусалима при императоре Тите в 70 г. по Р.Х.

Дед-Мороз («*Ты послушай, шалунишка славный...*»). «Заря». 1942, 7 января.

Тральщик «Китобой» («*Это — не напыщенная ода...*»). ЛА. 1942, № 3. Стихотворение основано на историческом факте. Во время Кронштадтского восстания, 13 июня 1919 года один из небольших кораблей, вышедший в дозор, а именно тральщик «Китобой», был уведен ко-

мандиром сперва к форту «Красная горка», а затем в открытое море и далее в Копенгаген.

В гостях у полковника («Люблю февраль, когда прибавит дня...»). Р. 1943, № 6. Печ. по: Лира (Харбин, 1945).

В вагоне («В вагоне опускают полки...»). Р. 1943, № 8. Дозоо (японск.) – пожалуйста. Арагато! (японск.) – спасибо (нейтральная форма вежливости).

О детской молитве («Мы молимся в битве...»). Р. 1943, № 14.

Начало книги («Живущие в грохоте зычном...»). Р. 1943, № 26. Вероятно, стихотворение должно было стоять как вступительное в сборнике Несмелова, который он собирался издать после «Белой флотилии» (см. предисловие).

Пушкинский мотив («Поэтам часто говорят с укором...»). Р. 1943, № 27. Эпиграф – первая строка стихотворения А.С. Пушкина (осень 1830 г.).

Старое кладбище (I–III). Р. 1943, № 32.

Герань («Вот послушай: осенью недавней...»). Р. 1943, № 33. Печ. по: Лира (Харбин, 1945). Автограф – в собрании Л. Хаиндровой, с незначительными различиями. Источник, из которого взят эпиграф за подписью «Б. Пастернак», разыскать не удалось.

Двадцатая годовщина («Из зеленой воды поднималась рука...»). Р. 1944, № 14; под заголовком «Далекому вечеру». Автограф, по которому уточнен текст и название, – в собрании Л. Хаиндровой.

Пьяный визитер («У твоей звоню я двери...»). Автограф (приложено к последнему письму Несмелова к Л. Хаиндровой от 15 апреля 1943 г.).

Последний путь («Был ярк полдень. Обжигало...»). «Светлое кольцо» (Харбин, 1944). Сборник посвящен памяти поэтессы Нины К. Завадской (апрель 1928, Харбин – 18 ноября 1943, Харбин), скончавшейся от тифа. Посмертно вышел вышеназванный сборник, включивший стихи самой Завадской и стихи, написанные ее памяти.

Часовщик («Зимний день светил в окошке скупо...»). Р. 1944, № 3.

Великим постом («Как говорит внимательный анализ...»). Р. 1944, № 9.

Жена гусара («Говорит она, что ей тридцать лет...»). Р. 1944, № 10. В автографе, хранившемся в собрании бывшего редактора «Рубежа» М.С. Рокотова (Бибинова), над текстом был проставлен эпиграф: «Слышен звук фанфар, / Слышен марш полковой».

О старом мастере («Не рыцарь, неловкий латник...»). Р. 1944, № 11.

От друга («Возле печки обветшалой...»). Р. 1944, № 13. На сборнике «Полустанок» есть пометка: «Харбин, издательство А.З. Бельшева, отпечатано 20 августа 1938». Памяти А.З. Бельшева посвящены также стихотворения «Полгода» и «Год», т.е. дата смерти Бельшева – начало 1944 года. Между тем в 1938 году А.З. Бельшев издал в Харбине книгу собственных стихотворений «Мудрость бытия»; есть косвенные данные, позволяющие предположить, что к редактированию

стихотворений этой книги Несмелов приложил руку (см. упоминание о человеке, которого Несмелов называл «мой мужичок», в воспоминаниях Валерия Перелешина «Об Арсении Несмелове» — «Ново-Басманная, 19». М., 1990).

Тихие радости («Засунгарийские просторы...»). Р. 1944, № 19.

Новая рифма («Ты упорен, мастеру ты равен...»). Р. 1944, № 21.

Ненастье («Золотая маньчжурская осень...»). Р. 1944, № 27.

У чужого окна («У приятеля свет в окне...»). Р. 1944, № 30.

Полгода («Вот полгода, как мы расстались...»). Там же.

Азия и Европа («Как двух сестер задумал их Господь...»). Р. 1944, № 35.

Старые погоны («Сохранились у меня погоны...»). ЛА. 1944, № 3. Несмелов описывает погоны поручика — этот чин поэт получил в Омске, находясь в армии А.В. Колчака.

Старик («В газете и то и это...»). ЛА. 1944, № 4.

Зубры («Жили зубры в Беловежской пуще...»). ЛА. 1944, № 5. Строго говоря, последний зубр в Беловежской Пуще был убит 9 февраля 1921 года польским лесником Варфоломеем Шпаковичем.

Рассказ об осажденных («Гезов («Е» произносите мягко...»). ЛА. 1944, № 13.

Как пароход от пристани («В эту ночь...»). Р. 1945, № 1.

Увозят зиму («Дни о весне не лгут...»). Р. 1945, № 3.

В полночь («От фонаря до фонаря — верста...»). Р. 1945, № 4.

Ракета («Под всяческой мглой, под панцирем...»). Р. 1945, № 8.

Год («Год прошел. Вновь над твоей могилой...»). Р. 1945, № 9.

Волхвы Вифлеема («Шел караван верблюдов по пустыне...»). ЛА. 1945, № 1.

Кеша и Гоша («В городе волжском два друга жили...»). ЛА. 1945, № 3. В. Кибардин, которому посвящено стихотворение, — лицо неустановленное.

«Пели добровольцы. Пыльные теплушки...». Разыскано В.Ф. Перелешиним в 1980-е годы. На копии пометка: опубликовано — «Картины прошлого», № 4.

Рассказ о казненном репортере (1–7). Источник текста неизвестен; разыскано В.Ф. Перелешиним в 1980-е годы. А. В. Петров, которому посвящено стихотворение, — шанхайский журналист, упоминаемый в письме Несмелова к П.П. Балакшину от 13 февраля 1937 года: «В Шанхае есть такой журналист Алексей Владимирович Петров-Полишинель, он фельетонист “Шанхайской Зари”».

«Разве жизнь бывает тесна...». Источник текста неизвестен; разыскано В.Ф. Перелешиним в 1980-е годы.

Аукцион («Проходит год хромающей походкой...»). Источник текста неизвестен; разыскано В.Ф. Перелешиним в 1980-е годы.

«Неужели не осилю смерти...». Источник текста неизвестен; разыскано В.Ф. Перелешиним в 1980-е годы.

Начало правды («Докачает, дотрясет, дотянет...»). Источник текста неизвестен; разыскано В.Ф. Перелешиним в 1980-е годы. Эпиг-

раф — из второго стихотворения цикла «Заводские», конец второй и начало первой строф. В оригинале у Цветаевой: «У последней, последней из всех застав, / Где начало трав / И начало правд...» (26 сентября 1922; опубликовано: ВР. 1924, № 14-15).

ПОЭМЫ

Тихвин. Отдельное издание: Тихвин: (Повесть). — Владивосток: Тип. «Далекая окраина», 1922. В поэме немало автобиографических черт; о поездках кадета Митропольского к тетке в Тихвин на зимние каникулы см. рассказ «Волки» (т. 2 наст. изд.). В поэме немало анахронизмов: «*тогда явился Блок*» соседствует с тем, что Санкт-Петербург именуется *Петроградом*. «...*Женский монастырь*» — Введенский женский монастырь, построен по приказу Ивана IV Грозного в 1560 году.

Дьяволица. Альманах «Парнас между сопок» (Владивосток, 1922).

Декабристы. Газета «Советская Сибирь» (1925, 25 декабря). Поэма написана к столетию восстания декабристов. К моменту публикации поэмы Несмелов уже полтора года находился в эмиграции, — поэма, видимо, написана уже в Харбине; Несмелов вплоть до 1929 года печатался в СССР и мог получать оттуда гонорары: советские деньги иногда принимались на станциях вдоль КВЖД. «*Чувствительность, ищи для сердца пищи!..*» — ср. начало небольшой поэмы Карамзина «Алина», включенной в «Письма русского путешественника» (письмо датировано июнем 1790 года): «О дар, достойнейший небес, / Источник радости и слез, / Чувствительность! сколь ты прекрасна!.. / Внимайте, нежные сердца!» «...*Каховский, нервничая и дрожа, / Три раза выстрелил из пистолета...*» — Каховский Петр Григорьевич (1799-1826); 14 декабря 1825 года на Сенатской площади убил (выстрелом в спину) Петербургского генерал-губернатора М.А. Милорадовича (1771-1825), смертельно ранил командира гренадерского полка полковника Н.Н. Стюрлера (умер 15 декабря) и ранил свитского офицера. «...*Но даже ты, диктатор Трубецкой, / Товарищей на площади покинул!..*» — князь Сергей Петрович Трубецкой (1790-1860), которого декабристы накануне восстания 14 декабря избрали диктатором. Трубецкой отказался сложить с себя звание диктатора и должен был присутствовать в день 14 декабря на Сенатской площади, однако в решительный день окончательно растерялся и не только не явился на Сенатскую площадь, но даже принес присягу императору Николаю. «...*растопчинские остроты...*» — граф Федор Васильевич Растопчин (1763-1826) — русский государственный деятель; ср.: «По поводу восстания декабристов граф Растопчин иронизировал в том смысле, что во Франции-де «чернь» учинила революцию, чтобы сравняться с аристократией, а у нас вот аристократия устроила революцию в интересах черни» (Л.Д. Троицкий. «Культура старого мира»).

Пища. СО, 1929, № 2. «К эшелону самого Жанена...» — см. прим. к стихотворению «В Нижнеудинске» из сб. «Белая флотилия». «*Non... mais pas!*» (фр.) — здесь: «Нет... но...». *Тулуз* — станция в 390 км к северо-западу от Иркутска, с 1927 года — город.

Через океан. Отдельное издание: *Через океан.* — Шанхай: Гиппокрена, 1934. В октябре 1922 года отряды белой армии и иностранные войска спешно покидали Владивосток. 23 октября 1922 года командующий Сибирской военной флотилией адмирал Юрий Карлович Старк увел большинство стоявших у Владивостока кораблей в корейский порт Гензан. Всего ушло тридцать кораблей — канонерская лодка «Маньчжур», вспомогательные транспорты, пароходы, военные буксиры, почтовые суда, катера. В основном были собраны суда, давно отслужившие свой срок и мало пригодные для морского перехода. На них находились почти 9 тысяч человек. К 23 часам 24 октября последний корабль флотилии Старка ушел в Корею. В основу поэмы положен подлинный случай, обросший позднее легендами, особенно в среде русской эмиграции. Достоверно известно, что в конце 1922 года бот «Рязань» с русской командой действительно пришел из Владивостока в Сизэт (США, штат Вашингтон). «*Васко да Гама и Лаперуз...*» — Васко да Гама (1469-1524) — португальский мореплаватель, первым из европейцев достигший Индии, обойдя мыс Доброй Надежды. Лаперуз Жан Франсуа (1741-1788) — французский мореплаватель. В 1785-1788 годах руководитель кругосветной экспедиции, исследовал острова Тихого океана, берега Северо-Западной Америки, Восточной Азии и Татарского пролива, открыл пролив, названный его именем. Экспедиция пропала без вести, выйдя из Сиднея (Австралия) на север. «*Любит хану, и сулю...*» — Хана — китайская хлебная водка, то же, что ханшин (или ханжа); суля (сули) — традиционная корейская водка (самогон). «...*принятый за спиртовоза*» — «сухой закон» в США действовал в 1920-1933 годах; нелегальная торговля спиртом (бутлегерство) в этот период процветала. *Редингот* (от франц. *redingote* — сюртук для верховой езды) — удлиненный приталенный пиджак из ярко окрашенного (красного, синего и др.) плотного материала с воротником из черного бархата.

Тысяча девятьсот сорок четвертый. «Гумилевский сборник» (Харбин, 1937). Поэма почти дословно воспроизводит несколько сюжетов, варьирующихся в рассказах Несмелова.

Нерон сестерций. Альманах «Врата», выпуск 2 (Шанхай, 1935). Поэма написана в очень редкой форме, приближающейся к венку сонетов: она состоит из восемнадцати сонетов, последняя строка каждого рифмуется с первой строкой последующего. Однако эти строки не образуют отдельного «магистрала», первая строка поэмы не становится ее же последней; кроме того, для поэмы характерны неточные, привычные для Несмелова рифмы (в сонетах, особенно же в венке сонетов — нежелательные). Большая часть поэмы восходит к жизнеописанию Нерона в «Жизни двенадцати цезарей» Светония, хотя

есть явные пересечения с Тацитом и другими историками, а также с позднейшими произведениями искусства на те же темы. *Лектика* – носилки у римлян. «*Поклонников Ослиной Головы...*» – т.е. иудеев; римляне «рассказывали, что в Дебире находится золотое изображение ослиной головы» (о. А. Мень. «Сын Человеческий». Пролог. *Дебир* – «Святая Святых» в Иерусалимском храме. – *Е.В.*). «...иудейский бред» – здесь: христианство. «...*Мечтая о Нероне, / Актея стонет*» – *Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (37-68)* – римский император. *Актея (Акта)* – вольноотпущенница, фаворитка Нерона; задумав вступить с ней в брак, Нерон заставил нескольких сенаторов ложно поклясться, что она происходит из пергамского царского рода Атталидов. «*Туники просмоленные: столбы / Всплывшие!.. Все муки христианам...*» – в тексте Несмелова просматриваются образы знаменитой картины Генрика Ипполитовича Семирадского (1843-1902) «Светочи христианства. Живые факелы Нерона», за которую художник получил первую золотую медаль на Всемирной выставке 1878 года в Париже. *Туллианум* – подвал пыток в Мамертинской тюрьме на восточном склоне Капитолийского холма. *Фарнезский бык* – см. прим. к ст. «Христианка» (сб. «Белая флотилия»). «...*невинные Дирцеи*» – Дирцея (Дирка) – в греческой мифологии жена Лика, жестоко обращавшаяся с Антиопой и наказанная за это Амфионом и Зетом, которые привязали Дирцею к рогам быка, растерзавшего ее насмерть (именно этот сюжет изображен в упомянутой выше скульптурной композиции «Фарнезский бык»). «...*Ценитель кесарь, будучи эстетом, / Подносит к глазу круглый изумруд...*» – согласно Светонию, Нерон использовал шлифованный изумруд, чтобы лучше видеть происходящее на арене. *Дорифор* – вольноотпущенник Нерона, отравленный им в 62 г. по Р.Х. «*Пять девушек пред распаленным Заверем...*» – «В довершение он (Нерон – *Е.В.*) придумал новую потеху: в звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасываясь на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору: за этого Дорифора он вышел замуж, как за него – Спор, крича и вопя, как насилуемая девушка» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 29. – Перевод М.Л. Гаспарова). *Подиум* – здесь: балкон, возвышение над ареной, ложа императора. *Мульсум* – римское медовое вино. *Фаон* – любимец Нерона, вольноотпущенник, на чьей вилле Нерон спасался в последние часы жизни. «...*Привязывают Перепетую / К рогам быка два бронзовых раба...*» – Св. Перепетия (традиционное русское чтение, правильное – Перпетуя) – христианская мученица, по некоторым данным – римская матрона, обращенная в христианство Св. Павлом или Св. Петром (по одной из легенд – жена последнего), в свою очередь обратившая в христианство своего сына, Св. мученика Назария; мощи ее находятся в Милане (по другой версии – в Кремоне). Однако мученичество Св. Перпетуи относится, видимо, к несколько более позднему времени, нежели годы правления Нерона. *Потамиена* – во времена императора Септимия Севера

(196-211) в Александрии брошена была в кипящую смолу девица Потамена, поразившая своею красотою служителей казни и своим мужеством обратившая ко Христу одного из них, Василида, также принявшего мученический венец; здесь, очевидно, анахронизм Несмелова, хотя возможно, что он опирался здесь и на какой-то неизвестный нам источник. *Авентин* – см. пр. к ст. «Ушли квириты, надышавшись вздором...» (сб. «Белая флотилия»). *Споларий* (правильнее *сполиарий*) – часть римского амфитеатра, где добивали тяжело раненных и раздевали убитых гладиаторов. «...над черным обелиском, / Тем самым, что на площади Петра...» – в центре площади Св. Петра в Риме ныне стоит египетский обелиск (I в. до Р.Х.), привезенный как трофей в 37 г. от Р.Х. в период походов Калпигулы. «...аквитанский *gallus*» – Гай Юлий Виндекс – пропретор Галлии при Нероне, вождь восстания 68 г., был разбит и покончил самоубийством. *Сагум* – см. прим. к ст. «Сотник Юлий» (сб. «Белая флотилия»). «...Такая бесподобная игра» – «...и всё время повторял: «Какой великий артист умирает!» (Светоний, ук. соч., «Нерон», 49, 1). «И, грубо увлекаемый Фаоном...» – «Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу между Соляной и Нолментанской дорогами, на четвертой миле от Рима» (Светоний, ук. соч., «Нерон», 48) «*Бежит из дома золотых колонн...*» – «Золотой дом», любимый дворец Нерона, так и не достроенный им; в него Нерон помещал известные шедевры, такие как группа «Лаокоон»; до наших дней сохранились лишь полы нескольких комнат Золотого дома и несколько фресок. «Нерон построил себе дворец, вызвавший всеобщее изумление <...> облием пошедших на его отделку драгоценных камней и золота» (Тацит, «Анналы», кн. 15, 42. – Перевод А.С. Бобович под ред. Я.М. Боровского). *Коллинские ворота* – ворота Рима у Квиринальского холма; за ними начиналась Соляная дорога на северо-восток, к берегу Адриатического моря. «...испуган трупом, / Мул пятится и оседает крупом» – «Конь шархнулся от запаха трупа на дороге, лицо Нерона раскрылось, какой-то отставной преторианец узнал его и отдал ему честь» (Светоний, ук. соч., «Нерон», 48, 2). «...И два кинжала <...> / Нерону подает Эпафродит...» – Эпафродит – вольноотпущенник и секретарь Нерона. «В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собою <...>, и с помощью своего советника по прошениям, Эпафродита, вонзил себе в горло меч» (Светоний, ук. соч., 49) «...Себя каким-то выведя... *Сенекой*» – Сенека (Младший), Луций Анней (4 до Р.Х. – 65 после Р.Х.) – философ-стоик, драматург, воспитатель и советник Нерона; погиб после заговора Пизона.

Искушение в пустыне. Ф. 1935, № 15 (за подписью «Арсений Бибилов»; этот псевдоним Несмелов взял по фамилии матери). Испышания Христа Сатаной во время сорокадневного поста в пустыне Несмелов приводит в последовательности, согласной с текстом Евангелия от Матфея (4; 1-11). *Н.Ф. Федоров* – см. прим. к ст. «Книга о Федорове» (сб. «Белая флотилия»).

Тоту. Р. 1936, № 27.

Протопопица. Отдельное издание: Протопопица: Поэма. — Харбин: Изд. Н.А. Гаммера, 1939. В книге воспоминаний «Два полустанка» (Амстердам, 1987) Валерий Перелешин пишет: «...Ко мне зашел Борис Юльский. Наскоро поздоровавшись, возгласил: — А вы знаете последнюю новость? О, вы не знаете последней новости! Арсений Несмелов перешел в старый обряд. Он уже переехал в их общину, отпустил бороду, крестится двумя перстами и роется в библиотеке... Дело разъяснилось, когда вышла поэма Несмелова «Протопопица» об Анастасии Марковне, жене протопопа Аввакума. Арсению было надо не только просить житие многострадального протопопа, но и пропитаться атмосферой раннего раскола, пафосом двуперстия, духом всей той эпохи» (с. 57). «Видь, слушателю: необходимая наша беда, невозможно миновать» — неточная цитата из «Жития» Аввакума, полностью отрывок выглядит так: «...писанное время пришло по Евангелию: «нужда соблазнам приити». А другой глаголет евангелист: «невозможно соблазнам не приити, но горе тому, им же приходит соблазн». Видь, слышателю: необходимая наша беда, невозможно миновать! Сего ради соблазны попускает Бог, да же избрани будут, да же разжегуются, да же убеялятся, да же искуснии явленнии будут в вас. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать!» («Житие протопопа Аввакума». М., 1979. С. 53). «*Чу, на диких холмах человеческий топ, — / Полк стрелецкий к ночлегу торопится...*» — Несмелов начинает повествование об Аввакуме и его жене с момента, когда во время ссылки в Сибирь протопоп попал под власть енисейского воеводы Афанасия Филипповича Пашкова (ум. в 1664), получившего в августе 1655 года приказание отправиться во главе большого отряда стрельцов и казаков в Даурию — так до начала XX века иногда именовали всю территорию Южного Забайкалья: «Таже сел опять на корабль свой, еже и показан ми, что выше сего рекох, — поехал на Лену. А как приехал в Енисейской, другой указ пришел: велено в Дауры вести — двадцать тысяч и больши будет от Москвы. И отдали меня Афонасью Пашкову в полк, — людей с ним было 600 человек; и грех ради моих суров человек: беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет. И я ево много уговаривал, да и сам в руки попал. А с Москвы от Никона приказано ему мучить меня» (ук. соч., с. 31). Аввакум сильно преувеличивает расстояние от Даурии до Москвы, на самом деле речь идет о 5-6 тысячах километров. «*У бесстрашного есть Аввакума жена, / Сирота из сельца из Григорова...*» — «Аз же пресвятей Богородице молихся, да даст ми жену помощницу ко спасению. И в том же селе девица, сиротина ж, беспрестанно обыкла ходить во церковь, — имя ей Анастасия. Отец ея был кузнец, именем Марко, богат гораздо; а егда умре, после ево вся истошилось. Она же в скудости живяше и моляшеся Богу, да же 17 сочтается за меня совокуплением брачным; и бысть по воли Божии

тако» (там же, с. 23). Жена протопопа, Анастасия Марковна (1624-1710); в другой редакции «Жития» сказано, что мать Аввакума женила его, когда ему было семнадцать лет, Анастасии четырнадцать. «*Поле- тят Трубецкая с Волконскою...*» — Мария Николаевна Волконская (1806-1863), урожденная Раевская — жена декабриста князя Сергея Григо- рьевича Волконского, добровольно разделившая с ним ссылку. Гра- финя Екатерина Ивановна Трубецкая (1800-1854), урожденная Лаваль — жена декабриста Сергея Петровича Трубецкого, также последовала за мужем в ссылку в Забайкалье. «*Долго ль муки сея будет нам, прото- поп?...*» — ср.: «Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самых смерти!» Она же, вздохня, отвечала: «добро, Петрович, ино еще побредем» (там же, с. 39). «...*Сын его Еремей*» — «Гораздо Еремей разу- мен и добр человек: уж у него и своя седа борода» (ук. соч, с. 42). Ср. также: «А велено ему, Афонасью, из Енисейскова итти в новую Даур- скую землю с ратными людьми, которые к нему присланы. А в това- рищах с ним велено быть сыну ево Еремею Пашкову и приискать в Даурской земле пашенные места со всякими угодии и в таких местах поставить остроги, и в тех острогах быть ему, Афанасью, и с сыном ево Еремием тамо воеводством до государева указу» (цит. по: А.Н. Жеравина. Книга Записная. Вестник Томского государственного университета, т. 266, январь 1998 года). «...*И в Мунгальскую степь*» — т.е. в Монгольскую. «*Воевода шамана потребовал в стан...*» — «Отпус- кал он сына своево Еремея в Мунгальское царство воевать, — казаков с ним 72 человека да иноземцов 20 человек, — и заставил иноземца шаманить, сиречь гадать: удастлися им и с победою ли будут домой? Волхв же той мужик, близ моего зимовья, привел барана живова в вечер и учал над ним волхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертел и прочь отбросил. И начал скакать, и плясать, и бесов при- зывать и, много кричав, о землю ударилса, и пена изо рта пошла. Беси давили ево, а он спрашивал их: «удастся ли поход?» И беси ска- зали: «с победою великою и с богатством большим будете назад». И воеводы ради, и все люди радуясь говорят: «богаты приедем!» (ук. соч. с. 40). «*Да не сможете вы возвратитися вспять...*» — «А я, окаянной, сделал не так. Во хлевине своей кричал с воплем ко Господу: «послу- шай мене, Боже! послушай мене, царю небесный, свет, послушай меня! да не возвратится вспять ни один от них, и гроб им там устроивши всем, приложи им зла, Господи, приложи, и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!» (ук. соч., с. 41). «*Еремей лишь сам- друг возвращается...*» — «Еремей ранен сам-друг дорожною мимо избы и двора моево едет, и палачей вскричал и воротил с собою. Он же, Пашков, оставя застенок, к сыну своему пришел, яко пьяной с кру- чины. И Еремей, поклоняся со отцем, вся ему подробну возвещает: как войско у него побили все без остатку» (ук. соч, с. 41). *Исус* — старообрядческое написание имени Иисус. «*Господине, почто опеча- лился?...*» — «Опечался, сидя, рассуждаю: что сотворю? проповедаю

ли слово Божие или скроюся где? Понеже жена и дети связали меня. И виде меня печальна, протоппица моя приступи ко мне со опрятством и рече ми: «что, господине, опечалился еси?» Аз же ей подробну известих: «жена, что сотворю? зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? — связали вы меня!» Она же мне говорит: «Господи помилуй! что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я, — ты же читал, — апостольскую речь: «привязался еси жене, не ищи разрешения; егда отретишися, тогда не ищи жены». Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие попрежнему, а о нас нетужи; дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинут! Поди, поди в церковь, Петрович, — обличай блудную еретическую!» Я-су ей за то челом и, отряспе от себя печальную слепоту, начях попрежнему слово Божие проповедати» (ук. соч., с. 46). «*Закопали тебя, Аввакум-протопоп / В Пустозерске, а Марковну — в Мезени...*» — «...а протопопица и прочии на Мезени остались все» (ук. соч., с. 52). *Мезень* — город, расположенный на правом берегу реки Мезени, в 45 км от Белого моря, в 215 км к северо-востоку от Архангельска. В 1664-1666 в Мезени в остроге находился в ссылке протопоп Аввакум, после чего был отправлен в *Пустозерск*, древнерусский город XV-XVII вв., у озера Пустого в низовьях Печоры (ныне территория Ненецкого АО), где с 1667 года 14 лет просидел на хлебе и воде в земляной тюрьме, рассылая грамоты и окружные послания. По новейшим исследованиям, участь протопопа решил случай, когда сын Аввакума Григорий измазал детем надгробие царя Алексея Михайловича; сын царя, новый царь Федор Алексеевич, в ответ на это казнил самого протопопа: 1 апреля 1681 года Аввакум и его товарищи были сожжены в Пустозерске.

Как они поладили. Детский журнал «Ласточка», 1940, № 22, 15 ноября.

Прощенный бес. Автограф (прислано автором Л. Хаиндровой вместе с письмом весной 1941 года). Печаталось ли при жизни автора — неизвестно; впервые опубликовано в нью-йоркском «Новом Журнале» (№ 110, 1973) В. Перелешиним по копии автографа, полученного от Е. Витковского (который, в свою очередь, получил его от Л. Хаиндровой).

Наш подвиг. «Прибой», 1942, № 1.

Нина Гранина. Р. 1944, №№ 12-13. *Желсоб* — клуб Железнодорожного Собрания в Харбине, одновременно и основной русский ресторан ранних лет существования Харбина. «*маньчжуром, поваром косатым...*» — ношение косы мужчинами — знак подчинения китайцев маньчжурам в период империи Цин (1644-1911 гг.). В древнем Китае ни мужчинам, ни женщинам с самого рождения не стригли волосы — считали, что волосы даются родителями и потому натуральные. Только в период династии Цин мужчинам стригли переднюю часть волос, над самым лбом, и косы падали по спине, по примеру маньчжуров.

«Вот что такое Цицикар...» — в 1927 году Несмелов некоторое время жил в Цицикаре, поэтому его описание более чем захолостного городка написано по личным впечатлениям.

Встреча. Р. 1945, № 15. Должно было служить началом продолжения поэмы «Нина Гранина», но советская оккупация и скорая смерть поэта прервали работу над поэмой. А.А. Агров, которому посвящен этот отрывок, — лицо неустановленное. «...Так что ж, к девятке» — номерами обозначались на Сунгари затоки, и чем дальше от города был номер, тем лучшей считалась рыбалка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В этом разделе печатаются образцы творчества вымышленного Митропольским-Несмеловым для нужд фашистской партии поэта Николая Дозорова. Поскольку поэт этот был придуман не как «псевдоним», но как определенная маска, составители не сочли необходимым включать в книгу все сохранившиеся произведения «Дозорова», ограничившись лишь двумя большими поэмами. Во вторую часть раздела вошли свободные переложения из Франсуа Вийона (1431 — после 1463), выполненные при содействии М. Л. Шапиро (см. прим. к рассказу «Голубое одеяло» в т. 2 наст. изд.). Эти «переводы» были посланы автором Л. Хаиндровой; впервые опубли. по ее копии: Стрфы века — 2. Антология мировой поэзии в русских переводах XX века. Сост. Е. В. Витковский. М.: Полифакт, 1998.

Георгий Семенá. Отдельное издание: Георгий Семенá: Поэма. — Берн [Шанхай], 1936. Автором на книге обозначен «Николай Дозоров», на обложке помещена свастика. Местом издания обозначен Берн; современное литературоведение рассматривает это как мистификацию — книга явно отпечатана в Харбине (по другой версии — в Шанхае) и там же распродана.

Восстание. Сборник «Второй прибор» (Харбин, 1942); опубликовано под псевдонимом «Николай Дозоров». Первое упоминание об этой «московской» поэме — в «Новой вечерней газете» (Владивосток, 1923, 23 января). В краткой заметке «Вечер поэтов» (без подписи) сообщается, что среди выступавших были Г. Травин, А. Журин, П. Далекий, Б. Бета, Рахтанов (инициалов нет, но о Рахтанове см. т. 2 наст. изд.: в воспоминаниях «О себе и о Владивостоке» Несмелов называет Рахтанова «милейшим из коммунистов», сообщает, что он был редактором газеты «Красное знамя» и что настоящая фамилия его была Лейзерман) и А. Несмелов, который прочел поэму «Восстание». В том же 1923 году в художественно-литературном приложении к владивостокской газете «Красное знамя» («Октябрь») был напечатан отрывок из поэмы «Восстание» — «Москва в октябре». Текст, вошедший в настоящее издание, возник на два десятилетия позже; лишь в 1940-е годы псевдоним «Дозоров» стал проставляться Несмеловым

под стихотворениями и поэмами, первоначально предназначенными «Несмелову». *«Дорогомиллово, Черкизово, / Лефортовские тупики...»* – Несмелов перечисляет места расположения казарм восставших юнкеров. *«Гредел Мураловский приказ...»* – Муралов Николай Иванович (1877-1937) – член РСДРП с 1903 года, в октябре 1917 года – член Московского Военно-революционного совета; за его подписью распространялся приказ юнкерам сложить оружие; после подавления восстания юнкеров – командующий войсками Московского военного округа. Расстрелян как троцкист.

Сказание о Диомеде. Соответствует строфам XVII–XXI «Большого завещания».

Воспоминание о сотоварищах. Соответствует строфам XXIX–XXXII «Большого завещания».

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Витковский. Формула бессмертия 3

СТИХИ (Владивосток, 1921)

ГОЛУБОЙ РАЗРЯД	35
МАРШ	37
УРОД	38
ОТВЕРЖЕННОСТЬ	38
АВАНТЮРИСТ	39
ПИРАТЫ	40
ИСТЕРИЧКА	41
НЕВРАСТЕНИК	42
СЕСТРИЧКА	42
ПЕРЕД КАЗНЬЮ	43
СПУТНИЦА	44
БУРЖУАЗКА	44
МОНГОЛ	45
РАНЕННЫЙ	46
ИЗГНАНИЕ	46
ОБРАЗ	46
МОРЕЛЮБЫ	47
ОБОРОТЕНЬ	47
САМЦЫ	48
ГНИЛОЙ СТАРИЧОК	49
СМЕРТЬ ГОФМАНА	49
ПОЭТ	50
ДЬЯВОЛ	51
СКАЗКА	51
В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ	52
НИ О ЧЕМ	52
МЯТЕЖНИЦА	53
ГНУС	54
УБИЙСТВО	54
ФЕЛЬЕТОНИСТ	55
РОМАН НА АРБАТЕ	56
ПОДРУГИ	56

ДАВНЕЕ	57
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО	57
МУЧЕНИК	57
ВРАГИ	58
БРОНЗОВЫЕ ПАРАДОКСЫ	58
СТРАДАЮЩИЙ СТУДЕНТ	60
ПРИКЛЮЧЕНИЕ	63
ШУТКА	65
УСТУПЫ (Владивосток, 1924)	
ВОЛЯ	67
ЯЗЫКОВ	67
ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ	68
МОРСКИЕ ЧУДЕСА	68
БЕССОННИЦЕ	70
В СКРИПКЕ	70
ШЕСТЬ	70
ВОЗМЕЗДИЕ	71
«Ты грозно умер, смерть предугадав...»	72
«Трудолюбивым поэтом...»	72
ДЕВУШКА	73
ТИШИНА	73
ПАРОВОЗ	74
СОЛДАТ	74
АНАРХИСТЫ	75
УРОК	76
БАНДИТ	76
ПАМЯТЬ	77
ОЖИДАНИЕ	78
ЛАМПА, ПОЛНОЧЬ	78
МОЖЕТ БЫТЬ, О	79
О НЕЖНОСТИ	80
ЛОСЬ	80
РАССКАЗ	81
КРОВАВЫЙ ОТБЛЕСК (Харбин, 1929)	
У КАРТЫ	82
РАЗВЕДЧИКИ	83

СОВА	84
СТИХИ О РЕВОЛЬВЕРАХ	85
ПАРТИЗАНЫ	88
БАЛЛАДА О ДАУРСКОМ БАРОНЕ	89
БРОНЕВИК	92
В ЛОМБАРДЕ	95
ВОСЕМНАДЦАТОМУ ГОДУ	97
БЕЗ РОССИИ (Харбин, 1931)	
«Свою страну, страну судьбы лихой...»	99
«Хорошо расплакаться стихами...»	99
ПЕРЕХОДЯ ГРАНИЦУ	100
НА ВОДРАЗДЕЛЕ	101
СПУТНИЦЕ	101
«В эти годы Толстой зарекался курить...»	102
«Женщины живут, как прежде, телом...»	103
«Всё чаще и чаще встречаю умерших... О нет...»	103
НОЧЬЮ	104
ПРИКОСНОВЕНИЯ	105
ПЕРЕД ВЕСНОЙ	106
ПЯТЬ РУКОПОЖАТИЙ	106
ГОЛОД	107
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ	108
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ	109
Р.В.15	110
ТАЙФУН	111
ЛЕОНИД ЕЩИН	112
«Ловкий ты и хитрый ты...»	114
РУЧНАЯ ВОЛЧИХА	114
«Я вспомнил Стоход...»	115
АГОНИЯ	117
ДВЕ ТЕНИ	119
«РУССКАЯ МЫСЛЬ»	122
«Так уходит море, на песке...»	123
О РОССИИ	123
БЕЛЫЙ ОСТРОВ	124
ЗА	125

МЫ	126
МАСТЕРСТВО	126
ИЗНЕМОЖЕНИЕ	127
ГРЕБНЫЕ ГОНКИ	127
ВПЕРЕД	128
УВЕРЕННОСТЬ	129
ПОЛУСТАНОК (Харбин, 1938)	
«Уезжающий в Африку или...»	130
НИЩИЕ ДУХОМ	130
ЭПИЛЕПТИК	131
«Всё настойчивее и громче...»	132
ПОНУЖАЙ	132
ЛОДОЧНИК	134
ИНТЕРВЕНТЫ	136
СТИХИ О ХАРБИНЕ	137
ПОХИТИТЕЛИ	138
ХУНХУЗ	139
ОКОЛО ЦИЦИКАРА	140
ПЕСНИ ОБ УЛЕНСПИГЕЛЕ	141
В СОЧЕЛЬНИК	144
КАСЬЯН И МИКОЛА	145
БЕЛАЯ ФЛОТИЛИЯ (Харбин, 1942)	
«Сыплет небо щебетом...»	148
«Ветер обнял тебя. Ветер легкое платье похитил...»	148
ЭНЕЙ И СИВИЛЛА	149
«Ушли квириты, надышавшись вздором...»	150
СОТНИК ЮЛИЙ	151
ХРИСТИАНКА	151
НЕРАЗДЕЛЕННОСТЬ	152
БЕАТРИЧЕ	154
ФЛЕЙТА И БАРАБАН	155
«Глаз таких черных, ресниц таких длинных...»	155
РАЗРЫВ	156
СНЫ	157
ВЕРОНАЛ	158
ПАМЯТЬ	159

27 АВГУСТА 1914 ГОДА	160
ПОДАРОК	161
СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ	161
ЭПИЗОД	162
В ЗАТОНУВШЕЙ СУБМАРИНЕ	164
В ЭТОТ ДЕНЬ	165
ЦАРЕУБИЙЦЫ	166
КОГО ВИНИТЬ	167
БОЖИЙ ГНЕВ	168
В НИЖНЕУДИНСКЕ	169
ЖЕНА	170
МОИМ СУДЬЯМ	171
ПОТОМКУ	172
ЦВЕТОК	173
ЛАМОЗА	175
В ЛОДКЕ	176
1. «Ночью думал о том, об этом...»	177
2. «Печью истопленной воздух согрет...»	177
НА РАССВЕТЕ	178
«День начался зайчиком, прыгнувшим в наше окно...»	178
ВЫСОКОМУ ОКНУ	179
ДАВНИЙ ВЕЧЕР	179
«Было очень темно. Фонари у домов не горели...»	180
ОТРЕЧЕНИЕ	181
БРОДЯГА	182
ОМУТ	182
ЭПИТАФИЯ	183
ДО ЗАВТРА, ДРУГ!	184
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ	184
КНИГА О ФЕДОРОВЕ	185
РОДИНА	185
ТИХВИН	186
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ	187
РУССКАЯ СКАЗКА	188

**СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ
В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ**

«Померкла туманная линия...»	191
Там («Где гремели пушки...»)	191
Над полем («Тихий вечер шепчет над полями...»)	192
АВСТРИЕЦ («У него почернело лицо...»)	192
«Скоро утро. Над люнетом...»	193
В ПОХОДЕ («Эх! тяжела солдатская винтовка...»)	194
ВИНТОВКА № 572967 («Две пули след оставили на ложе...»)	194
НОВОБРАНЕЦ («Широк мундир английского солдата...»)	195
РОДИНЕ («Россия! Из грозного бреда...»)	196
ОДИН ИЗ МНОГИХ («Помнишь: вихрь событий...»)	197
БЕЖЕНКИ («В теплушке у жаркой печки...»)	197
ЛЮБОВНИЦА («Ах, я устала от этой скромной...»)	198
СПУТНИК («Ржаная краюха сытна...»)	198
ПРИКОСНОВЕНИЯ («Мои сады окружены пустыней...»)	199
ПОЮЩИЙ СНЕГ («Падает белый снежок...»)	199
БЕЗБОЛЬ («Зачерпнуло солнце медным диском...»)	200
СОБАКОГЛАВЫЙ («Старинная керамика – амфора...»)	200
В СЕБЕ («Проповедую строгую школу...»)	201
ДЕВКА («Изогнутая, выпячив бедро...»)	202
МОРСКИЕ (1-6)	202
ОСВИСТАННЫЙ ПОЭТ («Грехи отцов и прадедов грехи...»)	204
НА БЛЮДЦЕ («Облезлый бес, поджав копытца...»)	205
СЛУЧАЙ («Вас одевает Ворг или Пакэн?...»)	205
ДОСТОЕВСКИЙ («В углах души шуршит немало змей...») ..	206
ЕВРЕЙКА («В вас – вечное. Вы знали Вавилон...»)	207
«Я живу в обветшалом доме...»	207
КЛАДБИЩЕ НА УЛИССЕ	
(«Подует ветер из проклятых нор...»)	209
«Ветки качались с усталым шумом...»	210
ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ («Уже утрачено...»)	210
ЗА 800 ВЕРСТ («Гор обугленные горбы...»)	213
«Я одинок, без близких и друзей...»	215
САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ	
(«На Каланчевской пять, квартира три...»)	216
ТУМАН («Глухое “у-у” закинуто протяжной...»)	216

ГОЛУБАЯ КНЯЖНА («В отеле, где пьяный джесс...»)	217
«У причалов остроухий пинчер...»	218
ПОЛКОВОЙ ВРАЧ («Умирает ли в тифе лиса...»)	219
УЗОРЫ ПАМЯТИ («Я пишу рассказы...»)	219
«Льстивый ветер целует в уста...»	221
«Вышел в запас...»	222
СОН ПРО КОТА-МУРЛЫКУ	
(«Ты любишь кошку, ласковый звереныш...»)	223
ПОСЛЕ ДОЖДЯ («Чем, мураш, застыв на пальце...»)	223
ВЕСЕННИЙ ДОЛЬНИК	
(«Объективно ничтожны признаки...»)	224
«Последний рубль – дорог...»	225
ЗА РАЗРУБЛЕННЫЕ УЗЛЫ	
(«Снова солнце обращает в воду...»)	225
ПРИЯТЕЛЬ («Загорел за лето на песке...»)	227
ОТХОД («Какой-то зверь – быть может, тигр...»)	228
МОЕМУ «УНДЕРВУДУ» («Традиции непреложны...»)	228
ТИХИЙ СОЧЕЛЬНИК («Как вечер тих, как вечер долог...»)	229
ЛЮБОВЬ («Сильный зверь о любви рычал...»)	230
ЛЮБОВЬ («Любовь – как в пропасть. С кручи от погони...»)	231
ЯСНОСТЬ («В этой комнате много солнца...»)	231
ДАВНО ЛИ? («Давно ли в форточку мороз...»)	232
НА ТОЙ ПОЛОВИНЕ ЛУНЫ («От той половины Луны...»)	232
ПОЛДЕНЬ («Золотые искры на коже...»)	233
КОЛДОВСТВО («Прислушалась – и отложила книгу...»)	233
КОНЧИНА («Карандашом по карте водит...»)	234
«На много лет, увы, я старше Вас...»	235
«День отошел. Отяжелевший, лег...»	235
«Не случайно... Был намечен выбор...»	236
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ («Хорошо на легких лыжах...»)	237
«Так развертывается пружина...»	238
НА ЗАДАННЫЕ РИФМЫ	
(«Постукивая точным молоточком...»)	238
В КИТАЕ («Узкие окна. Фонарика...»)	239
ПЛАВУНЬЯ («Вытягиваясь, – в преломленьи струй...»)	239
У ПРЕДЕЛА («Изгнание, безвыходность... Пустое!..»)	240
«Свет зажжен. Журнал разрезан...»	240

ОРБИТА («Ты, молчаливый, изведал много...»)	241
ИЗ КИТАЙСКОГО АЛЬБОМА (I–III)	241
ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ	
(«Какой-то срок, убийственная дата...»)	242
ЗЕЛЕНОГЛАЗОМУ ВРАГУ («Так пощипывает холод...»)	243
ДЕСЯТИЛЕТНИМ («Мне проследовать пора бы...»)	244
БЕЗ («Бестрепетность. Доверчивость руки...»)	245
МОЙ УДАР («Когда придет пора сразиться...»)	245
РАССТРЕЛЯННЫЕ СЕРДЦА	
(«Выплывут из дальности муаровой...»)	246
СОЗРЕВШАЯ ОСЕНЬ («Окно откроем, и не надо...»)	247
ВОЗВРАЩЕНИЕ («Юноша, как яблоко, румян...»)	248
«Опустошен, изжеван, как окурок...»	248
ГРЯДА («Щетина зеленого лука...»)	249
«Над обрывом, рыж и вылощен...»	250
«Бывают золотые вечера...»	250
«С головой под одеяло...»	251
«Пустой начинаю строчкой...»	251
ЮЛИ-ЮЛИ («Мне душно от зоркой боли...»)	253
«Пусть одиночество мое сегодня...»	254
«Вниз уводят восемь ступеней...»	255
НАД МОРЕМ («...Душит мгла из шорохов и свиста...»)	255
«Лечь, как ложится камень...»	256
ИЗ ПОТЕРЯННОЙ ПОЭМЫ	
(«...Двойную тяжесть мы с тобой несем...»)	257
МЫ СВЯТО ВЕРИМ В ТЕБЯ, РОССИЯ	
(«Христос Воскресе! – Сквозь все тревоги...»)	257
ПОДВИГ («Обозный люд, ленив и беззаботен...»)	258
БЕДНОСТИ («Требуй, Бедность, выкупа любого...»)	259
ЗА ОКЕАН («Из русской беженки возвысись...»)	260
«Сегодня я выскажу вам...»	261
ПИСЬМО («Листик, вырванный из тетрадки...»)	263
«Ходил поэт и думал: я хороший...»	263
ТЕНЬ («Весь выцветший, весь выгоревший. В этот...»)	264
ПРИЗРАКИ («Как недоверчиво и косо...»)	264
СОСТЯЗАНИЕ БОГОВ («Две тысячи упавших лет...»)	266
НОВОГОДНИЕ ВИРШИ («Говорит редактор важно...»)	269

С НОВЫМ ГОДОМ!..	
(«— С Новым Годом! — глаза в глаза...»)	270
«Я люблю, поднявшись рано...»	271
«Ты» И «Вы» («Вода и небо. Море и песок...»)	272
В НОВОГОДНЕЕ ПЛАВАНЬЕ	
(«От январской пристани опять...»)	273
СНЫ («Ночью молодость снилась. Давнишний...»)	274
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ («Во дворе, перед навесом...»)	275
ПОСТРОЕЧНИКИ («Бороды прокурены...»)	276
НАША ВЕСНА («Еще с Хингана ветер свеж...»)	277
МОЛОДАЯ ВЕСНА («От натопленных комнат...»)	278
КАРПАТЫ («Карпатские горы, гранитное темя...»)	279
ДЫМЫ («Час восхода нелюдимый...»)	280
В КРЕМЛЕ («Глядят бывшего лики...»)	281
«Оправленный на гребнях в серебро...»	282
СЛЕПЕЦ («По улице, где мечутся авто...»)	283
В ЗАКАТНЫЙ ЧАС	
(«Сияет вечер благостностью кроткой...»)	284
В СЕНТЯБРЕ («Сквозящий солнцем редкий березняк...»)	284
В ВАГОНЕ (I–IV)	285
ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР («Вечер, ночь ли — длится, длится...»)	287
СТИХИ В ПИСЬМЕ («С Новым Годом!..	
Как большие льдины...»)	287
ЯНУСУ («Раз в году пишу стихотворенья...»)	288
ВСЁ РАВНО («Всё равно осталось жизни мало...»)	289
МОСКВА ПАСХАЛЬНАЯ	
(«В тихих звонах отошла Страстная...»)	290
КАК НА РОССИЮ НЕПОХОЖЕ	
(«Объятый дымкою лиловой...»)	292
МУЖЕСТВА ТРЕБУЕТ ГОД	
(«Муза моя, возврати мне сегодня свободу...»)	293
МИШКА-ВОРИШКА («В лесу гуляет Миша...»)	293
ТАЙФУН («Я живу под самой крышей...»)	294
МУХА («В осень, стонавшую глухо...»)	296
БОЖЬЯ ЕЛКА («Говорила богомолка...»)	298
СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ	
(«Отступить! — и замолчали пушки...»)	298
ИНАЯ ЛЮБОВЬ («Хорошо ли мы живем иль худо...»)	299

АНТИЧНЫЙ МОТИВ	
(«Цезарь на Форуме статуи ставит любимым...»)	300
БЕЗ РОЗ («В граненый ствол скользнула пуля...»)	301
ГУМИЛЕВ («Прекрасен строгий образ Гумилева!...»)	302
«Воскресенье. Кружку пива...»	303
СНЕЖНОЕ УТРО («Совсем не так: не пух, не пудра...»)	304
СТАРАЯ РИФМА («Есть два слова: счастье и участие...»)	305
ПРЕДВЕСЕННЕЕ («Всё розоватей, дымней...»)	306
РУССКАЯ, ШИРОКАЯ («На столе большом, широком...»)	307
СТАРЫЙ ЗНАКОМЕЦ (I–VI)	308
НА СУНГАРИ («Диоген, дремавший в бочке...»)	310
РЕМЕСЛО ПОЭТА («Говорят о ремесле поэта...»)	312
СТАРЫЙ ДОМ («Крысы покидали дом недаром...»)	313
ВОЗМЕЗДИЕ («Я потерял тебя давным-давно...»)	313
ВСТРЕЧИ («У автобусной стоянки...»)	314
БРОНЗОВЫЙ ВОИН («Ты знаками отличий удостоен...»)	315
ДЕД-МОРОЗ («Ты послушай, шалунишка славный...»)	316
ТРАЛЬЩИК «КИТОБОЙ» («Это – не напыщенная ода...»)	318
В ГОСТЯХ У ПОЛКОВНИКА	
(«Люблю февраль, когда прибавит дня...»)	319
В ВАГОНЕ («В вагоне опускают полки...»)	321
О ДЕТСКОЙ МОЛИТВЕ («Мы молимся в битве...»)	323
НАЧАЛО КНИГИ («Живущие в грохоте зычном...»)	324
ПУШКИНСКИЙ МОТИВ	
(«Поэтам часто говорят с укором...»)	325
СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ (I–III)	326
ГЕРАНЬ («Вот послушай: осенью неранней...»)	327
ДВАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА	
(«Из зеленой воды поднималась рука золотая...»)	329
ПЬЯНЫЙ ВИЗИТЕР («У твоей звоню я двери...»)	330
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ («Был ярок полдень. Обжигало...»)	332
ЧАСОВЩИК («Зимний день светил в окошке скупом...»)	332
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ	
(«Как говорит внимательный анализ...»)	333
ЖЕНА ГУСАРА («Говорит она, что ей тридцать лет...»)	334
О СТАРОМ МАСТЕРЕ («Не рыцарь, неловкий латник...»)	335
ОТ ДРУГА («Возле печки обветшало...»)	335
ТИХИЕ РАДОСТИ («Засунгарийские просторы...»)	336

НОВАЯ РИФМА («Ты упорен, мастеру ты равен...»)	338
НЕНАСТЬЕ («Золотая маньчжурская осень...»)	339
У ЧУЖОГО ОКНА («У приятеля свет в окне...»)	340
ПОЛГОДА («Вот полгода, как мы расстались...»)	341
АЗИЯ И ЕВРОПА («Как двух сестер задумал их Господь...»)	342
СТАРЫЕ ПОГОНЫ («Сохранились у меня погоны...»)	343
СТАРИК («В газете и то и это...»)	345
ЗУБРЫ («Жили зубры в Беловежской пуше...»)	346
РАССКАЗ ОБ ОСАЖДЕННЫХ («Гезов («Е» произносите мягко)...»)	347
КАК ПАРХОД ОТ ПРИСТАНИ («В эту ночь...»)	349
УВОЗЯТ ЗИМУ («Дни о весне не лгут...»)	350
В ПОЛНОЧЬ («От фонаря до фонаря – верста...»)	350
РАКЕТА («Под всяческой мглой, под панцирем...»)	351
ГОД («Год прошел. Вновь над твоей могилой...»)	352
ВОЛХВЫ ВИФЛЕЕМА («Шел караван верблюдов по пустыне...»)	353
КЕША И ГОША («В городе волжском два друга жили...»)	353
«Пели добровольцы. Пыльные теплушки...»	355
РАССКАЗ О КАЗНЕННОМ РЕПОРТЕРЕ (1–7)	356
«Разве жизнь бывает тесна...»	360
АУКЦИОН («Проходит год хромающей походкой...»)	361
«Неужели не осилю смерти...»	361
НАЧАЛО ПРАВДЫ («Докачает, дотрясет, дотянет...»)	362

ПОЭМЫ

ТИХВИН	364
ДЬЯВОЛИЦА	371
ДЕКАБРИСТЫ	375
ПСИЦА	379
ЧЕРЕЗ ОКЕАН	383
ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ	392
НЕРОНОВ СЕСТЕРЦИЙ	396
ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ	404
ТОТУ	407
ПРОТОПОПИЦА	412
КАК ОНИ ПОЛАДИЛИ	420
ПРОЩЕННЫЙ БЕС	433

НАШ ПОДВИГ	443
НИНА ГРАНИНА	447
ВСТРЕЧА	486

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Поэмы, опубликованные под псевдонимом «Николай Дозоров»

ГЕОРГИЙ СЕМЕНА́	491
ВОССТАНИЕ	496

Из Франсуа Вийона

СКАЗАНИЕ О ДИОМЕДЕ	504
ВОСПОМИНАНИЕ О СОТОВАРИЩАХ	505

КОММЕНТАРИИ	506
--------------------------	------------

Литературно-художественное издание

Арсений Несмелов

Собрание сочинений. Том I.

Стихотворения и поэмы

Составители: Евгений Витковский (Москва), Александр Колесов
(Владивосток), Ли Мэн (Чикаго), Владислав Резвый (Москва)

Предисловие Евгения Витковского

Комментарии Евгения Витковского и Ли Мэн

Директор издательства А. Колесов
Редактор В. Резвый
Дизайн А. Глиншиков, О. Ящук
Компьютерная верстка Л. Харитоновна
Корректор Н. Кострова

Подписано в печать 10.09.2006 г.
Формат 60x90¹/₁₆ Уч.-изд. л. – 35
Тираж 3000 экз. Заказ 1460.

ООО «Альманах «Рубеж»
6900091, Владивосток, ул. Петра Великого, 4
E-mail: rubezh@fortru.com

Отпечатано в ОАО «ИПК «Дальпресс»
690950, Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10